

# СЕВЕРЯНИН



Владимир  
Бондаренко



ЖЗЛ — МАЛАЯ СЕРИЯ

## Annotation

Игорь-Северянин (1887—1941) — знаковое имя Серебряного века, символ эпатажа, игры, куража: «Вонзите штопор в упругость пробки, — / И взоры женщин не будут робки!» С этих строк, обруганных великим Львом Толстым, началась скандальная известность поэта, а с выходом сборника «Громокипящий кубок» (1913) наступило пятилетие невиданной северянинской славы, увенчавшей его титулом «король поэтов» (1918). Однако вскоре «король» оказался в эмиграции, где праздничный его талант стал угасать. Такому традиционному взгляду на судьбу поэта Владимир Бондаренко бросает вызов, доказывая, что настоящий Северянин проявился как раз в эмиграции, а лучший его сборник — «Медальоны» (1934). Собирая факты, автор объездил многие места пребывания поэта — от череповецких селений и эстонских мыз до Югославии и Китая, привлек множество писем, воспоминаний, документов. Данное жизнеописание заряжено на полемику. Так ли был «необразован» Игорь-Северянин в свое громокипящее пятилетие, как полагает автор? Необходим ли поэту «диплом»? Что есть поэзия: внушенные пьянящей дерзостью стихи, разошедшиеся на афоризмы, или же отрезвленные возрастом строки?.. В этой полемичности, оживляющей поэта, вписывающей его творчество в сегодняшние темы, заложен основной пафос книги.

- 
- [Царственный паяц. Вместо предисловия](#)
  - [Идеальный поэт](#)
  - [Гений Севера](#)
  - [История псевдонима](#)
  - [«От Баязета до Порт-Артура...»](#)
  - [Обруганный классиком: Игорь-Северянин и Лев Толстой](#)
  - [Наставники: Мирра Лохвицкая и Константин Фофанов](#)
  - [Гатчинская любовь](#)
  - [Донжуанский список поэта](#)
  - [Письма Фелиссе](#)
  - [Громокипящий поэт](#)
  - [Король поэтов](#)
  - [Футурналия Северянина](#)
  - [Два великана: Северянин и Маяковский](#)







Я, гений Игорь-Северянин,  
Своей победой упоен:  
Я повсеградно оэкранен!  
Я повсесердно утвержден!

*Игорь-Северянин (1887-1941)*

<http://www.poet-severyanin.ru/>

## Царственный паяц. Вместо предисловия

Одну из так и не вышедших книг Игорь-Северянин <sup>[1]</sup> назвал весьма метко: «Царственный паяц». Царственный — и по дворянскому происхождению, и по уверенности в собственной гениальности, и по манере поведения в среде литераторов. Но и откровенный паяц, играющий шута даже перед самим собой, не верящий ни в надежность своей двусмысленной славы, ни в литературное лидерство рядом с Николаем Гумилевым или, позже, с Владимиром Маяковским.

В стихах поэт Игорь-Северянин утверждал, что его предком был византийский император. Действительно, среди его родни были знаменитости — и Афанасий Фет, и Николай Карамзин, да и слава его в предреволюционный период была просто оглушительной. Он сам себя называл гостем из будущего. Живя в детстве и юности с матерью в предместье Санкт-Петербурга в Гатчине, почти каждый день ездил в оперу. Позже вспоминал: «Меня стали усиленно водить в образцовую Мариинскую оперу, где Шаляпин был тогда просто басом казенной сцены... и об его участии еще никого не оповещали жирным шрифтом... Бывая постоянно в Мариинском театре, в Большом зале консерватории... в Малом (Суворинском) театре... и в Музыкальной драме, слушая каждую оперу по нескольку раз, я в конце концов... не раскрывая программы, легко узнавал исполнителей по голосам... Оперы... очаровали меня... потрясли... запела душа моя... Мягкий свет люстр, бесшумные половики, голубой бархат театра... Вокруг, в партере, нарядно, бархатно, шелково, душисто, сверкально, притушенно-звонко. Во рту вкусные конфеты от Иванова или Venin, перед глазами — сон старины русской, в ушах — душу чарующие голоса... Как не пробудиться тут поэту, поэтом рожденному?»

Там же, в Гатчине, он сроднился с царственным окружением: и царский парк, и Приорат <sup>[2]</sup>, и павильон Венеры. Не тогда ли, среди царских дворцов, возникла его любовь к изысканности?

Вячеслав Недошивин пишет в своей книге «Прогулки по Серебряному веку»: «Вот Фофанов, а потом Сологуб и ввели Игоря в большую литературу. Печатать Северянина стали просто ненасытно. Слава свалилась сумасшедшая, но что-то в ней было не так. Слава была надтреснутой, как дорогая чашка с отбитым краем, какой-то ущербной. Его носили на руках парикмахеры, модистки, приказчики да гувернантки — только у них был популярен. А начиналась эта "слава" на перекрестке Дегтярной и 8-й

Советской, бывшей Рождественской. Тут стоял когда-то деревянный дом, где была редакция жалкой газетки "Глашатай". В ней-то и родился эгофутуризм, здесь собирался "Директориат" эгофутуристов. Тот еще театр! И не тогда ли Северянин, коллекционирующий собственные афоризмы, придумал максимум: "Не ждать от людей ничего хорошего — это значит не удивляться, получая от них гадости"?..»

Эта надтреснутая чашка ущербной славы мешала его творческой жизни. Царственный — но паяц; паясничающий — но на царстве. Зинаида Гиппиус, как обычно, выразилась предельно резко: «Он жаждал "изыщества", как всякий прирожденный коммивояжер. Но несло от него, увы, стоеросовым захолюстьем».

А разве не царственным стало его реноме в издательствах? Книги Осипа Мандельштама, Николая Гумилева и даже Александра Блока выходили максимум тысячными тиражами, а Игорь-Северянин легко преодолел планку в десять тысяч, невиданную для того времени. Но что-то мешало читателям воспринимать Северянина всерьез. Как писал он сам о себе: «...строптивость и заносчивость юношеская, самовлюбленность глуповатая и какое-то общее скольжение по окружающему...»

Тот же Вячеслав Недошивин пишет о его питерской молодости: «До эмиграции, до 1918 года, ровно одиннадцать лет Северянин проживет на Средней Подъяческой улице Петербурга... В моем далеком уже детстве эта ленинградская улица пользовалась дурной репутацией. Мы, мальчишки, сбитые в колючую стаю, горланящие песенку: "Корабли заякорили бухты, привезли из Африки нам фрукты...", эту улицу предпочитали обходить — кулаков не хватило бы на местных хулиганов. И представьте, каково же было мое удивление, когда я прочел, что и в 1912 году и эта улица, и дом, в котором жил Северянин, тоже пользовались дурной славой. И уж вконец я был сражен, когда в стихах его, напечатанных не так давно, вдруг обнаружил эту нашу песенку про корабли, которые "заякорили бухты". Оказывается, его это стихи — Северянина. И значит, он жил, даже после смерти жил в безымянном репертуаре улиц... и толпы... Считайте — в фольклоре!..»

Бенедикт Лившиц в своей знаменитой книге мемуаров «Полутораглазый стрелец» описывает феномен Северянина: «Он, видимо, старался походить на Уайльда, с которым у него было нечто общее в наружности... Помятое лицо с нездоровой сероватой кожей — он как будто только что проснулся после попойки и еще не успел привести себя в порядок... Поразила неряшливость "изысканного грезэра": грязные, давно не мытые руки, залитые... лацканы... сюртука. Ни одного иностранного

языка Северянин не знал, уйдя не то из четвертого, не то из шестого класса гимназии. Однако надо отдать ему справедливость, он в совершенстве постиг искусство пауз, умолчания, односложных реплик, возводя его в систему, прекрасно помогающую ему поддерживать любой разговор. Впоследствии, познакомившись с ним поближе, я не мог надивиться ловкости, с какой он маневрировал среди самых коварных тем».

Борис Пастернак о Северянине и Маяковском: «...У Маяковского были соседи. Он был в поэзии не одинок, он не был в пустыне. На эстраде до революции соперником его был Игорь Северянин... Северянин повелевал концертными залами и делал, по цеховой терминологии артистов сцены, полные сборы с аншлагом. Он распевал свои стихи на два-три популярных мотива из французских опер, и это не оскорбляло слуха и не впадало в пошлость. Его неразвитость, безвкусица и пошлые словоновщества в соединении с его завидной чистотой, свободно лившейся поэтической дикцией создали странный жанр, представляющий под покровом банальности запоздалый приход тургеневщины в поэзию...»

В этом царствовании паяца причудливая высокопарность порой доходила до самопародии. Называть себя гением он никогда не стеснялся, но в быту был очень прост. Юный Павел Антокольский был потрясен, когда Северянин в его присутствии заказал в ресторане не «ананасы в шампанском», не «мороженое из сирени», а штоф водки и соленый огурец. При всей его «грезэрности» Северянин явление очень русское, провинциально-театральное. Зато у него есть важное качество настоящего поэта — стихи его никогда ни с чьими другими не спутаешь.

Ирина Одоевцева вспоминает в книге «На берегах Сены» о своем знакомстве с Северянином в первые месяцы эмиграции в Берлине. Он зашел к ней извиниться за пьяную выходку накануне, а она попросила его прочесть стихи («я никогда не слышала, как вы читаете»):

«...Он с таким упоением, так самозабвенно распевает. Он как будто впал в транс. Прервать его — все равно что разбудить лунатика. Я продолжаю слушать эти знакомые мне с детства поэзы... Я как будто впервые слышу их, и они очаровывают меня. Пошлость, вульгарность, изыски? Да, конечно. Но это все наносное, несущественное. В этих, пусть смехотворных, стихах явно слышатся, несмотря ни на что, "вздохи муз, и звоны лиры, и отголоски ангельского пения". В них высокая, подлинная поэзия. <...>

Я все сильнее подпадаю под власть его необычайного чтения-пения, "гипнотически" действующего и на меня. Я закрываю глаза, я тону, я иду на дно этого искрометного громокипящего водоворота поэзии».

Когда Северянин эмигрировал, менее известные литераторы-эмигранты с наслаждением отомстили за его славу своим высокомерием, барским пренебрежением, чего у Северянина никогда не было. Двойственное отношение к «царственному паяцу» сохранялось дольше самой его жизни. И в отклике русского поэта из Эстонии Бориса Новосадова на смерть Игоря-Северянина говорится скорее не о личности поэта, а об «общем лукавом земном естестве»:

На смерть Игоря Северянина

*Не за нашу ли за общую вину,  
За пристрастие к веселому вину,  
За беспечную и грешную любовь,  
За волнуемую вымыслами кровь,  
За дерзание и злое удалство,  
За лукавое земное естество,  
За томительную, вредную мечту  
И за нашу вековую нищету —  
Проклинают нас небесные чины,  
Проклинают нас правители страны,  
Проклинают нас скупые торгаши,  
Проклинают нас ревнители души,  
Ненавидят нас носители мечей,  
Ненавидят нас артели палачей,  
Обрекает нас неотвратимый рок  
На цветения, увя, недолгий срок.*

*Борис Новосадов. 1942 год.*

Стихотворение написано в конце 1941-го или начале 1942 года. В эстонских газетах поместили некрологи. Неведомо как весть о кончине поэта дошла до Москвы, и там на это печальное событие откликнулся его друг Георгий Шенгели.

По странному сближению, поселившийся в Эстонии уже в 1970-е годы поэт Давид Самойлов был столь же ироничен и величав. Еще один царственный паяц, он сравнивал свою жизнь в Эстонии с жизнью Игоря-Северянина. Мысленно обращаясь к Северянину, от его имени он описывает одинокую эстонскую жизнь русского поселенца:

Северянин

*Отрешенность эстонских кафе  
Помогает над «i» ставить точку.  
Ежедневные аутодафе  
Совершаются там в одиночку.  
Память тайная тихо казнит,  
Совесть тихая тайно карает,  
И невидимый миру двойник  
Все бокальчики пододвигает.  
Я не знаю, зачем я живу,  
Уцелевший от гнева и пули.  
Головою качаю. И жгу  
Корабли, что давно потонули.*

*Давид Самойлов*

Наталья Кононова, прибалтийский литературовед, автор книги о Давиде Самойлове, сравнивает обоих поэтов: «В отличие от Давида Самойлова, которого друзья в шутку называли "эмигрантом", Игорь Северянин, будучи реальным эмигрантом, называл себя "дачником"!»

Так и сошлись два русских поэтических корабля в узком эстонском море.

Подобно Игорю-Северянину, многократно описывающему в стихах необходимость выбора Эстонии, Давид Самойлов пишет: «Я сделал свой выбор. Я выбрал залив...», но драму поэта выдает финал стихотворения: «Я сделал свой выбор. И стал я тяжел. *И здесь я залег, словно каменный мол, И слушаю голос залива / В предчувствии дивного дива*». Не обернулась ли спасительная для поэтов Эстония тяжелым каменным молотом, который и придавил поэзию русских больших мастеров?

Но дело не в эстонцах и не в географической Эстонии. Невозможно всю жизнь играть царственного паяца. Есть риск рано или поздно скатиться в трагедию или в пошлость. Как ни парадоксально, маску трагического шута надевал временами и Владимир Маяковский, особенно в отношениях с женщинами.

Мне показалось интересным сравнение подружки Маяковского Лили Брик и подружки Северянина Веры Коренди. Обе — сильные женщины, но порой так и тянет спросить их обеих: на что вам сдались великие русские поэты? Думаю, они-то и превращали царственных поэтов в паяцев.

Паяц — это фигляр, ера, ерник, полишинель, фарсер, балясник, шут,

гаер, клоун, кривляка, буффон, арлекин. Поэт ерничал и над собой, и над своими читателями, загроживаясь от них «струнной изгородью лиры». Так Северянин паясничал перед сожительницей Верой, но никак не мог от нее уйти. Это не страх каких-либо преследований. И Маяковского, и Северянина по одной и той же схеме подчинили себе, подавили их волю эти две демонические женщины. И та и другая заставили написать завещания в свою пользу, даже не по одному разу; и та и другая всю биографию поэта подчищали под себя. К счастью, Вере Коренди это менее удалось, а тень Бриков и сейчас окружает все наследие Маяковского.

Может быть, всякий большой поэт с тонкой душой подвержен все тому же комплексу «царственного паяца»?

Одной из удач Северянина я считаю книгу «Медальоны. Сонеты и вариации о поэтах, писателях и композиторах», вышедшую в 1934 году в Белграде. В ней собраны сто сонетов о людях известных, малоизвестных и почти незнакомых широкой публике. Многие характеры очерчены точно, иногда с юмором, а иногда и с откровенной неприязнью, что не только не портит книгу, но, напротив, — вызывает улыбку.

Вот, к примеру, «Ахматова»:

*Послушница обители Любви  
Молитвенно перебирает четки.  
Осенней ясностью в ней чувства четки...*

*Анна Ахматова*

Героиня сонета узнается сразу, еще до того как возникают приметы из ее сборника «Белая стая» (1917).

*Уж вечер. Белая взлетает стая.  
У белых стен скорбит она, простая.  
Кровь капает, как розы, изо рта.*

*Анна Ахматова*

Приведу краткую характеристику «Медальонов», данную Михаилом Шаповаловым:

«В последней строчке (ахматовского сюжета. — В.Б.) заключен

"замок" сонета, выражающий главную мысль ярко и образно:

Ведь розы крови — розы для креста...

И "посылка", и "развязка" опираются в смысловом отношении на книги героини, названия которых проходят в тексте замаскированно: "Четки", "Вечер", "Белая стая". Так написан сонет "Ахматова". И этот прием, с упоминанием книг или персонажей автора, используется Игорем Северянином и в отношении других героев "Медальонов"...

В общий ряд "медальонов" поставлен и сонет "Игорь-Северянин":

*Он тем хорош, что он совсем не то,  
Что думает о нем толпа пустая,  
Стихов принципиально не читая,  
Раз нет в них ананасов и авто.  
Фокстрот, кинематограф и лото —  
Вот, вот куда людская мчится стая!  
А между тем душа его простая,  
Как день весны. Но это знает кто?  
Благословляя мир, проклятье войнам  
Он шлет в стихе, признания достойном,  
Слегка скорбя, подчас слегка шутя  
Над всею первенствующей планетой...  
Он — в каждой песне, им от сердца спетой,  
Иронизирующее дитя.*

*Анна Ахматова*

Автохарактеристика, пожалуй, верна, и "Медальоны" в целом — свод пристрастий поэта в искусстве. Причем вкусы Игорь Северянин обнаруживает вполне традиционные...»

## Идеальный поэт

Давно и с опаской подбирался я к Игорю-Северянину. Даже к Иосифу Бродскому и в жизни, и в литературе подойти было проще. А тут, казалось бы, такая вкусная конфета... или пустой фантик? Кто знает — содержимое спрятано, фантик так и остается нераскрытым.

Встретил у Маруси Климовой, нахальной и эпатажной вплоть до выбора псевдонима из блатной «Мурки», воспевание Игоря-Северянина:

«В сущности, во всей русской литературе был, видимо, только один по-настоящему идеальный поэт — Северянин. Во всяком случае, лично я не знаю литературоведов, которые бы занимались изучением его творчества. Наверняка такие есть, но я их не знаю, а значит, их, по крайней мере, не так много. Трудно сказать, что сделало Северянина неприступным для литературоведов, но это именно так: ему каким-то таинственным образом удалось оттолкнуть от себя большинство исследователей литературы. Поэтому, видимо, большинство его стихов и по сей день сохраняют свою первозданную свежесть и магию, даже слегка потрепанные от частых декламаций "Ананасы в шампанском"...

Когда я думаю про Северянина, я ухожу в себя, мне не хочется ни с кем говорить, а просто молча сидеть, уставив глаза в одну точку, задумчиво, забыв о том, что со стороны в такие моменты человек становится похож на идиота...»

Готов согласиться. И в самом деле, все знатоки поэта, все его дотошные исследователи — от Бориса Подберезина, военного инженера из Риги, до бывшего следователя Михаила Петрова, от Юрия Шумакова до Михаила Шаповалова не литературоведы.

Чем-то поэт Игорь-Северянин и впрямь чистых литературоведов отпугивает. Хотя вышла уже в рамках академической программы и «научная биография Игоря Северянина», названная по-северянински «За струнной изгородью лиры». Ее авторы Вера Терехина и Наталья Шубникова-Гусева преодолели северянинскую неприступность. Но пока лидируют все же неистовые и дотошные любители.

Это тема отдельного исследования: почему Игорь-Северянин почти не интересует литературоведов. Ведь, по сути, моя книга о нем — первая попытка развернутого жизнеописания поэта. В книге непривычно много цитат. Из-за нехватки научных исследований я часто обращаюсь к трудам любителей-энтузиастов. Пусть простят меня те немногие, о ком я забыл.

Все они погружаются в жизнь и творчество Северянина бескорыстно, вне академических программ и грантов. Часто они не могут договориться друг с другом. Я оставляю в стороне их споры и с радостью цитирую и Шумакова, и Шаповалова, и Городницкого, и Марусю Климову, и, на мой взгляд, главного знатока жизни и творчества поэта Михаила Петрова. Надеюсь, после выхода этой книги интерес к Игорю-Северянину возрастет, появятся более полные и серьезные биографии.

Вот что пишет о первой встрече с творчеством Северянина Маруся Климова:

«Я прекрасно помню первую ассоциацию, связанную с Северяниным, потому что все имена и многие названия прочно ассоциируются у меня в сознании со вполне определенными предметами, иногда совсем обыденными, иногда очень странными. Имя "Северянин" ассоциировалось у меня в сознании с красивой голубоватой кафельной плиткой, с нанесенной на ней тонкой золотой сеточкой и изысканным узором по краям.

А у Северянина, и в самом деле, был, наверное, очень неприступный, даже царственный вид. Кажется, у него постоянно была такая большая красивая трубка в зубах, и жить он должен был обязательно в какой-нибудь обитой розовым шелком мансарде, куда по длинной винтовой лестнице, трепеща от восторга и робости, периодически поднимались поклонницы... Иначе я его себе не представляю! Естественно, что к такому царственному поэту литературоведы боятся подходить на пушечный выстрел. Для меня в этом нет абсолютно ничего удивительного! В этом отношении ему, возможно, в России мог составить конкуренцию разве что Бальмонт... Хотя нет! Литературоведы вовсе не боятся Бальмонта и уже затрепали его до дыр. Так что Северянин, все-таки, вне конкуренции. И свои дни он доживал в изгнании, кажется, в Эстонии, совсем как последний китайский император...»

Так и познается идеальный поэт. Я объездил все возможные места пребывания Игоря-Северянина, что помогло мне понять его характер и привычки. Ведь московских литературоведов и впрямь удивляет, как это избалованный «король поэтов», огламуренный и обэкраненный, вдруг в эмиграции оседает не в Праге, Париже, Берлине или Белграде, на худой конец в Харбине или Шанхае, а в глухой эстонской деревушке Тойла... При этом в город он ездить не любил, целыми днями ловил рыбу в речках Нарова и Россонь.

Конечно, стоило побывать в русских северных краях Вологодчины, в Сойволе и во Владимировке, где провел свое практически сиротское, хоть и

не бедное детство русский поэт. Именно там формировался его характер.

В марте 1896 года отец, вышедший в отставку штабс-капитан Василий Петрович Лотарев, переезжает с сыном в Череповецкий уезд, в то время Новгородской губернии, в имение сестры Сойволу, расположенное на берегу реки Суды. Отец редко бывал дома, больше в разъездах, тетка взяла на себя заботу о племяннике, у него даже была своя лошадка, но воспитанием его никто не занимался. Так он и рос дикарем в северных лесах, пристрастился к рыбалке. Не побывав на северных реках Шексне и Суде, не понять почти мгновенного перевоплощения эпатажного, грезерного, громокипящего короля поэтов и эгофутуриста Игоря-Северянина в сельского поселянина и заядлого рыбака. По сути, это возвращение к истокам.

Уже из послереволюционной независимой Эстонии он пишет своей покровительнице и меценатке Августе Барановой в Швецию 12 июня 1922 года: «Целые дни провожу на реке. Это уже со 2-го мая. 5-й сезон всю весну, лето и осень неизменно ужу рыбу! Это такое ни с чем не сравнимое наслаждение! Природа, тишина, благость, стихи, форели! Город для меня не существует вовсе. <...> Итак, я сижу в глуши, совершенно отрешась от "культурных" соблазнов, среди природы и любви...»

Я поплавал и по Суде, и по Шексне, хорошо пожил в северянинском музее во Владимировке, в имении его дяди, хотя поэт жил в основном в Сойволе, но там дом не уцелел... Оттуда перенесся мысленно, а через пару дней и реально, на машине с женой — в Тойла и Усть-Нарву, на реки Нарову и Россонь, добрался даже до почти неприступной пограничной деревушки Саркюля, где Игорь-Северянин с Верой Коренди провели, может быть, самый ужасный период жизни, когда из питания был только рыбный улов. Что поймал, то и съел. Полная нищета и безнадёга. Да и дороги такие, что по ним только на танках или тракторах можно ездить, ни света, ни водопровода, а если штормит, то и по морю не выберешься. Зато и сейчас в этой деревушке из двух улиц одна называется «Северянинской». Так что представление о последнем периоде жизни поэта у меня полнейшее... Врагу не пожелаешь такой жизни.

И потому для нищего поэта возвращение советской власти в Эстонию в июне 1940 года на самом деле было спасением, им вдруг заинтересовались известные советские писатели и чиновники, появились первые публикации в центральных изданиях. Появилась надежда.

Думаю, если бы не война, перевезли бы больного поэта в Москву, в Переделкино. И умер бы он советским классиком. Но иная судьба ему была предначертана.

После своей северной жизни, уже почти сформировавшимся, он был увезен отцом в Китай, на Квантунский полуостров, в арендованные Россией порты Дальний и Порт-Артур. Там в его поэзию вошли и океанский простор, и глобальность масштабов: «От Баязета до Порт-Артура». До конца жизни и в лирике, и в пейзажных стихах он оставался имперским поэтом, не уступая в этом Николаю Гумилеву. Возвращался шестнадцатилетним подростком из Китая один, поссорившись с больным отцом, останавливаясь по пути то на озере Байкал, то в Уральских горах. Сибирь прочувствовал сполна. Вернувшись к матери в Гатчину, он посвятил начало своей поэзии морю и имперским кораблям.

Именно в этот гатчинский период, оставив за спиной северное одиночество, путешествия и рыбалки, он погрузился в игровые стихии. Молодой, но уже имевший хороший жизненный опыт, чувствовал себя поэтом. Бродя по царским паркам и дворцам, куда его как местного подростка пускали бесплатно, он наслаждался в Гатчине игрой в императорский стиль. Мне кажется, не было бы Гатчины с ее павловскими имперскими мизансценами, не было бы и северянинского грезофарса. На мызе Ивановка, под Гатчиной, писал он свои изумительные сонеты и стихи:

*И вздрагивала лошадь, под хлыстом,  
В сиреновой муаровой попоне...  
И клен кивал израненным листом.  
Шуршала мгла...  
Придерживая пони,  
Она брала перо, фантазий страж,  
Бессмертя мглы дурманящий мираж...*

*(«На строчку больше, чем сонет...»).*  
1909

Все эти фарфоровые дворцы и принцессы Мимозы, принцы Сирени и короли, колье принцессы и небес палатцо появились не из мистических видений, а из гатчинской придворной реальности, помноженной на фантазию талантливого юноши, оттуда же произошли все ананасы в шампанском и мороженое из сирени.

Вот откуда весь этот северянинский дурманящий мираж... Свобода и одиночество наряду с гатчинскими дворцами и северными реками и

создали нам этого идеального поэта.

Официально мы пишем про петербургский период жизни Северянина, он сам вспоминает о доме на Гороховой, 66, но мать поэта с давних пор снимала дачу в Гатчине, и он делил время между городом и сказочной Гатчиной.

«Был на Гороховой наш дом...». Трехэтажное здание на Гороховой под номером 66, в двух шагах от Загородного проспекта, по-прежнему существует. Этот изящный дом принадлежал Домонтовичам, родственникам первого мужа матери. Здесь и родился уже 130 лет назад, 4 мая 1887 года «король поэтов».

Заслуживает внимания родословная поэта, которой он гордился.

По матери, напомним, он был в родстве с поэтом Фетом, с историком Карамзиным, которого смело звал «доблестным дедом». Гордился генерал-лейтенантом Георгием Домонтовичем, первым мужем матери, чьим предком был украинский гетман Довмонт, владевший под Черниговом дворцом в сто комнат.

Мать Игоря — Наталья Степановна, урожденная Шеншина (1846—1921), дочь предводителя дворянства Щигровского уезда Курской губернии, от первого мужа имела дочь Зою (1875—1907), и Игорь искренне считал род Домонтовичей своим.

Давид Бурлюк после первых встреч с поэтом, узнав о его родстве с Карамзиным, чем тот щеголял — «И в жилах северного барда / Струится кровь Карамзина» — писал: «Запрятавшись за красный тяжелый штоф завес, еще теплятся свечи, и при их бледных всплесках предо мной высокомерное взнесенное к потолку лицо мучнистого цвета, со слегка одутловатыми щеками и носом. Смотришь, нет ли на нем камзола. Перед тобой Екатерининский вельможа. Северянин сам чувствовал в себе даже наружные черты восемнадцатого века, недаром он несколько раз напоминал о родстве с Карамзиным. Не беспочвенно и его стремление выразить чувства в утонченных "галлицизмах". И только такой поэт мог возникнуть в Петербурге».

Детство и юность в Гатчине дают о себе знать. Как не стать вельможей?

Отец поэта, поручик Василий Петрович Лотарев вскоре после смерти Домонтовича женился на его вдове, хотя она и была на 13 лет старше.

Отец дал сыну имя Игорь. Он «прислал привет отцовский в зыбку. / Шалишь, брат: Игорь — не Егор!».

Не менее важными для формирования характера Игоря были и его увлечения. К примеру, уже упомянутая опера, которую он посещал с самого

раннего детства. У семьи были постоянные места в Мариинском театре. Остались в памяти «Рогнеда» А.Н. Серова и «Князь Игорь» А.П. Бородин, поставленные в 1895—1896 годах. «...Обе эти оперы — русские оперы! — очаровали меня, потрясли, пробудили во мне мечту — запела душа моя. Как все было пленительно... Сладко кружится голова. Как не пробудиться тут поэту, поэтом рожденному?»

Не с театра ли начиналась будущая яркая карнавальность, маскарадность его творчества? всю жизнь он примеривает на себя разные маски, одни подходят, другие — нет. Не беда, можно сменить!

Из воспоминаний поэта и драматурга А.М. Арго: «...Также распевно, пренебрегая внутренним смыслом стиха, совершенно однотонно произносил свои произведения Игорь Северянин, но тут была другая подача и другой прием у публики. Большими аршинными шагами в длинном черном сюртуке выходил на эстраду высокий человек с лошадиноподолговатым лицом; заложив руки за спину, ножницами расставив ноги и крепко-накрепко упирая их в землю, он смотрел перед собою, никого не видя и не желая видеть, и приступал к скандированию своих распевно-цезурованных строф. Публики он не замечал, не уделял ей никакого внимания, и именно этот стиль исполнения приводил публику в восторг, вызывал определенную реакцию у контингента определенного типа. Все было задумано, подготовлено и выполнено. Начинал поэт нейтральным "голубым" звуком:

Это было у мо-о-оря...

В следующем полустушии он бравировал произнесением русских гласных на какой-то иностранный лад, а именно: "где ажурная пе-э-на"; затем шло третье полустушие: "где встречается ре-эдко", и заключалась полустрофа двусловием: "городской экипаж" — и тут можно было уловить щелканье щеколды садовой калитки, коротко, резко и четко звучала эта мужская зариф-мовка. Так же распределялся материал второго двустушия:

*Королева игра-а-ала  
в башне замка Шопе-э-на,  
И, внимая Шопе-э-ну,  
полюбил ее паж!*

Конечно, тут играла роль и шаманская подача текста, и подчеркнутое безразличие поэта, и самые зарифмовки, которым железная спорность сообщала гипнотическую силу: "пена — Шопена, паж — экипаж". Нужно

отдать справедливость: с идейностью тут было небогато, содержание не больно глубокое, но внешнего блеска — не оберешься! Закончив чтение, последний раз хлопнув звонкой щеколдой опорной зарифмовки, Северянин удалялся все теми же аршинными шагами, не уделяя ни поклона, ни взгляда, ни улыбки публике, которая в известной своей части таяла, млела и истекала соками преклонения перед "настоящей", "чистой" поэзией...»

Литературный критик из Германии Вольфганг Казак так характеризует поэзию Северянина: «Доходчивая музыкальность его стихотворений, часто при довольно необычной метрике, соседствует у Северянина с любовью к неологизмам. Смелое словотворчество Северянина создает его стиль. В его неологизмах есть многое от собственной иронической отчужденности, скрывающей подлинную эмоцию автора за утрированной словесной игрой».

Идеальному поэту явно не хватало короны. И она сама пришла к нему в руки. 27 февраля 1918 года в переполненной публикой Большой аудитории Политехнического музея состоялся вечер «Избрание короля поэтов». В нем участвовали Владимир Маяковский, Константин Бальмонт, Василий Каменский и Игорь-Северянин. «Всеобщим, прямым, равным и тайным голосованием» это звание было присуждено Северянину. Второе место занял Маяковский, третье — получил то ли Бальмонт, то ли Каменский. Таков был подлинный триумф поэта.

Сегодня подробности этого события забыты. Одним оно кажется забавным, другим — значительным и серьезным. По существу, это было соревнование между Северянином и Маяковским, соревнование перед разлукой. Вскоре Игорь-Северянин вернется в свою эстонскую деревню Тойла и уже никогда не приедет в Россию. Напоследок, 8 марта 1918 года, состоялся вечер «Короля поэтов Игоря Северянина» в Политехническом музее — последний из двадцати трех поэзовечеров, проведенных им в Москве в 1915—1918 годах. Там и прозвучал впервые «Рескрипт короля»:

*Отныне плащ мой фиолетов,  
Берета бархат в серебре:  
Я избран королем поэтов  
На зависть нудной мошкаре.  
Меня не любят корифеи —  
Им неудобен мой талант:  
Им изменили лесофеи  
И больше не плетут гирлянд.  
Лишь мне восторг и поклоненье*

*И славы пряный фимиам,  
Моим — любовь и песнопенья! —  
Недостижимым стихам.  
Я так велик и так уверен  
В себе, настолько убежден —  
Что всех прощу и каждой вере  
Отдам почтительный поклон.  
В душе — порывистых приветов  
Неисчислимое число.  
Я избран королем поэтов —  
Да будет подданным светло!*

*(«Рескрипт короля»)*

Насмешка судьбы или тайный знак: получить звание короля и навсегда уехать из России. Так и останется загадкой, почему он решил осесть в деревне. До 1934 года Северянин вместе с женой Фелиссой Круут будут подолгу, иногда по полгода, гастролировать со своей концертной программой по всей Европе. Учитель, издатель газеты и поэт, близко знавший Северянина, Арсений Формачков пишет: «В ту пору — регулярно раз в год, обычно зимой, Северянин уезжал в Европу, зарабатывая чтением стихов и изданием своих книг, где и как мог. Приходится только удивляться, как это ему удалось — при тогдашнем состоянии русских книгоиздательств за рубежом — все-таки выпустить в свет семнадцать сборников своих поэз. <...> По всему было видно, что в материальном отношении ему живется трудно, и даже очень. Сначала, как новинка, его поэзовечера в Прибалтике и Польше имели некоторый успех. Потом он стал выступать в рижских кинотеатрах, в дивертисментах между сеансами, что тогда было в моде. Старался "сохранить лицо", требовал, чтобы вместе с ним не выступали фокусники или развязные певички. Вскоре, однако, отпала и эта возможность заработка».

*Сам от себя — в былые дни позера,  
Любившего услад душевных хмель, —  
Я ухожу раз в месяц за озера,  
Туда, туда — «за тридевять земель»...  
Почти непроходимое болото.  
Гнилая гать. И вдруг — гористый бор,*

*Где сосны — мачты будущего флота —  
Одеты в несменяемый убор...*

*(«Вода примиряющая...»)*

А дальше путь к смирению, к соловьям монастырского сада, к мечтам о России. В Литературном музее Эстонии (Тарту) в любопытнейшем архиве Игоря-Северянина сохранилась его записная книжка. На одной из страниц можно прочитать:

*Во мне все русское слеталось:  
Религиозность, тоска, мятеж,  
Жестокость, нежность, порок и жалость,  
И безнадежность, и свет надежд.*

*(«Я мог родиться только в  
России...»)*

Известный рижский критик Петр Пильский писал в конце 1920-х годов:

«Давно нет прежнего Петербурга, закончились его изломы и надломы, Северянин стал постоянным жителем милой тойлаской глуши, проклял цивилизацию — а заодно и всю культуру, — подружился с тишиной, —

*Он сник, услад столичных демон,  
Боль причинивший не одну..  
Я платье свежее надену!  
Я свежим воздухом вздохну!*

*(«Твоя дорожка»), 1929. — В.Б.*

Изменилось многое, но неизменным остался сам Игорь-Северянин. Общение с природой, с озерами, уединение не вытравили у него веры в себя. По-прежнему он упрям, настойчив и самонадеян. Этот человек остепенился во многом, — он остался все тем же расточительным фабрикантом или творцом словесных новшеств».

И в Эстонии, уже почти без стихов, он остался все тем же идеальным

поэтом.

Вообще очень мало сохранилось документальных первоисточников о поэте. Дореволюционный архив был оставлен в Петербурге, на попечение друга Бориса Башкирова-Верина, но он в 1920 году эмигрировал, архив бросил, и тот пропал. Архив эстонского периода жизни Северянина частично сгорел в войну при пожаре его дома... А то немногое, что все же удалось спасти, сын Северянина Вакх увез в Швецию и, ни с того ни с сего, запретил к опубликованию.

Так что архивные полки от рукописного наследия Северянина не ломаются. Писали о нем мало. Диссертаций — и тех почти не было... О Северянине мы слышали, но само творчество Северянина, кроме ранних стихов, долго не знали. Имели представление по романсам, которые напел вернувшийся в Россию из эмиграции в 1943 году Александр Вертинский:

*Это было у моря, где ажурная пена,  
Где встречается редко городской экипаж...  
Королева играла — в башне замка — Шопена,  
И, внимая Шопену, полюбил ее паж.*

(«Это было у моря...»)

Первой ласточкой вышла книга Бориса Подберезина, военного инженера из Риги — живые заметки о любимом поэте. Из Риги до Таллина и Тарту недалеко, а здесь уже можно найти кое-что в архивах. Вот и я плотно посидел в Тартуском литературном музее, увидел все письма Северянина Фелиссе, и меня уже не переубедят измышления Веры Коренди и ее дочери Валерии.

Насколько понятны мне были его искренние письма покаяния Фелиссе, настолько я не верю всем фальшивым объяснениям и жалобам его последней сожительницы Веры и ее дочери. Вот уж влип поэт. Ладно, ушел от верной жены, но ему еще и дочку навязали.

И опять же, если бы не его собственные письма последних лет жизни, в том числе и в Москву, к Шенгели, где он уже незадолго до смерти, в 1940 году, пишет о девятилетней дочери Веры от первого мужа, то Вера сумела бы убедить весь Союз писателей СССР в своем законном браке с поэтом и их общей дочери. Сумела же она с помощью не разобравшегося в ситуации поэта и писательского чиновника Всеволода Рождественского выправить своей дочке паспорт на имя Валерии Игоревны Северяниной. Сам поэт

умер Лотаревым, его законные дети были Лотаревы, а тут вдруг чужая девочка стала Северяниной. Жив и сейчас сын Валерии Игорь Северянин-младший. Только что ему от этого?

Побывал я и в Тойла, и в Усть-Нарве, и в Саркюля, увидел памятные камни у домов, где жил Северянин. Считаю, что в Тойла хорошо бы и памятник поэту поставить, тем более что рядом большой туристический комплекс. Думаю, Игорь-Северянин согласился бы поработать на рекламу своей любимой Тойла.

Поэт прожил в Тойла 16 лет, и это был один из лучших периодов его жизни. «Безукоризненная почта, — писал он об этом местечке, — аптека, два... приезжающих приличных доктора, струнный и духовой оркестры, два театра, шесть лавок, а за последние годы во многих домах — радио и телефоны... Тойла — и внешне, и нравственно — просто чистая, очень удобная и очень красивая приморская эстонская деревня, до войны даже нечто вроде курорта, так как тогда были в ней и теплые соленые морские ванны, и лаун-теннисные площадки, и пансионаты, два из которых, впрочем, функционируют и до сих пор». Правда, там не было электричества, так его и сейчас не во всех деревнях найдешь, зато, мечтательно говорил поэт, «в очень хорошую погоду очень хорошие глаза купол Исаакия видят»...

Конечно, русскому поэту в Тойла можно было столько лет жить только с крепкой семьей, одиночку быстро бы спровадили куда-нибудь подальше. Но куда? Обрато в Россию? Запад был ему категорически противопоказан.

Хотя он и писал, особенно в советский период Эстонии, — «я не эмигрант, я дачник», но, думаю, это было несколько натянутым. Судя по всему, начиная с 1918 года Северянин мог сотню раз вернуться в Россию, не случайно он встречался с советским послом Федором Раскольниковым [3], с советскими писателями в Берлине и Париже, но не решился. А жаль.

Пригодился бы и Советской России идеальный поэт. Когда я говорю о его идеальности, речь не идет о литературном значении Северянина, мол, он выше всех. Однако все другие поэты несли служение по Некрасову: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Маяковский был официальным государственным гением, Есенин был народным героем, Гумилев — героическим монархистом. Даже Марина Цветаева написала свой «Лебединый стан», Анна Ахматова — «Реквием». А Игорь-Северянин был просто поэтом, преданным своей капризной музе. Вот в этом смысле он и был — идеальным поэтом.

## Гений Севера

Игорь-Северянин весь пронизан Севером. От своего псевдонима, говорящего о северном происхождении поэта, до воспетых им северных рек. Всю жизнь свою прожил на Севере: родился в Петербурге, где лет до девяти жил с родителями.

О детстве будущего поэта известно мало. Семья вскоре распалась, в 1896 году отец взял с собой сына, и они уехали в Череповецкий уезд. Игорь рос на лоне северной природы, в Сойволе, имении своей тетки Елизаветы Петровны Журовой на реке Суде километрах в тридцати от Череповца. Недалеко от Сойволы позже была выстроена Владимировка — имение дяди, Михаила Петровича Лотарева, где сейчас находится Литературный музей Игоря-Северянина. Учился Игорь, и надо сказать плохо учился, четыре года в Череповецком реальном училище, да так его и не окончил. Директором училища был милейший князь Б.А. Тенишев, которого Игорь-Северянин всегда вспоминал с удовольствием, в отличие от самой учебы, которую не любил.

*Для всех секрет полишинеля,  
Как мало школа нам дает.  
Напрасно, нос свой офланеля,  
Ходил в нее я пятый год:  
Не забеременела школа  
Моим талантом и умом,  
Но много боли и укола  
Принес мне этот «мертвый дом»,  
Где умный выглядел ослом.  
Убого было в нем и голо, —  
Давно пора его на слом!..*

(«Роса оранжевого часа»)

Подрастающий Игорь возненавидел учебу, но всей душой любил богатую природу Севера и пристрастился к рыбной ловле. Именно в Сойволе он привык к дальним пешим походам. Рос дикарем. Занятой, вечно в разъездах отец и все позволяющая тетка не могли да и не старались

уследить за школьными делами своевольного подростка:

*Ту зиму прожил я в деревне,  
В негодовании зубря,  
По варварской системе древней,  
Все то, что все мы зубрим зря.  
Я алгебрил и геометрил.  
Ха! Это я-то, соловей!  
О счастье! Я давно разветрил  
«Науки» в памяти своей...*

*(Там же)*

Эта явная недообразованность ощущалась им всю жизнь.

Север вызвал к жизни первые стихи Игоря Лотарева. Уехав с отцом в Порт-Артур, в октябре 1903 года он писал, вспоминая уже на всю жизнь полюбившиеся места:

*— Я стоял у реки, — так свой начал рассказ  
Старый сторож, — стоял и смотрел на реку.  
Надвигалась ночь, навевая тоску,  
Все предметы, — туманнее стали для глаз.  
И задумавшись сел я на камне, смотря  
На поверхность реки, мысля сам о другом.  
И спокойно, и тихо все было кругом,  
И темнела уже кровавая заря.  
Надвигалась ночь, и туман над рекой  
Поднимался клубами, как дым или пар,  
Уж жужжал надоедливо глупый комар,  
И летучая мышь пролетала порой.  
Вдруг я вздрогнул... Пред камнем течение реки  
Мчало образ Святого Николы стремглав...  
Но внезапно на тихое место попав,  
Образ к берегу, как мановеньем руки  
Чьей-то, стало тянуть. Я в волненьи стоял,  
Я смотрел, ожидал... Образ к берегу плыл  
И, приблизившись к камню, как будто застыл  
Предо мной. Образ взяв из воды, я рыдал...*

*Я рыдал и бесцельно смотрел я в туман  
И понять происшедшего ясно не мог,  
Но я чувствовал ясно, что близко был Бог, —  
Так закончил рассказ старый сторож  
Степан.*

*18 октября  
Порт-Дальний на Квантуне  
(«Сойволская быль»)*

Это написал шестнадцатилетний подросток, воспитанный в православной вере и влюбленный в родной Север. В окрестностях Череповца (теперь это Вологодчина), в северных лесах и на берегах северных рек впервые явилась ему его муза («Лесофея»), отсюда и поздний псевдоним поэта — Северянин. Много лет спустя, уже в эмиграции, он воскрешал в стихах места своего детства, и всегда при этом звучала в них ностальгическая нота: «О Суда! Голубая Суда! Ты внучка Волги! Дочь Шексны! Как я хочу тебя отсюда!» («Роса оранжевого часа»).

Я проехал по всем северным местам жизни поэта, начиная от Череповца и заканчивая Литературным музеем Северянина во Владимирова, прошелся по берегам холодной северной реки Суды, покатался на лодке. Да и жил в том самом доме, где подолгу гостил у своего дяди Северянин. Ездил и в Сойволу, но после строительства водохранилища старую Сойволу подтопило, и дом, где жил Игорь-Северянин, не сохранился.

Для написания книги мне всегда необходимо поставить себя на место героя. Когда писал о Лермонтове, жил в Тарханах и Пятигорске, писал о Бродском — жил то в деревне Норенской, то в Венеции, побывал и в Америке. Вот и теперь ездил по местам Игоря-Северянина — то в Гатчину и на мызу Ивановка, то в эстонскую деревню Тойла и Усть-Нарву, а то забирался в череповецкую глушь, где до сих пор в той же Владимировке нет ни водопровода, ни канализации, живут как в каменном веке.

В 2002 году в Череповце вышла книга Виталия Николаевича Минина «Усадьба "Сойвола"». Сам краевед живет там же, где мы с ним и пообщались. Как считает Минин: «Теперь известны все четыре памятных места на череповецкой земле, о которой Игорь-Северянин тосковал в Эстонии: усадьба и фабрика тети Елизаветы Петровны Журовой на Андоге, притоке Суды. Город Череповец, где на здании бывшего реального училища

установлена мемориальная доска поэту. Дом М.П. Лотарева во Владимировке, где уже шесть лет существует литературный музей поэта. Поселок Сойоловское — родниковое место его поэзии».

Поэт вспоминал: «С 1896 г. до весны 1903 г. я провел преимущественно в Новгородской губернии, живя в усадьбе Сойвола, расположенной в 30 верстах от Череповца...»

*Шексна моя, и Ягорба, и Суда,  
Где просияла первая любовь,  
Где стать поэтом, в силу самосуда,  
Взбурленная мне предрешила кровь.*

(«Уснувшие весны»)

На Суде прошло его детство, там он стал поэтом, а спустя сорок лет на Россони и Нарове он закончил свою жизнь. Так и вижу его мальчиком с удочкой в руках и позже уже зрелым мужчиной все с такой же удочкой. Менялись только северные реки.

Любители поэзии Северянина едут со всей России в единственный литературный музей его имени — в имении Владимировка. Полагают, что в этом старинном двухэтажном доме, построенном дядей поэта в 1899 году, поэт и жил. На самом деле это не так. По уверениям краеведа Минина, во Владимировке у своего дяди Игорь появился чуть ли не после возвращения из Порт-Артура.

Как пишет сам поэт в поэме «Падучая стремнина»:

*К концу Поста приехал из имения  
В столицу дядя Миша по делам.  
Он пригласил меня к себе поехать  
Встречать совместно Пасху. Вся семья,  
За исключением дочери замужней,  
Моей кузины Лили, собралась  
В усадьбе. Я любил край новгородский,  
Где отрочество все мое прошло.  
И с радостью поехать согласился...*

(«Падучая стремнина»)

Было это уже в апреле 1906 года, после дальневосточной поездки. Минин считает, что это был первый приезд Игоря Лотарева во Владимировку: ведь ранее никогда поэт о ней не вспоминал. Но после поездок и в Сойволу, и во Владимирову я не могу поверить, что подросток сам ли, с отцом или тетушкой ни разу не побывал у дяди, построившего свой массивный дом всего-то километрах в тридцати от Сойволы. Даже на лодке можно было доплыть. Тем более что Михаил Петрович племянника любил и потом не раз помогал ему в жизни. Даже в годы учебы в Череповецком училище, когда Игорь ездил из Череповца домой, он мог бы заглянуть в гости к дяде прямо по дороге.

Надо сказать, что первой поселилась на Суде его тетушка, Елизавета Петровна, владевшая в Череповецком уезде обширными имениями, а заодно и картонной фабрикой. Когда ее брат Василий Петрович Лотарев разошелся с женой, он с сыном тоже подался в северные края. К тому времени военный инженер Лотарев уже вышел в отставку и имел кое-какие сбережения. Вместе с сестрой он задумал новую картонную фабрику на Суде, вложил все свои капиталы в строительство, оснастил предприятие новейшим зарубежным оборудованием. Но начался кризис, спроса на продукцию не было, и Василий Петрович за гроши продал фабрику удачливому дельцу, который и развернул производство. Картонная фабрика работала и в советские годы, однако в связи со строительством водохранилища была закрыта.

Получается, я и отец поэта — коллеги, я тоже по первой профессии инженер-бумажник и хорошо знаю северные бумажные комбинаты. Могу представить, что окружало Игоря в детские годы, какие запахи шли от целлюлозного производства. Вот он и уходил в лес собирать ягоды, плыл на лодке подальше на речные просторы или на лошадке уносился в череповецкие «прерии», начитавшись Фенимора Купера. Книги он читать очень любил, хотя учебу презирал.

*Череповец, уездный город,  
Над Ягорбой расположен,  
И в нем, среди косматых бород,  
Среди его лохматых жен,  
Я прожил три зимы, в Реальном,  
Всегда считавшемся опальным  
За убиение паря Воспитанником заведенья,  
Учась всему и ничему  
(Прошу покорно снисхожденья!..)*

*Люблю на севере зиму,  
Но осень, и весну, и лето  
Люблю не меньше. О поре  
О каждой много песен спето.*

*(«Роса оранжевого часа»)*

На годы учебы сына в Череповце отец вызвал из Петербурга мать Игоря, счастью не было предела, но учиться своенравный подросток все равно не желал. После второго класса он был оставлен на второй год. Другое дело учинить какую-нибудь проказу, затащить, к примеру, жеребенка на второй этаж дома...

*Я про училище забыл,  
Его не посещая днями;  
Но папа охладил мой пыл:  
Он неожиданно нагрел  
И, несмотря на все мольбы,  
Меня увез. Так в Лету канул  
Счастливый час моей судьбы!  
А мать, в изнеможеньи горя,  
Взяв обстановку и людей,  
Уехала, уже не споря,  
К замужней дочери своей.*

*(Там же)*

Тем не менее на здании Череповецкого реального училища (ныне университета), столь не любимого когда-то поэтом, установлена в его честь памятная доска.

Свою северную жизнь поэт описал в уже не раз цитировавшейся поэме «Роса оранжевого часа». Как вспоминает Минин: «...Ныне на Суде есть поселок Сойоловское. Теперь это дачное место. <...> Но Северянин дал еще и поэтические приметы своей духовной колыбели. Рассказывая об усадьбе, он говорит, что "был правый берег весь олесен". В описываемом месте Суды таковым он остается до сих пор. И еще плесо реки здесь расположено с запада на восток, так что огромный шар утреннего солнца,

выкатываясь из-за леса, заливают оранжевым светом и зеркальную водную гладь, и прибрежные луга в каплях росы. Такую картину наблюдал юный рыбак Игорь Лотарев. Вот откуда поэтический образ — "роса оранжевого часа"..."»

Нынешние дачники из Сойоловского знать не знают ни про какого Северянина, хотя до музея во Владимировке всего час езды.

Название усадьба Сойвола получила от речки, по берегам которой размещались приписанные картонной фабрике леса. Дом для новой усадьбы, громадный, двухэтажный, купили в помещицьем имении на реке Колпи и сплывили по воде в разобранном виде. Об этом доме ходили мрачные легенды и слухи, будто прежде в нем жили семь сестер-помещиц, убивавших своих новорожденных детей («они детей своих внебрачных бросали на дворе в костер, а кости в борах чердачных муравили»), а затем дом перекупила помещицья пара, вскоре покончившая жизнь самоубийством.

В этом доме мальчик Игорь жил один в комнате на втором этаже. По ночам он дрожал от страха, ему чудились привидения и покойники.

Имение Владимировка брат Василия Петровича Лотарева Михаил Петрович начал строить лишь в 1899 году по тому же типу, что и Сойвола.

Есть в книге Минина и подборка цитат Игоря-Северянина, посвященных любимой Суде. В стихах он много раз называл точный адрес своей поэтической колыбели. Какими только словами не ласкал он свою судьбоносную реку: «лучезарная Суда», «русло моего пера», «моя незаменимая река», «прозрачно-струйная»... Он сравнивал стремительную Суду с быстроногим оленем. Северянин любил ее олесенные берега, но знал он и Суду-трудягу:

С утра до вечера кошовник

*По Суде гонится в Шексну...*

Или:

*За ними «тихвинки» и баржи  
Спешат стремглав вперегонки...*

Или:

*И вновь, толпой людей рулима,  
Несется по теченью вниз,  
Незримой силою хранима,  
Возить товары на Тавриз  
По Волге через бурный Каспий,  
Сама в Олонецкой родясь...*

*(«Роса оранжевого часа»)*

Забыв о первых питерских годах, юный Игорь жил природной стихийной жизнью. С материальной стороны детство поэта было более чем благополучно — роскошный двухэтажный дом, лодка, своя лошадка. Но в духовном плане рос он никем не направляемый и остро чувствовал свое одиночество. Думаю, если бы не любовь к поэзии, он пошел бы в революционеры. Игорь-Северянин пишет в поэме «Роса оранжевого часа»:

*Завод картонный тети Лизы  
На Андоге, в глухих лесах,  
Таил волшебные сюрпризы  
Для горожан, и в голосах  
Увиденного мной впервые  
Большого леса был призыв  
К природе. Сердцем ощутив  
Ее, запел я; яровые  
Я вскоре стал от озимых  
Умело различать; хромых  
Собак жалеть, часы на псарне  
С борзыми дружно проводя,  
По берегам реки бродя,  
И все светлей, все лучезарней  
Вселенная казалась мне.  
Бывал я часто на гумне,  
Шалил среди веселой дворни,  
И через месяц был не чужд  
Ее, таких насущных, нужд.  
И понял я, что нет позорней  
Судьбы бесправного раба,  
И втайне ждал, когда труба*

*Непогрешимого Протеста  
Виновных призовет на суд,  
Когда не будет в жизни места  
Для тех, кто кровь рабов сосут...*

*(«Роса оранжевого часа»)*

Легко ли было подростку с тонкой и чуткой душой расти в чужом доме с теткой, занятой своим бизнесом, как сирота при живых отце и матери? Уже тогда в нем наряду с острым чувством социальной несправедливости появилась затаенная ненависть к городу, как к чужому. Северный Маугли со временем стал всеобщим любимцем горожан, но втайне-то он их всегда не любил, даже презирал.

*Ты, выросший в среде уродской,  
В такой типично-городской,  
Не хочешь ли в край новгородский  
Прийти со всей своей тоской?  
Вообрази, вообрази  
Лишенный грез моих стези,  
Восторженного выраженья  
Причины ты вообрази.  
Представь себе, представить даже  
Ты не умеющий, в борьбе  
Житейской, мозгу взяв бандажу  
Наркотиков, представь себе  
Леса дремучие верст на сто,  
Снега с корою синей наста,  
Прибрежных скатов крутизну  
И эту раннюю весну,  
Снегурку нашу голубую,  
Такую хрупкую, больную,  
Всю целомудрие, всю — грусть...  
Пусть я собой не буду, пусть  
Я окажусь совсем бездарью,  
Коль в строфах не осветозарю  
И пламенно не воспою  
Весну полярную свою!*

(«Роса оранжевого часа»)

Никто, похоже, до сих пор не вник в суть поэзии и жизни Игоря Северянина, по-настоящему любившего лишь северную природу и простых северных людей. У всех на слуху поэзы о грезерках, составляющие лишь малую часть его творчества.

Римма Ивановна Спирина, чья мать некогда служила во Владимировке в усадьбе Михаила Петровича Лотарева, писала еще в 1995 году Ирине Владимировне Лотаревой, внучатой племяннице поэта: «Когда читаю о И. Северянине и усадьбе М.П. Лотарева, недоумеваю, почему усадьбу называют Сойвола. Хотелось бы знать, почему усадьбе в д. Владимировка дано название другого населенного пункта, находящегося в нескольких километрах от этого дома, вниз по течению реки Суды. Пока были живы старые люди, узнавала. Никто из них не слышал, чтобы усадьба М.П. Лотарева называлась Сойвола. А моя мама, работая у вашего деда почтальоном, заявляла, что, когда приходили письма на имя Лотарева, то на конверте был указан адрес: "Новгородская губерния. Череповецкий уезд, станция Суда, усадьба Владимировка, его сиятельству инженеру-технологу М.П. Лотареву"».

Любителям поэзии Северянина надо не поленившись и пройти или проехать от имения Владимировка до поселка Сойволовское, посмотреть на истинно северянинские места.

*Но как же проводил я время  
В присудской Сойволе своей?  
Ах, вкладывал я ногу в стремя,  
Среди оснеженных полей  
Катаясь на гнедом Спирютке,  
Порой, на паре быстрых лыж,  
Под девий хохоток и шутки, —  
Поди, поймай меня! шалишь! —  
Носился вихрем вдоль околиц;  
А то скользил на лед реки;  
Проезжей тройки колоколец  
Звучал вдали. На огоньки  
Шел утомленный богомолец,  
И вечеряли старики.*

*Ходил на фабрику, в контору,  
И друг мой, старый кочегар,  
Любил мне говорить про пору,  
Когда еще он не был стар.  
Среди замусленных рабочих  
Имел я множество друзей,  
Цигарку покрутить охочих,  
Хозяйских подразнить гусей,  
Со мною взросло покалякать  
О недостатках и нужде,  
Бесслезно кой-о-чем поплакать  
И посмеяться кое-где...*

*(«Роса оранжевого часа»)*

Вольный подросток Игорь Лотарев не утруждал себя учебой, но на девушек обращал самое пристальное внимание. После чисто детских влюбленностей в сверстницу-баронессу Марусю Дризен или 35-летнюю Аделаиду Константиновну Муравинскую, чуть повзрослев, он не по возрасту страстно влюбился в свою кузину Лилю, дочь дяди Миши, пятью годами старше его. Сколько бы Лиля ни внушала ему, что никаких объятий и слияний тел или душ у них нет и не может быть, оставив надежду лишь на сестринскую любовь, Игорь был увлечен кузиной не на шутку.

*Жемчужина утонков стилия,  
В теплице взрощенный цветок,  
Тебе, о лильчатая Лиля,  
Восторга пламенный поток!  
Твои каштановые кудри,  
Твои уста, твой гибкий торс —  
Напоминает мне о Лувре  
Дней короля Louis Quatorze.  
Твои прищуренные глаза —  
...Я не хочу сказать глаза!.. —  
Таят на дне своем экстазы,  
Присудская моя лоза.*

*(Там же)*

Кончилось это едва ли не трагически. Когда его отец, потерпев фиаско в фабричном деле, устроился коммерческим агентом в одно из пароходств на Квантунском полуострове и ехал туда с Игорем, по дороге они заехали к отцовскому брату Михаилу Петровичу в Серпухов (где тот жил тогда) — и угодили прямо на свадьбу Лили. Там Игорь хотел даже покончить с собой. Но — обошлось.

А дальше — длиннущее путешествие на поезде с отцом через Урал, Сибирь и Дальний Восток, запомнившееся ему на всю жизнь.

*Я видел сини Енисея,  
Тебя, незлобивая Обь,  
Кем наша «матушка-Рассея» —  
Как несравнимая особь —  
Не зря гордится пред Европой;  
И как судьба меня ни хлопай,  
Я устремлен душою всей  
К тебе, о синий Енисей!  
Вдоль малахитовой Ангары,  
Под выступами скользких скал,  
Неслись, тая в душе разгары;  
А вот — и озеро Байкал...  
Святое море! Надо годы  
Там жить, чтоб сметь его воспеть!*

«Роса оранжевого часа» — поэма, посвященная детству на Севере, — заканчивается возвращением Игоря из китайских портов в Гатчину, где его ждала мама. И он мчался подростком, один, через весь Дальний Восток и Сибирь, сбежав от отца к далекой родине своей:

*Чтоб целовать твои босые  
Стопы у древнего гумна,  
Моя безбожная Россия,  
Священная моя страна!*

Шестнадцатилетний подросток, вернувшийся к 1904 году в Гатчину

возмужавшим, обретшим жизненный опыт и некую толику цинизма и иронии, уже прекрасно понимает свою творческую суть — быть русским поэтом и более никем.

## История псевдонима

Как возник загадочный псевдоним «Игорь-Северянин»? И что обозначают эти соединенные дефисом имя и прозвище? Известны писательские сложные псевдонимы: Мамин-Сибиряк, Новиков-Прибой, когда прозвище добавляется к фамилии. Но соединение через дефис имени и прозвища в нашей литературе не встречалось.

К псевдонимам Игорь тянулся чуть ли не с первых стихов. Еще в сентябре 1905 года, написав стихотворение, посвященное смерти любимой поэтессы — «Певица страсти (Памяти Мирры Лохвицкой)», — юный поэт подписал его «Князь Олег Сойволский». Очевидно, титул князя Игорь взял из любви к аристократизму, а вот добавление Сойволский свидетельствовало о тяге к Русскому Северу, отсылало к имению череповецких родственников Сойвола, где Игорь прожил несколько лет и полюбил северную природу. Позже этим же псевдонимом были подписаны стихи в сборнике «Мимоза» <sup>[4]</sup>, в частности стихотворение «Призрак отца», посвященное годовщине его смерти. Да и имя Олег, скорее всего, взято из древних преданий. Имя Игорь было дано ему по святцам, в честь святого древнерусского князя Игоря Олеговича, вот и вспомнился ему Олег.

Количество псевдонимов росло. Стихи, посвященные Дальнему Востоку, где Игорь некоторое время жил с отцом, он подписывал «Квантунец». Любовные стихи отвергнутого юнца, посвященные кузине Лиле, коварно вышедшей замуж, он подписал «Изгнанник». Самым нелепым и вычурным стал его каламбурный псевдоним Граф Евграф Д'Аксанграф, которым он подписал свою эпиграмму на контр-адмирала князя Ухтомского. Но со временем ему захотелось определить некий индивидуальный знак, заявляющий о нем самом и его стиле.

Мой друг, уже упоминавшийся Михаил Петров, непревзойденный знаток творчества Северянина, со следовательской дотошностью пришел к выводу:

«Поэт старшего поколения Константин Фофанов, с которым молодой поэт Игорь Лотарев был знаком с 20 ноября 1907 года по день его смерти — 17 мая 1911 года, внушил ему идею личной творческой гениальности. Он внушил молодому человеку также и то, что ум поддается тиражированию, поэтому ум есть достояние толпы, а индивидуальностью обладает только безумие, поэтому безумие и есть удел гения. В этом есть какая-то своя логика, которую при всей ее парадоксальности нельзя не

признать за логику.

С темой гениальности тесно связан псевдоним Игоря Лотарева. Псевдоним Игоря Лотарева в творческой биографии поэта символизирует переход от эпохи ученичества к эпохе мастерства. Если юношеские псевдонимы Игоря Лотарева "Мимоза", "Игла" и "Граф Евграф Д'Аксанграф" — это еще неотъемлемая часть ученического процесса, даже игры в поэта, то псевдоним "Игорь-Северянин" — это уже акт инициации Поэта с большой буквы. Игорь-Северянин — это уже зрелый, опытный мастер.

Современники поэта — издатели, журналисты и критики — воспринимали форму написания псевдонима либо как проявление безграмотности его носителя, либо как проявление излишнего, запредельного для общества индивидуализма — игры в гениальность. Поэтому еще при жизни поэта сложилась практика опрощения псевдонима и написание его в форме имени и фамилии — "Игорь Северянин"...

Иллюстрацией этому обстоятельству вполне может служить "забывчивость" В.В. Шульгина, который, хотя и оставил интереснейшие воспоминания о встречах с поэтом в Югославии в 1930 и 1933 годах и даже находился с ним в переписке, но так и не смог вспомнить его настоящей фамилии. В воспоминаниях Шульгина (РГАЛИ) Игорь-Северянин фигурирует в качестве "кажется, Четверикова". Еще один пример — встреча на вокзале в Тапа (Эстония) в 1938 году Игоря-Северянина и совершающего турне нобелевского лауреата Ивана Бунина. Здороваясь, Бунин произнес имя поэта и запнулся, не сочтя возможным обратиться к коллеге, используя его псевдоним. Это дало повод Игорю-Северянину упрекнуть Бунина в том, что он не знает современной ему русской литературы, подразумевая, что он не знает подлинной фамилии и отчества самого поэта... Самоназвание Игоря Лотарева "Игорем-Северяниным" является началом реализации индивидуального предназначения поэта».

Он до конца жизни остался Игорем-Северянином, но, понимая, как трудно говорить про игорь-северянинские стихи, учитывая читательское восприятие северянинской поэзии, легко соглашался с издателями Сергеем Соколовым («Гриф») и Викентием Пашуканисом, убирающими дефис из авторского имени в издаваемых ими сборниках Северянина. «Громокипящий кубок», «Златолира» в издании «Грифа», а также последовавшие за ними сборники «Ананасы в шампанском» и «Victoria Regia», выпущенные издательством «Наши дни», вышли в свет под именем Игорь Северянин — без дефиса. Как и «Громокипящий кубок» у Пашуканиса, что не помешало самому автору дать в этот сборник

фотографию с четким автографом «Игорь-Северянин».

Михаил Петров обращает внимание: «Дореволюционная критика и журналистика вкупе с издателями никак не могла смириться с дефисом в псевдониме и упорно воспроизводила псевдоним в виде имени и фамилии...» И еще резче: «Дико читать литературоведческие статьи и публицистику, в которых поэта именуют Игорем Васильевичем Северяниным. Подобные ляпсусы встречаются в изрядном количестве, и они отнюдь не так безобидны, как это может показаться на первый взгляд...»

Но и сам поэт в порыве поэтического вдохновения забывал о написании изобретенного им псевдонима. Сплошь и рядом мы видим в его же стихах ссылки на просто Северянина, без всяких дефисов. Что же он собственные правила не соблюдает?

Никакие, даже им самим придуманные правила не могли его ограничить. «Я — соловей: я без тенденций и без особой глубины... <...> / Я так бессмысленно чудесен, / Что Смысл склонился предо мной...» («Интродукция», 1918).

Вот потому и я, сохраняя уважение к придуманному поэтом имени, книгу свою назвал «Игорь-Северянин» (с дефисом), но далее, согласно творческой воле самого поэта, пишу о северянинской жизни и северянинской поэзии, уклоняясь от неудобоваримой для чтения «игорь-северянинщины».

Примерно такое же уклонение от придуманных правил мы видим и в случае с «Максимом Горьким», тоже являющимся единым псевдонимом. Но мы знали город Горький, а не Максим Горький, и смело пишем в его биографиях «писатель Алексей Максимович Горький», что вроде бы такая же нелепица, как и Игорь Васильевич Северянин. Но не будем же мы писать Игорь Васильевич Игорь-Северянин? А сами фамилии, что Пешков у Горького, что Лотарев у Северянина, давно уже вышли из литературного употребления. С этим соглашались и сами авторы.

О северном псевдониме юный поэт задумывался, еще живя на Севере, в череповецкой глуши: то ли Игорь Судский (от реки Суда, воспетой им в стихах), то ли Игорь Сойволский (от имения Сойвола на той же Суде). Продолжал поиски псевдонима, живя и в Порт-Артуре, и в порте Дальнем, но окончательно обрести свое поэтическое имя ему помог, как уже отмечалось, старший друг, учитель и литературный кумир поэт Константин Фофанов, живший неподалеку от Гатчины на мызе Ивановка. Зимой он частенько прибегал к Фофанову в гости на лыжах. Как писал сам Северянин: «Лыжный спорт с детства — один из моих любимейших, и на

своих одиннадцатифутовых норвежских беговых лыжах с пружинящими ход американскими "хомутиками" я пробегал большие расстояния...»

После одного из таких зимних посещений стареющий Фофанов и написал своему юному другу:

*Я видел вновь весны рожденье,  
Весенний плеск, веселый гул,  
Но прочитал твои творенья,  
Мой Северянин, — и заснул...  
И спало все в морозной неге —  
От рек хрустальных до высот,  
И, как гигант, мелькал на снеге  
При лунном свете лыжесход...*

(«Акварель»)

В стихотворении он назван и лыжесходом, так как прибежал на лыжах, и Северянином, так как откровенно поклонялся Русскому Северу. Из этих определений Игорь, естественно, выбрал Северянина и стал им. Уже в декабре 1907 года он послал своему старшему другу и наставнику визитную карточку, где было напечатано: «Игорь-Северянин. Сотрудник-ритмик периодических изданий. С.-Петербург. Средняя Подъяческая, д. 5». Так что, думаю, поэт сам, считая себя по череповецкой юности своей северянином, и решил утвердить этот псевдоним.

И вот уже на сборнике «Зарницы мысли», вышедшем в свет ранней весной 1908 года, впервые появляется псевдоним «Игорь-Северянин».

Пусть для ценителей глубинной мифологии Северянина останутся в силе утверждения Михаила Петрова: «Псевдоним "Игорь-Северянин" равнозначен формуле "я — гений". Тандем в известном смысле представляет собой основную мифологему поэта. Под мифологемой мы понимаем в данном случае устойчивое состояние индивидуальной психофизиологии, в котором зафиксированы каноны существующего для поэта порядка вещей, а также описания того, что для него существует или имеет право на существование. То, чему поэт отказывается дать название, перестает для него существовать в реальности и наоборот, то, что им названо, получает право существовать самостоятельно, право быть вне мифологемы поэта. Псевдоним — особая мифологема, но и в усеченном виде она фиксирует основной порядок вещей и служит концептуальным

обоснованием взаимодействия поэта с обществом. В некотором смысле люди, реализующие собственную мифологию, живут в ней и поэтому нечувствительны к реальности...»

Скорее всего, так оно и было. Поэт явно не обращал внимания на реальность, жил по своим мифологическим законам, допуская, однако, проникновение реальности (даже в виде уничтожения дефиса) в окружающую его жизнь. Это заметно по самоинтервью 1940 года: «Игорь-Северянин беседует с Игорем Лотаревым о своем 35-летнем юбилее». В этом важном для понимания поэта документе обозначены все три его ипостаси: Игорь Лотарев, Игорь-Северянин и Игорь Северянин.

Игорь Лотарев — его реальная биография, его семейная жизнь. Даже его эстонская жена послереволюционных лет Фелисса Круут стала Лотаревой, а не Северяниной.

Игорь-Северянин — его осознанная маска, его индивидуальный облик северного рыцаря.

А просто Игорь Северянин — это тот самый «король поэтов». Я согласен с Михаилом Петровым, что дефис и в самом деле имеет значение, только в ином смысле. Игорь-Северянин с дефисом не смог бы стать в революционной Москве 1918 года «королем поэтов». Да и в тяжелый период голодной жизни в Эстонии 1940 года ему было тоже не до дефисов.

Вот отрывки из того трагического самоинтервью:

«Комната выдержана в апельсиново-бежево-шоколадных тонах. Два удобных дивана, маленький письменный стол, полка с книгами, несколько стульев вокруг большого стола посередине, лонг-шэз у жарко натопленной палевой печки. На стенах — портреты Мирры Лохвицкой, Бунина, Римского-Корсакова, Рахманинова, Рериха; в углу — бронзовый бюст хозяина работы молодого эстонского скульптора Альфреда Каска. Игорь Северянин сидит в лонг-шэзе, смотрит неотрывно на Нарову и много курит.

Я говорю ему:

— Итак, уже 35 лет, как вы печатаетесь. <...> Вы теперь что-нибудь пишете? — спрашиваю я...

— Почти ничего: слишком ценю Поэзию и свое имя, чтобы позволить новым стихам залеживаться в письменном столе. <...> Нет на них и читателя. Я теперь пишу стихи, не записывая их, и потом навсегда забываю.

— И вам не обидно?

— Обидно должно быть не мне, а русским людям, которые довели поэта до такого трагического положения.

— Однако же они любят и чтут Пушкина, Лермонтова...

— О, нет, они никого не любят, не ценят и не знают. Им сказали, что надо чтить, и они слушаются. Они больше интересуются изменами Натальи Николаевны, дурным характером Лермонтова и нецензурными эпиграммами двух гениев. Я как-то писал выдающемуся польскому поэту Казимиру Вежинскому: "Русская общественность одною рукою воскрешает Пушкина, а другою умерщвляет меня, Игоря Северянина". Ибо равнодушие в данном случае равняется умерщвлению. <...>

— Еще один вопрос, — сказал я, поднимаясь, — и, извините, несколько, может быть, нескромный. Вы изволили заметить, что больше почти не пишете стихов. На какие же средства вы существуете? Даже на самую скромную жизнь, какую, например, как я имел возможность убедиться, вы ведете, ведь все же нужны деньги. Итак, на какие же средства?

— На средства Святого Духа, — бесстрастно произнес Игорь Северянин» (1940).

Но вернемся к псевдониму. Михаил Петров обратился даже в совет по присуждению ежегодной эстонской премии имени Игоря Северянина с предложением писать псевдоним поэта в его авторской, с дефисом, версии. Жюри премии рассмотрело это письмо и решило:

«О правописании псевдонима поэта И. Лотарева.

Поэт в течение жизни писал свой литературный псевдоним как с дефисом (Игорь-Северянин), так и без него (Игорь Северянин). Последний вариант встречается чаще и применялся большей частью в более поздний период. Чаще этот вариант использовался также при оформлении произведений в печати самим поэтом. Написание псевдонима без дефиса между именем и фамилией-прозвищем наиболее удобно и гармонично с точки зрения норм русского языка. Пример при склонении: с дефисом — Игорь-Северяниным, Игорь-Северянина и т. д.; без дефиса — Игорем Северяниным, Игоря Северянина и т. д.

С учетом вышеизложенного представляется предпочтительным в написании имени поэта использовать вариант без дефиса: Игорь Северянин.

Приложение: Копия с первой страницы книжки стихов "Рояль Леандра", изданной самим автором в Бухаресте в 1935 году (поздний Северянин), с указанием имени-псевдонима без дефиса. На оттиске находится также факсимиле собственноручного посвящения автора своему знакомому Юрию Дмитриевичу Шумакову, что доказывает факт личной акцептации и применения правописания собственного псевдонима со

стороны автора.

Вл. Илляшевич, член Совета, секретарь правления Союза писателей России.

08 января 2001 года».

Однако, по мнению Михаила Петрова, сборник «Рояль Леандра» печатался в Бухаресте друзьями поэта без его личного участия. Более показательным был бы пример северянинского сборника «Адриатика», изданного в Нарве стараниями автора и за свой счет. Или сборника северянинских переводов из Марии Ундер «Предцветение», изданного эстонской поэтессой за государственный счет. В обоих изданиях псевдоним употреблен без дефиса. Дефис очень не нравился эстонскому поэту Алексису Ранниту, поэтому в двух его книгах стихов, переведенных на русский Игорем-Северянином, псевдоним переводчика указан без дефиса. Издатели упрямо игнорировали дефис, следуя нормам русского языка, и в этом они были правы. Поэт же имеет право утверждать для себя собственную версию. Как отмечает Михаил Петров: «В рукописи неизданного сборника <Игоря-Северянина> "Лирика" (Эстонский литературный музей) со стихами 1918—1928 годов псевдоним на обложке выписан с дефисом. Та же картина в рукописях "Настройка лиры" (РГАЛИ), "Литавры солнца" (РГАЛИ), "Медальоны" (Нарвский городской музей). Предисловия к обеим книгам Раннита подписаны псевдонимом "Игорь-Северянин". Все известные автографы поэта на русском языке, за исключением того, на который ссылается В. Илляшевич — "Милому Юрию Дмитриевичу Шумакову с запоздалой ласковостью. Автор. Tallinn, 1941", содержат дефис в написании псевдонима...»

Игорь-Северянин как бы разграничил реальную издательскую версию своих книг и собственную их версию. Он явно не хотел терять читателей из-за какого-то дефиса, но не хотел и отказываться от своего знака.

И поныне все северяниноведы делятся на упорных дефисистов и тех, кто не придает особого значения дефису. Вот, к примеру, сторонница Петрова Виктория Никульцева утверждает: «Псевдоним был выбран автором поэт не случайно. Контаминация Игорь-Северянин очень точно отражает истоки творчества, искания счастья и гармонии в противоречивом мире. Любовь к северной природе, вошедшую в сердце Игоря Лотарева, детские годы которого протекали среди лесов и рек Новгородской губернии, ничто так и не смогло охладить — ни "услад столичных демон", ни "ненужье вынуждающей нужды", ни случайная эмиграция. "Человек с Севера", несущий гордое варяжское имя Игорь, воспринимал эти слова-понятия как две ипостаси неразделимого целого, и именно дефис в

осознанно выбранном автором псевдониме и должен был уравнивать, подчеркнуть смысловое, с народнообывательским...»

Правда, сам поэт не был столь строг, как его поклонники-дефисисты, и относился к написанию псевдонима как фамилии — Северянин — вполне благодушно. Разве что в личных бумагах он всегда писал «Игорь-Северянин». Так, к примеру, в стихах, издеваясь над своими критиками, поэт пишет: «Тусклые Ваши Сиятельства! Во времена Северянина / Следует знать, что за Пушкиным были и Блок, и Бальмонт!» И никаких тебе здесь «Игорь-Северяниных».

В русскую литературу наш герой вошел навсегда со звучным псевдонимом Игорь-Северянин. Привязать выбор псевдонима к какому-то конкретному месту практически невозможно, потому что прерогатива называть вещи своими именами (давать имена вещам и тварям) принадлежит только самому поэту. Современные исследователи связывают происхождение псевдонима и с Северной столицей — Петербургом, в котором поэт родился, и с окрестностями северного города Череповца, где жил в юные годы, и даже с северными реками Судой, Шексной, Нелазой. Однако все эти предположения навечно останутся гипотезами, которые невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Кстати, в очерке Игоря-Северянина «Из воспоминаний о К.М. Фофанове», в главе «Стихи мне посвященные» приведен текст фофановского посвящения в прозе: «Ничего лучшего не мог я придумать, что показал мне Игорь-Северянин. Чту его душу глубоко. Читаю его стихи и все говорит мне: в Тебе — Бог!»

Насколько мне известно, начиная где-то с 1907 года в своих устных выступлениях и написанных от руки стихах поэт уже называет себя Северянином. Псевдоним потребовался еще и потому, что в дворянской среде ни поэтов, ни артистов не ценили, и «чтобы не позорить рода своего», молодые творцы из этой среды, как правило, брали себе псевдонимы. Иначе богатый вологодский дядюшка Игоря мог бы и отказать ему в помощи.

Два важнейших документа — два завещания поэта, одно, датированное 9 марта 1940 года, а другое 20 октября того же года, подписаны полным псевдонимом с присовокуплением настоящей фамилии: «Игорь-Северянин (Лотарев)».

Михаил Петров считает, что употребление простого псевдонима всеу всеми родственниками поэта привело впоследствии к неразберихе. К примеру, на центральной аллее Таллинского Александро-Невского кладбища в 20 метрах от могилы самого Игоря-Северянина можно видеть могилу лжедочери поэта Валерии Игоревны Северяниной, урожденной

Валерии Порфирьевны Кореневой (Коренди). Сегодня неизвестна судьба ее сына Игоря Северянина-младшего, урожденного Игоря Олеговича Мирова. Если бы, по мнению Петрова, еще при жизни поэта не произошло разделения его псевдонима, то Валерия Порфирьевна Коренева должна была бы именоваться Валерией Игоревной Игорь-Северяниной, а ее сын Игорем Олеговичем Игорь-Северянином-младшим, что само по себе демонстрирует абсурдность таких манипуляций с псевдонимом. Умершая раньше матери (Веры Коренди) Валерия Порфирьевна упокоена без указания на надгробии «неудобной» даты рождения (6 февраля 1932), абсолютно исключаящей ее права на родовую фамилию Лотаревых и тем более на использование псевдонима.

Настоящая дочь поэта, тоже Валерия, рожденная в 1913 году вне церковного брака, не унаследовала ни родовую фамилию отца, ни его псевдоним. Она до конца своих дней именовалась Валерией Семеновой. Единственная законная жена поэта, эстонка Фелисса Михайловна Круут, также не стала Северяниной, а всю жизнь оставалась Лотаревой.

Мы же оставим за самим поэтом его звонкое прозвище «Игорь-Северянин» (с дефисом), но писать будем, как уже говорилось, о северянинской поэзии, северянинской славе и, критикуя его подражателей, о северянинщине, а никак не о «игорь-северянинщине».

Всю жизнь Игорь-Северянин был гением и певцом Русского Севера, и придуманный им псевдоним стал своеобразным знаком верности родному краю.

## «От Баязета до Порт-Артура...»

Мы пережили очередную, забытую всеми, печальную годовщину Русско-японской войны 1904—1905 годов. С 27 января (9 февраля) 1904 года по 23 августа (5 сентября) 1905 года шла война между Российской и Японской империями за контроль над Маньчжурией и Кореей. Собственно, ни в самой России, ни в самой Японии война не велась. Такая неприметная империалистическая война за колонии, несправедливая со всех сторон. Но если говорить об имперском замахе (России война была не нужна), он, без сомнения, был. Россия стремилась сохранить контроль над Северо-Восточным Китаем и Маньчжурией. Нам не столько территории китайские были нужны, сколько требовалось обезопасить наши границы. Для того и железную дорогу строили рекордными темпами <sup>[5]</sup>, и флот на Дальнем Востоке развивали. Увы, ничто не помогло. Но в память русскую эта война вошла как война героического поражения.

Япония первой начала военные действия. Внезапное, без официального объявления войны, нападение японского флота на корабли, стоявшие на внешнем рейде Порт-Артура в ночь на 27 января (9 февраля) 1904 года, ослабило русскую эскадру. К августу 1904 года японцы осадили Порт-Артур и к январю 1905-го заняли его. Вслед за этим японцы в Цусимском сражении нанесли сокрушительное поражение второй русской эскадре, переброшенной на Дальний Восток с Балтики.

Это поражение от доселе мало кому известной островной Японии изменило всю ситуацию в России. Революционно настроенные студенты Московского университета поздравили телеграммой японского микадо с победой над русским флотом при Цусиме. С другой стороны, поражение заставило и политиков, и промышленников всерьез задуматься над развитием страны.

О влиянии либералов на тогдашнее общественное мнение говорит уже тот факт, что о гибели тысяч русских моряков, о гибели флота почти не писали, художественная литература предпочла этого не заметить. За двумя исключениями. И тоже примечательными.

Во-первых, это знаменитая песня «Варяг», написанная после трагической гибели крейсера чистокровным немцем Рудольфом Грейнцем, подданным немецкого кайзера Вильгельма, и сразу же переведенная Евгенией Студенской.

Вторым заметным отзывом на события Русско-японской войны стали

стихи юного поэта Игоря Лотарева, позже ставшего Северянином.

Весной 1903 года, как помним, отец поэта отправился вместе с сыном на далекий полуостров Квантун, к новому месту работы. Ехали долго, через Урал, затем — Байкал, который запомнился впечатлительному Игорю, далее Алтай и наконец Китай, Порт-Дальний.

*Я с детства мечтал о Байкале,  
И вот — я увидел Байкал.  
Мы плыли, и гребни мелькали,  
И кедры смотрели со скал.  
Я множество разных историй  
И песен тогда вспоминал  
Про это озерное море,  
Про этот священный Байкал.  
От пристани к пристани плыли.  
Был вечер. Был холод. Был май.  
Был поезд, — и мы укатили  
В том поезде в синий Китай...*

(«Байкал», 1929)

Прогулки по горам, поездки в Порт-Артур, увлечение молодой японочкой... В памяти навсегда остались увиденные корабли русской эскадры. Война уже приближалась, это напряжение чувствовал и юный Игорь. Ему запомнился роскошный бал на крейсере «Рюрик», устроенный генерал-лейтенантом Кондратенко, позже погибшим при обороне Порт-Артура, — мол, у нас все спокойно, пьем шампанское. А в корабельных арсеналах в это время считали снаряды.

В Дальнем Игорь пишет стихи, которые позже вошли в сборники «Ананасы в шампанском» и «Поэзоантракт».

В декабре 1903 года, когда он, поссорившись с отцом, в одиночку возвращался в Россию, к матери, проездом посетил Владивосток, где наблюдал знаменитый владивостокский отряд крейсеров. На его юношеские романтические впечатления от Порт-Артура и Дальнего наложились и вскоре начавшаяся Русско-японская война.

Позже, в автобиографической поэме «Падучая стремнина» Игорь-Северянин упоминает о том, что в Гатчине у него была собрана большая коллекция открыток с изображением российских боевых кораблей,

принадлежавших двум Тихоокеанским эскадрам:

*В год первой революции на дачу  
Мы в Гатчину поехали. Весною  
Произошла Цусима. Катастрофа  
Нежданная совсем меня сразила:  
В ту пору я большим был патриотом  
И верил в мощь любимой мной эскадры.  
Я собирал коллекцию из снимков  
Судов всех флотов; на почетном месте  
Примерно вымпелов сто девяносто,  
Висел на стенке русский флот, причем  
Разделены суда все по эскадрам:  
Из Балтики, левой — из Черноморья,  
И Тихоокеанская...*

(«Падающая стремнина»)

Игорь был так потрясен драмой, разыгравшейся на Дальнем Востоке, гибелью совсем недавно виденных им красавцев крейсеров и броненосцев, что написал целый цикл стихотворений, посвященных битвам в океане: «Бой при Чемульпо», «Гибель "Рюрика"», «Подвиг "Новика"», «Взрыв "Енисея"», «Потопление "Севастополя"», «Захват "Решительного"», «Конец "Петропавловска"». Именно с этих стихов Игорь-Северянин всегда отсчитывал начало своей профессиональной поэтической деятельности, к тому же их публикация была дебютом поэта в печати.

Тогда же Игорь начал собирать открытки с изображениями всех кораблей обеих Тихоокеанских эскадр. Михаил Петров пишет о дальневосточном цикле поэта:

«Исследователей творчества Игоря-Северянина может-заинтересовать 1-я Тихоокеанская эскадра, принимавшая участие в начале Русско-японской войны. Некоторые суда этой эскадры описаны или просто упомянуты в стихах Игоря Лотарева. Некоторые суда 2-й Тихоокеанской эскадры юный поэт мог видеть на рейде Санкт-Петербурга или в Кронштадте».

Поэт коллекционировал открытки издания Н. Апостоли в Петербурге, Р. фон дер Лея и Е. Иванова в Ревеле. Он рассматривал изображения и писал трагические и вместе с тем героические стихи.

«За эти годы, — вспоминал позже Северянин, — мне посчастливилось

напечататься только в немногих изданиях. Одна "добрая знакомая" моей "доброй знакомой", бывшая "доброй знакомой" редактора солдатского журнала "Досуг и дело", передала ему (генералу Зыкову) мое стихотворение "Гибель Рюрика", которое и было помещено 1-го февраля 1905 г. во втором номере (февральском) этого журнала под моей фамилией: j Игорь Лотарев. В то же время я стал издавать свои стихи отдельными брошюрками, рассылая их по редакциям — "для отзыва".

В 1908 г. промелькнули первые заметки о брошюрках. Было их немного, и критика в них стала меня слегка поругивать».

Первым было напечатано стихотворение «К предстоящему выходу Порт-Артурской эскадры», которое Игорь отослал в журнал «Досуг и дело», где оно вышло отдельной брошюрой 25 сентября 1904 года.

*Поднимется на флагманском «Баяне»  
Опять сигнал: «идти в Владивосток».  
Он невозможного ломает грани,  
По смыслу он возвышен и высок.  
.....  
Начнется бой, которому на свете  
Никто не сможет равного найти,  
Но на «Баяне» и в минуты эти  
Прочтут сигнал: «в Владивосток идти».*

Как и большинство патриотически настроенных россиян, Игорь сначала ждал, когда Порт-Артурская эскадра прорвется к Владивостоку, затем ждал такого же прорыва эскадры адмирала Рожественского под Цусимой. Увы, этого так и не произошло.

25 июля 1904 года командующий эскадрой в Порт-Артуре адмирал Витгефт получил от наместника на Дальнем Востоке адмирала Алексеева последнюю депешу: «Вновь подтверждаю... к неуклонному исполнению вывести эскадру из Порт-Артура... не выход эскадры в море вопреки высочайшей воле и моим приказаниям и гибель ее в гавани в случае падения крепости лягут тяжелой ответственностью перед законом, лягут неизгладимым пятном на Андреевский флаг и честь родного флота. Настоящую телеграмму сделать известной всем адмиралам и командирам».

В этот же день японцы установили осадные батареи и открыли огонь по городу, порту и кораблям. Адмирал Витгефт приступил к выполнению приказа, хотя в благополучный исход этой операции не верил. 26 июля на

броненосце «Цесаревич» он объявил флагманам и командирам кораблей телеграмму Алексеева и назначил выход эскадры на шесть часов утра 28 июля. Указаний, как вести бой при встрече с противником, адмирал не дал, сказав, что он будет пользоваться инструкциями, выработанными в свое время адмиралом Макаровым, но уточнил исход прорыва в приказе: «Кто может, тот и прорвется, никого не ждать, даже не спасать, не задерживаться из-за этого, в случае невозможности продолжать путь выкидываться на берег и по возможности спасать команды, а судно топить и взрывать, если же не представится возможности продолжать путь, а представится возможным дойти до нейтрального порта, то заходить в нейтральный порт, даже если бы пришлось разоружиться, но никоим образом в Артур не возвращаться, и только совершенно подбитый под Порт-Артуром корабль, безусловно, не могущий следовать далее, волей-неволей возвращается в Артур».

Как известно, прорыв всей эскадры не удался. В ходе боя погиб адмирал Витгефт, что, к сожалению, привело к потере управления. Часть кораблей, в основном броненосцы, кроме одного, возвратилась в Порт-Артур, часть — прорвалась и в дальнейшем была интернирована в иностранных портах.

Историк В. Жилин пишет:

«Во время боя японских эскадр под Порт-Артуром вице-адмирал Камимура с броненосными крейсерами находился в Корейском проливе. Он имел приказ адмирала Того не допустить в Желтое море прорыва отряда владивостокских крейсеров.

В ночь на 30 июля получил командующий ТОФ адмирал Скрыдлов во Владивостоке телеграмму от адмирала Алексеева следующего содержания: "Порт-артурская эскадра вышла в море сражаться с противником, крейсера пошлите в Корейский пролив".

Российское командование намеревалось силами отряда владивостокских крейсеров поддержать прорыв Порт-артурской эскадры, но приказание о его выходе к Корейскому проливу поступило во Владивосток поздно — 29 июля. К этому времени ни Алексеев, ни Скрыдлов не знали, что уже 28 июля Порт-Артурская эскадра проиграла бой и в море отправлять крейсера уже не надо.

Утром 30 июля броненосные крейсера "Россия", "Громобой" и "Рюрик" вышли в Японское море. Через двое суток, 1 августа, при подходе к Корейскому проливу отряд обнаружил четыре военных корабля. Первоначальное чувство радости встречи с кораблями Порт-артурской эскадры сменились чувством тревоги, так как по силуэтам судов стало

ясно, что это японские крейсера адмирала Камимуры. Завязался бой, вскоре к ним подошли еще два легких японских крейсера.

Японские корабли превосходили русские не только по численности, но и по скорости хода и бронированию. На "Рюрике" заклинило руль, и корабль начал циркулировать. Пытаясь прикрыть его, остальные два крейсера начали маневрировать, отвлекая огонь вражеской артиллерии на себя. Трижды они подходили к "Рюрику" в надежде, что ему удастся устранить повреждения, но он потерял и ход. Тогда командир отряда контр-адмирал Иессен приказал двум крейсерам лечь на курс отхода. Японцы решили захватить поврежденный "Рюрик". Командование корабля погибло. Оставшись за командира, лейтенант Константин Петрович Иванов вначале пытался управлять крейсером с помощью машин, но после того, как все орудия были разбиты и четыре котла вышли из строя, приказал открыть кингстоны. В 10 часов 42 минуты 1 августа 1904 г. "Рюрик" скрылся под водой. В истории Тихоокеанского флота "Рюрик" по праву занял место рядом с "Варягом", "Стерегущим" и "Страшным"..."»

Мне интересно отметить, что так же, как в песне «Варяг», в стихотворениях Игоря-Северянина, посвященных Русско-японской войне, нет уныния и пораженчества, нет проклятий в адрес командования и всего царского правительства. Игорь-Северянин как начал свой поэтический путь откровенно патриотическими стихами, став единственным известным русским поэтом, воспевшим подвиги и гибель русских моряков в войне 1904—1905 годов, так и закончил свою поэтическую жизнь прославлением великой России и ее вождя Сталина в 1940 году. Об этом патриотичном русском поэте никто и никогда еще не говорил. А ведь он даже в своих ставших знаменитыми стихах из «Громокипящего кубка» писал:

*Я, гений Игорь-Северянин,  
Своей победой упоен:  
Я повсеградно оэкрашен!  
Я повсесердно утвержден!  
От Баязета к Порт-Артуру  
Черту упорную провел.  
Я покори́л литературу!  
Взорлил, гремящий, на престол!*

(«Эпилог»)

В этом стихотворении, написанном в октябре 1912 года, автор эпатажен, резок, сочетает новый язык поэтов Серебряного века с ярко выделяющейся и не менее экспрессивной старославянской лексикой. «Эпилог» — одно из стихотворений, посвященных теме «Поэт и толпа» и связанных единым пафосным началом. Только в «Эпилоге» все подчеркнуто гротескно и эмоционально. И критики, как правило, не замечали, от какого Баязета и к какому Порт-Артуру поэт «черту упорную провел». А это же явная имперскость: от Турции — до Китая.

Всю осаду Квантуна японцами он пропустил через свою душу. Жалел, что уехал в канун 1904 года и не поучаствовал в войне.

Стихотворение «Гибель "Рюрика"», напомним, было опубликовано в феврале 1905 года в массовом солдатском журнале «Досуг и дело». До этого вышли несколько брошюр со стихами, посвященными русским морякам.

Вышедшие в 1904—1905 годах восемь брошюр о Русско-японской войне поэт хотел выпустить под названием «Морская война», что не было осуществлено. Лишь в 2005 году все тот же Михаил Петров издал в Таллине отдельной книжечкой — к столетию со дня начала литературной деятельности Игоря-Северянина — «Девять стихотворений о Русско-японской войне», включая запрещенное цензурой «Сражение при Цусиме».

Кстати, кроме юного Игоря Лотарева и немца Рудольфа Грейнца, автора «Варяга», отозвавшихся на события Русско-японской войны, можно вспомнить и японского поэта Исикава Такубоку, написавшего поэму о гибели в бою великого русского флотоводца адмирала Макарова:

*Противник доблестный! Ты встретил свой  
конец,  
Бесстрашно на посту командном стоя...  
С Макаровым сравнив, почтят героя  
Спустя века. Бессмертен твой венец!  
И я, поэт, в Японии рожденный,  
В стране твоих врагов, на дальнем берегу,  
Я, горестною вестью потрясенный,  
Сдержать порывы скорби не могу...*

(«Памяти адмирала Макарова»,  
перевод Веры Марковой)

Самым сильным, на мой взгляд, из девяти военно-морских стихотворений юного Игоря Лотарева является стихотворение 1904 года «Захват "Решительного"»:

*Я расскажу вам возмутительный  
Войны текущей эпизод,  
Как разоруженный «Решительный»  
Попался в вражеский тенет.  
Как, позабыв цивилизацию,  
Как, честь и совесть позабыв,  
Враги позорят свою нацию,  
Как их поступок некрасив.*

«Решительный» стоял в нейтральном китайском порту, разоруженный китайцами. В нарушение всех международных правил, японцы, узнав об этом, ворвались в порт и захватили корабль, несмотря на сопротивление безоружной команды, которая успела подорвать его. В печати того времени ошибочно сообщалось, будто миноносец затонул, что нашло отражение и в стихотворении Игоря-Северянина:

*За их поступок беззащитный  
Их наказало море так:  
По воле случая изменчивой  
Погиб «Решительный» в волнах.  
Пусть население европейское  
Поступок варваров поймет,  
Я ж верю опыту житейскому:  
«Добро чужое впрок нейдет».*

Поэт оказался прав. Переименованный в «Акацуки II» (в память эсминца, погибшего под Ляотешанем) корабль в ходе Цусимского сражения протаранил и потопил номерной японский миноносец.

«Что касается Дальнего и Порт-Артура, — пишет Михаил Петров, — то именно здесь он <Игорь-Северянин> постиг очарование моря, плещущегося у головокружных китайских берегов. Балтийское море, а точнее Финский залив он познает в Тойла, оценив эстляндские головокружные берега. Высокий глинт в Тойла действительно напоминает

окрестности Даляна с той только разницей, что море есть, но за спиной нет гор, а вместо золотого песка — крупная галька...

Дальний (Далянь) был основан на берегу залива Даляньван на территории, полученной Россией в аренду от Китая по конвенции 1898 года. Игорь-Северянин побывал в Дальнем и Порт-Артуре летом 1903 года. Сегодня в Даляне и его пригородах проживают более пяти миллионов человек. В городе еще можно найти здания, построенные в начале прошлого века. Современный Далянь, китайский мегаполис, находится в центре свободной экономической зоны. О его прошлом напоминают несколько чудом уцелевших зданий и потешная "Улицарусского колорита"...

В Дальнем и Порт-Артуре Игорь Лотарев видел первую Тихоокеанскую эскадру, русских адмиралов, офицеров и матросов. В 1941 году упокоившись на Александро-Невском кладбище в Таллине, поэт попал в компанию российских моряков во главе с контр-адмиралом Изыльметьевым. Промысел Божий несомненен: на сельском кладбище в Тойла ему, наверное, было бы скучно среди деревенских постояльцев...»

В запрещенном цензурой стихотворении «Сражение при Цусиме» Игорь Лотарев, несмотря на юный возраст, прекрасно осознает и причины, и итоги поражения, но не теряет надежды на возрождение духа победы:

*О, колосс северный — страна богатырей!  
Отчизна доблестных российских сыновей,  
Непобедимая никем и никогда!  
В войне с Японией тебя гнетет беда...  
И шлет откровенное возмущение сдавшему  
флот адмиралу Небогатову:  
К тебе обращаюсь я, русский народ:  
Проклятье изменнику, сдавшему флот!  
Изменники — хуже пиратов!  
Позор же тебе, Небогатов!*

В сражении при Цусиме 14—15 мая 1905 года русские корабли были расстреляны и рассеяны врагом. Адмирал Рожественский был ранен в начале боя. Заменявший его Небогатов на следующий день сдал остатки эскадры.

Трагическая весть о Цусиме больно задела Игоря Лотарева. Собранный им коллекция открыток боевых судов, знакомые величественные силуэты

кораблей — вызывали тоску. Не радовали глаз ни зелень царского парка в Гатчине, где они вдвоем с матерью снимали дачу, ни подобное огромному зеркалу Серебряное озеро. Перо валилось из рук...

Храбрым матросам поэт посвящает свои поминальные слова:

*Мы Андреевский флаг сохранили.  
Спи ж спокойно, борец,  
Наш отважный боец,  
Мы из славы венки тебе свили.  
Памяти «Рюрика»:  
И вместе с ним честно погиб командир  
И много погибло матросов...  
Пусть подвигом славным гордится весь мир,  
Тем подвигом доблестных россов!  
И все тому же доблестному «Варягу»:  
Надеюсь, что еще найдутся люди.  
Которые поддержат русский флаг,  
Как сделали, врагу подставив груди,  
Бессмертные «Кореец» и «Варяг».*

Можно по-разному относиться к стихам юного поэта, но нельзя не уважать горячую искренность патриотического порыва. А что мешало именитым поэтам и писателям, от Валерия Брюсова до Федора Сологуба, от Дмитрия Мережковского до Максима Горького, отдать дань важнейшему событию того времени?

Да и нам не мешало бы почаще вспоминать гибель и «Рюрика», и «Варяга», и других кораблей двух Тихоокеанских эскадр, не забывая и об изменниках, способствовавших этой гибели.

## Обруганный классиком: Игорь-Северянин и Лев Толстой

К 1910 году Игорь-Северянин уже издал за счет богатого дядюшки из череповецкой Владимировки Михаила Петровича Лотарева немало мелких брошюрок со своими стихами. Всего «за свой счет» издано 35 книжечек, которые поэт предполагал позже включить в «Полное собрание поэм».

Первые пятнадцать изданий вышли под именем Игорь Лотарев, последующие двадцать — под псевдонимом Игорь-Северянин. Стихи о Русско-японской войне сменились, со времени знакомства со Златой в 1905 году, стихами о любви. Златой Игорь романтически называл свою возлюбленную Женечку Гуцан. Ни денег, ни драгоценностей у него не было, и он осыпал Злату стихами, посвященными ей.

Молодой поэт сам разносил брошюры по редакциям журналов и газет, но они никого не заинтересовали. Откликов не было.

Впервые Игорь Лотарев был отмечен в 1905 году на страницах «Петербургской газеты»: писательница Н.А. Лухманова рассказала, что передала раненым «на театре военных действий с Японией» 200 экземпляров брошюры И. Лотарева «Подвиг "Новика"». Известные критики его стихи обходили вниманием. А молодой поэт уже нащупывал свою жилу, соединяя в стихах едкую иронию и бульварную привлекательность («Зарницы мысли», 1908; «Интуитивные краски», 1908; «Колье принцессы», 1910; «Электрические стихи», 1910 и др.).

По сути, Игорь-Северянин стал основоположником массовой культуры в России. На фоне заумных символистов и изломанных декадентов Игорь-Северянин быстро вызвал интерес широкой публики. Обладая чутьем на запросы массовых читателей, он начал смело подыгрывать им, при этом умело удерживаясь на грани пародии и издевки над этим же читателем. Тогда-то он и изобрел свой грезофарс, соединяя мещанские гламурные грезы с едким фарсом. Читатели с аппетитом проглатывали его явно придуманные на ходу миньонеты и квинтины, погружаясь в мир принцесс и грезерок. Он и в самом деле «трагедию жизни превращал в грезофарс»:

*В будуаре тоскующей нарумяненной Нелли,  
Где под пудрой молитвенник, а на ней Поль де  
Кок,*

*Где брюссельское кружево... на платке из  
фланели! —  
На кушетке загрезился молодой педагог*

*(«Нелли», 1911)*

Куда помещать такие стихи: в раздел сатиры и юмора или в раздел стихов о любви? Кто как выберет. Не замечались ни самоирония, ни определенный демонизм стихов, ни неприкрытая сатира. Еще чуть больше издевки, и перед нами был бы чистый Саша Черный. Впрочем, и того часто не воспринимали как пародиста и сатирика, принимали всерьез. А уж Игоря-Северянина просто носили на руках те, над кем он насмеялся:

*В смокингах, в шик опроборенные,  
великосветские олухи  
В княжьей гостиной наструнились, лица свои  
оглупив.  
Я улыбнулся натянуто, вспомнил сарказмно о  
порохе:  
Скуку взорвал неожиданно нео-поэзный  
мотив.  
Каждая строчка — пощечина. Голос мой —  
сплошь издевательство.  
Рифмы слагаются в кукиши. Кажет язык  
ассонанс.  
Я презираю вас пламенно, тусклые Ваши  
Сиятельства,  
И, презирая, рассчитываю на мировой  
резонанс!  
Блесткая аудитория, блеском ты зло  
отуманена!  
Скрыт от тебя, недостойная, будущего  
горизонт!  
Тусклые Ваши Сиятельства! Во времена  
Северянина  
Следует знать, что за Пушкиным были и  
Блок, и Бальмонт!*

*(«В блестящей тьме», 1913)*

Но ведь иногда среди этих его иронических стихов рождались и впрямь шедевры:

*Это было у моря, где ажурная пена,  
Где встречается редко городской экипаж...  
Королева играла — в башне замка — Шопена,  
И, внимая Шопену, полюбил ее паж...*

.....

*А потом отдавалась, отдавалась грозиво,  
До восхода рабыней проспала госпожа...  
Это было у моря, где волна бирюзова,  
Где ажурная пена и соната пажка.*

*(«Это было у моря», 1910)*

Массовый читатель уже начал узнавать северянинские очаровывающие мелодии, но в мире высокой литературы его пока не признавал никто. Так могло продолжаться бесконечно долго, популярность у широкого читателя часто не совпадает с вниманием литературной элиты (к примеру, в Советском Союзе уже все пели песни Владимира Высоцкого, а многие именитые авторы его и за поэта не считали). Но тут помог Северянину сам Лев Николаевич Толстой.

В январе 1910 года в Ясную Поляну к Толстому приехал из Москвы сторонник его учения, «толстовец» и популярный писатель Иван Наживин. Об одном из вечеров Наживин рассказал в своем очерке «В Ясной Поляне»:

«Много смеялся он <Толстой> в этот вечер, слушая чтение какой-то декадентской книжки — не то "Интуитивные звуки", не то "Интуитивные краски", где, разумеется, был и "вечер, сидящий на сене", и необыкновенная любовь какая-то, и всевозможные выкрутасы. Особенно всем понравилось стихотворение, которое начиналось так:

*Вонзим же штопор в упругость пробки,  
И взоры женщин не станут робки...*

Но вскоре Лев Николаевич омрачился...»

Еще выразительнее этот эпизод Наживин описал позже, в своей книге «Из жизни Льва Толстого», вышедшей уже после смерти Толстого, в 1911 году: «В один из вечеров писатель после удачно закончившейся для него карточной игры (выиграл 7 копеек) много смеялся, слушая чтение стихов из какой-то декадентской книжки. Но когда прозвучали строки... об упругости винной пробки — захлебнулся от негодования. <...> Услышав подобное, великий старец пришел в ярость: какая глупость! Какая пошлость! Какая гадость! И такую гнусность смеют считать за стихи! До какого падения дошла русская поэзия! Вокруг виселицы, полчища безработных, убийства, пьянство, а у них — упругость пробки!»

Наживин полагал, что Толстой уничтожил Северянина, раздавил его, как клопа. Рассказ подхватили журналисты, кто-то тиснул «слово Толстого» в популярном «Новом времени»...

Так строки, процитированные «самим Толстым», прогремели на всю Россию.

Что уж там говорить, отношение к поэзии у Льва Николаевича было, как известно, своеобразным. Он и Пушкина заодно с Шекспиром не высоко ценил. Поэзия Игоря-Северянина была ему чужда, хотя в сборнике «Интуитивные краски» были и патриотические стихи о Русско-японской войне, и отнюдь не эпатажные лирические стихи в духе Некрасова. Но все говорили только о «Хабанере II»:

*Вонзите штопор в упругость пробки, —  
И взоры женщин не будут робки!..  
Да, взоры женщин не будут робки,  
И к знойной страсти завьются тропки...  
Плесните в чаши янтарь муската  
И созерцайте цвета заката...  
Раскрасьте мысли в цвета заката  
И ждите, ждите любви раската!..  
Ловите женщин, теряйте мысли...  
Счет поцелуям — пойдя, исчисли!  
И к поцелуям финал причисли,  
И будет счастье в удобном смысле!..*

(Сентябрь 1909)

Игорь-Северянин вспоминал: когда Лев Толстой разразился «поток

возмущения по поводу явно иронической "Хабанеры", об этом мгновенно всех оповестили московские газетчики во главе с Сергеем Яблоновским, после чего всероссийская пресса подняла вой и дикое улюлюканье, чем и сделала меня сразу известным на всю страну!.. С тех пор каждая моя новая брошюра тщательно комментировалась критикой на все лады, и с легкой руки Толстого, хвалившего жалкого Ратгауза в эпоху Фофанова, меня стали бранить все, кому было не лень. Журналы стали печатать охотно мои стихи, организаторы благотворительных вечеров усиленно приглашали принять в них, — в вечерах, а может быть, и в благотворителях, — участие...».

По этому поводу поэт шутил:

*Моя вторая «Хабанера»  
Взорвалась, точно динамит.  
Мне отдалась сама Венера,  
И я всемирно знаменит!..*

Северянин после второй «Хабанеры» вошел в моду. В 1911 году Валерий Брюсов написал ему дружеское письмо, одоббив брошюру «Электрические стихи». Федор Сологуб участвовал в составлении первого большого сборника Игоря-Северянина «Громокипящий кубок» (1913), сопроводив его восторженным предисловием, а до этого посвятил Игорю-Северянину в 1912 году триолет, начинавшийся строкой «Восходит новая звезда...».

Громокипящая критика привела к громокипящей славе его сборник «Громокипящий кубок». Взоры женщин и впрямь не стали робки, чем успешно пользовался долгое время Игорь-Северянин. Через полгода после «Хабанеры II» появились еще более знаменитые «Ананасы в шампанском». Умелое сочетание российской действительности и норвежско-испанских грез, молитвы и романса, соединение несоединяемого и создали поэту всемирную славу. Тем более что несомненным был его поэтический талант: свежий взгляд, изысканность и своеобразная народность. Но разгром «Хабанеры II» Северянин никогда не забывал. Уже в 1914 году в стихотворении «Сувенир критике» он восклицал:

*Ах, поглядите-ка! Ах, посмотрите-ка!  
Какая глупая в России критика:  
Зло насмеялась над «Хабанерою»,  
Блеснув вульгарною своей манерою.*

При этом Игорь-Северянин нисколько не обижался на самого Льва Толстого, требующего от поэзии серьезности и поучительности. Поэта раздражала многочисленная и пустоватая газетная критика, пусть и рекламирующая его творчество, но придирающаяся к каждой новой строчке.

Роман Гуль писал в рецензии на сборник Северянина «Менестрель»: «...в былые времена bonton литературной критики требовал бранить Игоря Северянина. Его бранили все, кому было не лень, и часто среди "иголок шартреза" и "шампанского кеглей" в его стихах не замечали подлинной художественности и красоты. А она была — вспомните "Это было у моря", "Быть может, от того", "Хабанера", "Сказание об Ингред" и мн. др.».

Как заметил Федор Сологуб: «Одно из сладчайших утешений жизни — поэзия свободная, легкий, радостный дар небес... Появление поэта радует, и когда возникает новый поэт, душа бывает взволнована, как взволнована бывает приходом весны».

К этому времени Игоря-Северянина поддержали уже, помимо Валерия Брюсова, Федора Сологуба, такие поэты, как Александр Блок, Николай Гумилев. В 1916 году вышла книга «Критика о творчестве Игоря Северянина». В предисловии к ней издатель Викентий Пашуканис отмечал, что интерес критики к поэту «так или иначе способствовал тому исключительному успеху, в котором одни видели самую печальную картину падения литературных вкусов, другие — начало особого внимания читающего мира к новому стихотворцу».

Уезжая в 1918 году из Петрограда, Северянин оставил у знакомых 15 толстых альбомов с вырезками статей из газет о своем творчестве.

«Были в этих книгах (то есть альбомах. — В.Б.) собраны и все карикатуры на меня, — писал Северянин, — а их было порядочно. Там же оставлен и шарж на меня углем работы Владимира Маяковского — голова в натуральную величину. Самое печальное, что этот знакомый бежал из России в 1920 году, и судьба всех этих ценностей ныне мне не известна, хотя он и уверял меня в прошлом году в Берлине, что эти книги, как ему "достоверно известно", находятся в полной сохранности, однако я все же сильно беспокоюсь...»

Пик славы Игоря-Северянина пришелся на 1918 год, когда 27 февраля на выборах «короля поэтов» в Политехническом музее Москвы Игорь-Северянин победил самого Владимира Маяковского и был избран «королем поэтов». Однако о роли Льва Толстого в мгновенной славе Игоря-

Северянина помнили все. Николай Гумилев, неоднократно встречавшийся с поэтом, отмечал позже в «Письмах о русской поэзии»: «Ведь еще так недавно Лев Толстой, прочтя в брошюрке Игоря Северянина строки "Вонзите штопор в упругость пробки, и взоры женщин не будут робки", с горечью удивлялся, до чего дошла русская поэзия, как будто поэзия сколько-нибудь ответственна за невозможные выходки литературных самозванцев». Но, видя бескомпромиссную позицию Игоря-Северянина в утверждении собственного поэтического голоса, Гумилев по-своему заужал поэта.

Гумилев писал: «Из всех дерзающих, книги которых лежат теперь передо мной, интереснее всех, пожалуй, Игорь Северянин: он больше всех дерзает. Конечно, девять десятых его творчества нельзя воспринять иначе, как желание скандала или как ни с чем не сравнимую жалкую наивность. Там, где он хочет быть элегантным, он напоминает пародии на романы Вербицкой, он неуклюж, когда хочет быть изящным, его дерзость не всегда далека от нахальства. "Я заклею, как некогда Бодлэр", "проборчатый... желательный для многих кавалер", "мехово", "грезэрка" и тому подобные выражения только намекают на все неловкости его стиля. Но зато его стих свободен и крылат, его образы подлинно, а иногда и радуяще неожиданны, у него есть уже свой поэтический облик. <...> Трудно, да и не хочется судить теперь о том, хорошо это или плохо. Это ново — спасибо и за то...»

Лев Толстой, сам того не ожидая, помог Игорю-Северянину с утверждением своей литературной маски, которая помогла ему вырваться из безвестности. Как пишет критик Вячеслав Кошелев: «...маска "экстазного" эстета-"гения", призванного эпатировать публику "ананасами в шампанском", "дежурными адъютантессами", "фиолевым трансом" и т. п., навсегда определила его поэтическое "место" (хотя, между прочим, такого рода стихи составляют очень небольшую и явно не основную часть его обширного творческого наследия)...»

Увы, маски часто определяют в глазах массовой публики тот или иной образ поэта — ананасного Северянина, волевого флибустьера Гумилева, домотканого Клюева или горлана-главаря Маяковского. Что бы они ни писали в дальнейшем, маска уже намертво приросла к подлинному лицу.

Кошелев, исследователь творчества Николая Гумилева, писал:

«Поэтическая "маска" Гумилева не без оснований связывается со знаменитыми "Капитанами" (появившимися в первом номере "Аполлона") — маска "флибустьера" и "открывателя новых земель", в "высоких ботфортах" и "брабантских манжетах", маска неперемного "предводителя", волевого, точного и дерзостного в своих поисках. Эта же

"маска" становится определяющей и при восприятии гумилевской лирики. В стихотворении "Пять поэтов" (1918) Северянин отдает предпочтение Гумилеву перед В. Ивановым, А. Белым, И. Бунинным и М. Кузминым именно из-за этой маски "капитана" на поэтическом корабле:

*Нет живописней Гумилева:  
В лесу тропическом костер!  
Благоговейно любит слово.  
Он повелительно-остер.*

"Повелительная" маска Гумилева оказывалась и выигрышнее, и симпатичнее, и притягательнее того уровня "сноба скверного пошиба", каким он сам выглядел в восприятии "капитана". Однако Северянин вполне сознательно отказался от вступления в "гумилевское" объединение: оно грозило утратой "поэтической маски", с таким трудом обретенной. Именно благодаря ее наличию Северянин оказался, наконец, признан и в кругу поэтов: Брюсов посвятил ему два стихотворения, в их числе сонет-акростих "И ты стремишься ввысь, где солнце вечно..." (Северянин тут же откликнулся своим сонетом-акростихом "Великого приветствует великий..."); Сологуб представил молодого поэта петербургскому литературному миру и написал восторженное предисловие к сборнику "Громокипящий кубок"».

Николай Гумилев как бы отвечает Льву Николаевичу Толстому на слова о вульгарности Северянина: «И вдруг — о, это "вдруг" здесь действительно необходимо — новые римляне, люди книги, слышали юношески-звонкий и могучий голос настоящего поэта, на волапюке людей газеты говорящего доселе неведомые "основы" их странного бытия. Игорь Северянин — действительно поэт, и к тому же поэт новый. Что он поэт — доказывает богатство его ритмов, обилие образов, устойчивость композиции, свои, и остро пережитые, темы. Нов он тем, что первый из всех поэтов он настоял на праве поэта быть искренним до вульгарности.

Спешу оговориться. Его вульгарность является таковой только для людей книги. Когда он хочет "восторженно славить рейхстаг и Бастилию, кокотку и схимника, порывность и сон", люди газеты не видят в этом ничего неестественного. О рейхстаге они читают ежедневно, с кокотками водят знакомство, о порывности и сне говорят охотно, катаясь с барышнями на велосипеде. Для Северянина Гете славен не сам по себе, а благодаря... Амбразу Тома, которого он так и называет "прославитель

Гете". Для него "Державиным стал Пушкин", и в то же время он сам — "гений Игорь Северянин".

Что же, может быть, он прав. Пушкин не печатается в уличных листках, Гете в беспримесном виде мало доступен провинциальной сцене...»

Говоря нынешним языком, поэзия Северянина — это непрерывный троллинг массового читателя.

В 1925 году, спустя 15 лет после толстовского «разгрома», Игорь-Северянин пишет стихотворение «Лев Толстой», позже включенное им в книгу «Медальоны»:

*Он жил в Утопии. Меж тем в Москве  
И в целом мире, склонные к причуде,  
Забыв об этом, ждали, что все люди  
Должны пребыть в таком же волшебстве.  
И силились, с сумбуром в голове,  
Под грохоты убийственных орудий,  
К нему взнести умы свои и груди,  
Бескрылые в толстовской синеве...  
Солдат, священник, вождь, рабочий, пьяный  
Скитались перед Ясною Поляной,  
Измученные в блуде и во зле.  
К ним выходило старческое тело,  
Утешить и помочь им всем хотело  
И — не могло: дух не был на земле...*

Интересно, что уже после революции 1917 года Иван Наживин, оказавшийся в эмиграции и занявший на какое-то время бескомпромиссную антибольшевистскую позицию, неожиданно в одном своем рассказе вспоминает об Игоре-Северянине, делая его своим другом. Надо сказать, что в эмиграции Наживин вскоре стал одним из самых популярных литераторов и создателем издательства русских эмигрантов в Германии «Детинец». Его исторический роман «Распутин» был издан на нескольких европейских языках. Затем он перешел на фантастику, выпустил сборник «Во мгле грядущего: фантастические повести будущего» (Вена, 1921), романы «Остров блаженных», «Собачья республика». В 1920 году в Эстонии, в газете «Русь», Наживин опубликовал фельетон-предвидение «Конец. "Мы" и "они" весной 1927 года».

Как пишет Михаил Петров, главный специалист по Северянину в Эстонии:

«Вещица забавная, описывающая десятую годовщину двух последних революций в России: освобожденный народ русский со злобой невероятной истребляет всюду самого себя на радость Сатане. Колокольня Ивана Великого сбита до половины, храм Христа Спасителя лежит в руинах. Вокруг развалин Московского кремля пестрая, многоголосая толпа: японцы, китайцы, башкиры, калмыки, сибирские инородцы...

Но удивительнее другое (в фельетоне Наживина. — В.Б.): "Оглядел я себя и еще более смутился: на мне грязные, вонючие лохмотья, израненные ноги босы и грязны, и все тело нестерпимо ноет от крайней усталости и истощения. И рядом у подножия целой горы дров сидит на земле, читая какую-то серенькую газетку... Да ведь это Игорь С., мой друг, когда-то блестящий поэт, кумир женщин, а теперь истомленный, весь седой босяк, на которого жутко смотреть! И вокруг него, в позах крайней усталости и отчаяния, большая толпа таких же оборванцев, диких, волосатых, среди которых я с ужасом узнаю моих близких друзей, моих противников, людей, когда-то стоявших на верхах культуры, когда-то славных...

— Устали? — тусклым, мертвым голосом спросил меня И.С. — Не хотите ли?

И он протянул мне свою серенькую, дешевую газетку».

Игорь-Северянин в этом фантастическом апокалиптическом видении Наживина становится его поводырем по большевистскому аду.

«— И пылали, и рушились в кровавом безумии города по лицу старой России, — продолжал он <Северянин> бледно и безучастно, — и страшные моря крови стыли под солнцем, и изнемогали народы, и хотели остановиться и не могли, распаленные злобой. И гибло все... Немногие уцелевшие храмы опустели — голод не пускал в них ни женщин, ни детей, ни стариков, в опустевших университетах и музеях гнездились воронье, библиотеки расхищались бедняками на топливо, и оборвалась вечная сказка искусства. И вот, когда в неслыханных междоусобиях и бедствиях наша старая Россия обессилела окончательно, голодная, холодная, больная, нищая, из-за хребта Урала вдруг выглянуло страшное лицо желтого человека... Еще немного, и молодой император монголов будет владыкою мира... а мы... мы... потеряли все... мы только рабы, у которых нет ни своего угла, ни семьи, ни чести, ни завтрашнего дня. Тысячи и тысячи из нас покончили с собой сами, миллионы погибли в бессмысленных боях междоусобиц, миллионы гибнут в этой каторжной, непосильной работе. И зачем живем мы, оставшиеся, не знаю...»

Далее Михаил Петров пишет:

«Щелкают бичи надсмотрщиков. Рабы Игорь-Северянин и Иван Наживин — Вергилий и Данте в красном китайском аду — берутся за носилки с дровами...

Знал ли Игорь-Северянин о поминальном тосте в свою честь на завтраке у Мильруда, нам не известно, но фельетон Наживина он вырезал из газеты и вклеил в свою записную книгу...»

Умер Иван Наживин незадолго до смерти Северянина. Умер в Брюсселе в 1940 году. Так второй раз в жизни фантастически пересеклись пути толстовца Ивана Наживина и поэта Игоря-Северянина. И оба, отмеченные великим старцем.

## Наставники: Мирра Лохвицкая и Константин Фофанов

Необычность Игоря-Северянина видна во всем, даже в его кумирах и наставниках. Вместо классических поэтов России — от Пушкина и Лермонтова, Тютчева и Некрасова и вплоть до своих предшественников Иннокентия Анненского и Константина Случевского — Игорь-Северянин остановил свой выбор на Мирре Лохвицкой и Константине Фофанове. В этом не было никакого кокетничанья или игры с читателем. Он и впрямь и поэтикой, и тематикой в своем творчестве многим обязан этим двум поэтам.

С Миррой Лохвицкой он не был даже лично знаком. Но ее смерть 27 августа 1905 года в возрасте всего тридцати пяти лет Северянина потрясла. Он посвящает любимой поэтессе стихотворение «Певица страсти» и публикует его в своем сборничке стихов «Мимоза», вышедшем в декабре того же года.

*Не слышу больше я песен страстных,  
Горячих песен, любовных песен,  
Не вижу взоров ее прекрасных,  
И мир печален, и сер, и тесен...*

Стихотворение подписано его первым северным псевдонимом: князь Олег Сойволский. Он ценил в Мирре Лохвицкой все ту же лирическую чистоту, нескрываемую страстность, живость и даже «поэтическую томность». Ее признавали почти все поэты того времени. В редакции «Русской мысли» она познакомилась с уже получившим известность Иваном Буниным, и даже он, язвительный и сдержанный в отношениях с современниками, вспоминал ее позже не без восхищения: «...Все в ней было прелестно — звук голоса, живость речи, блеск глаз, эта милая легкая шутливость... Воспевала она любовь, страсть, и все поэтому воображали ее чуть ли не вакханкой, совсем не подозревая, что она, при всей своей молодости, уже давно замужем... мать нескольких детей, большая домоседка, по-восточному ленива: часто даже гостей принимает лежа на софе, в капоте, и никогда не говорит с ними с поэтической томностью, а

напротив, болтает очень здраво, просто, с большим остроумием, наблюдательностью и чудесной насмешливостью...»

Игорь-Северянин хранил все пять ее сборников стихов со своими пометками: «Лебединая песня! Шедевр!» и так далее. Он искренне хотел подражать ей, ценил ее музыкальность и чувственность. Вот, к примеру, одно из стихотворений Мирры Лохвицкой:

*Посмотри: блестя крылами,  
Средь лазоревых зыбей,  
Закружилася над нами  
Пара белых голубей.  
Вот они, сплетая крылья,  
Без преград и без утрат,  
Полны неги и бессилья,  
В знойном воздухе парят.  
Им одним доступно счастье,  
Незнакомое с борьбой.  
Это счастье — сладострастье,  
Эта пара — мы с тобой!*

(«Посмотри: блестя крылами...»)

Игорь-Северянин писал Борису Богомолу в июне 1911 года: «Боготворю Мирру Лохвицкую, считая ее величайшей мировой поэтессой, гениальной поэтессой. Ее поэмы: "На пути к Востоку", "Вандэлин" и "Бессмертная любовь" — шедевры мировой поэзии, разумеется, прозванные и критикой, и публикой... Каждый поэт обязан иметь ее стихи». Он видел себя ее преемником в мире чистой поэзии.

Как верный последователь, Игорь-Северянин посвятил Мирре Лохвицкой десятки стихов, поэмы и даже сборники. Он и впрямь донес до самого широкого читателя имя, может быть, самой еретической поэтессы в русской поэзии, с вакхической страстью воспевающей любовь:

*Я Лохвицкую ставлю выше всех:  
И Байрона, и Пушкина, и Данта.  
Я сам блещу в лучах ее таланта,  
Победно обезгрешившего Грех:  
Познав ее, познал, что нет ни зла,*

*Нет ни добра, — есть два противоречья,  
Две силы, всех влекущие для встречи,  
И обе — свет, душа познать могла.  
О, Бог и Черт! Из вас ведь каждый прав!  
Вы — символы предмирного контраста!  
И счастлив тот, о ком заботясь часто,  
Вселяется в него, других поправ.*

(«Гений Лохвицкой»)

При этом Игорь-Северянин не стеснялся называть ее — Мирра Святая. А. Амфитеатров по

этому поводу писал, что Северянин «первый и, к чести его, наиболее откровенный» последователь поэтессы.

Помимо многих стихов, прямо посвященных памяти Лохвицкой, или с эпиграфами, взятыми у нее, у Северянина встречаются также определенные одинаковые стихотворные размеры (как и у Бальмонта), использование таких характерных для нее приемов, как метабола (повторение в нескольких строфах одной строки с изменением порядка слов). Вместе с тем Лохвицкая была для него скорее не учителем, а кем-то вроде Прекрасной Дамы, предметом романтической любви. Он посещал ее могилу, помнил и чтит ее памятные даты. Об этой любви вспоминает Надежда Тэффи (родная сестра Лохвицкой), которая говорит прямо, что Мирру Северянин «любил всю жизнь» и что в ней самой он «чтил сестру Мирры Лохвицкой».

Иной читатель сочтет эту любовь чересчур экзальтической, но, может быть, и сегодня об этой незаурядной поэтессе помнят во многом благодаря такой экзальтической поэтической любви Игоря-Северянина.

*В моей душе — твоих строфа уст,  
И от строфы бесплотных уст  
Преображаюсь, словно Фауст, —  
И звук любви уже не пуст.  
Как в Маргариту юный Зибель —  
В твой стих влюблен я без границ,  
Но ждать его не может гибель:  
Ведь ты — царица из цариц!*

*(«Царица из цариц», 1908)*

В его стихах оживают герои и героини ее поэм, да и облик самой поэтессы возникает неоднократно при чтении стихов Северянина. В элегических траурных стихах мы находим и описание места ее упокоения на Никольском кладбище в Санкт-Петербурге.

*И она умерла молодой,  
Как хотела всегда умереть!..  
Там, где ива грустит над водой,  
Там покоится ныне и впредь.  
Как бывало, дыханьем согреть  
Не удастся ей сумрак густой,  
Молодую ждала умереть,  
И она умерла молодой...*

*(«И она умерла молодой...»)*

Постепенно наряду с Миррой Лохвицкой в жизнь поэта вошел другой его наставник и кумир — Константин Фофанов. Даже в стихах Северянин соединяет вместе своих кумиров. И тут же приходит понимание, что старый мир уходит и в поэзию должны прийти молодые голоса.

*Прах Мирры Лохвицкой осклепен,  
Крест изменен на мавзолей, —  
Но до сих пор великолепен  
Ее экстазный станс аллея.  
Весной, когда, себя ломая,  
Пел хрипло Фофанов больной,  
К нему пришла принцесса Мая,  
Его окутав пеленой...  
Увы! — Пустынно на опушке  
Олимпа грезовых лесов...  
Для нас Державиным стал Пушкин, —  
Нам надо новых голосов!*

*(«Пролог»)*

Упоминание Мирры Лохвицкой в стихах продолжается до 1930-х годов. Он иронически обыгрывает стиль ее драм и баллад, он фантазирует о сказочной стране Миррэлии, и, даже утверждая себя в поэзии, он утверждает рядом и Мирру Лохвицкую.

*Я сам себе боюсь признаться,  
Что я живу в такой стране,  
Где четверть века центрит Надсон,  
А я и Мирра — в стороне...*

Большой мир меняется, революции, войны, вот уже и сам Игорь-Северянин живет не в России, а в эстонской деревушке Тойла, но имя Мирры Лохвицкой в его поэзии парит вне времени и пространства.

*Миррэлия — светлое царство,  
Край ландышей и лебедей.  
Где нет ни больных, ни лекарства,  
Где люди не вроде людей.  
Миррэлия — царство царицы  
Прекрасной, премудрой, святой,  
Чье имя в веках загорится  
Для мира искомой Мечтой!*

(«Увертюра»)

Эстонские стихотворения Игоря-Северянина уже имеют конкретных адресатов, к примеру, Ирину Борман, одну из его знакомых в Эстонии. Тем не менее в стихотворении, ей посвященном, явно различаются аллюзии на стихотворение Лохвицкой «Последние листья», которое начинается словами «Я вышла в сад...», и написанное тем же размером: «Ты вышла в сад, и ты идешь по саду...»

В 1920-е годы поток его стихотворений, посвященных памяти Лохвицкой, иссякает, но благоговейное отношение к ней остается. В письме Софье Карузо от 17 сентября 1931 года он отзывается о только что вышедшей книге Надежды Тэффи: «А какая тонкая и прелестная книга Тэффи — "Книга июнь". Это бесспорно лучшая из ее книг. В ней столько своеобразной, глубокой и верной лирики. Да и стихи Тэффи иногда

очаровательны: недаром она сестра своей Сестры — Мирры Лохвицкой».

Константин Михайлович Фофанов был, пожалуй, первым из поэтов, поддержавших молодого Северянина. Познакомились они, напомним, 20 ноября 1907 года в Гатчине и в дальнейшем Игорь ежегодно отмечал день знакомства как праздник.

Фофанов — выходец из моей родной Олонецкой губернии. Поэт самой несчастной судьбы. «Предки мои принадлежали к великой семье, называемой Человечеством. Их останки не покоятся в родовых склепах, их гробы не опечатаны дворянскими гербами», — писал он в автобиографии. Предки поэта были государственными крестьянами Олонецкой губернии. «И самый старейший из них какой-нибудь финский рыболов, печальный пасынок природы», — отмечал Фофанов. А в своих стихах иногда называл себя финном. Ведущий критик «Нового времени» Виктор Буренин писал, что наивный талант Фофанова поет, как поют птицы, «не заботясь о том, что споется и как споется...». Собственно, именно эта поэтическая наивность и объединяла Лохвицкую, Фофанова и самого Северянина.

Всю жизнь Фофанов прожил в страшной нищете, болезнях, растил одиннадцать детей. Максим Горький писал о нем: «Фофанов был невыносимо, до страшного жалок, всегда пьяный, оборванный и осмеиваемый, но как бы ни был он сильно пьян, его небесно-голубые глаза сияли именно так, как это изобразил Репин». Последние годы жизни, вплоть до смерти в 1911 году, дружил он с Игорем-Северянином. Его поэзия была неким промежуточным звеном между Некрасовым и народниками, Надсоном и первыми символистами. Социальный символизм. К примеру, стихотворение Константина Фофанова «Чудище»:

*Идет по свету чудище,  
Идет, бредет, шатается,  
На нем дерьмо и рубище,  
И чудище-то, чудище,  
Идет — и улыбается!  
Идет, не хочет кланяться:  
«Левей», — кричит богатому.  
В руке-то зелья скляница;  
Идет, бредет — растянется,  
И хоть бы что косматому!  
Ой чудище, ой пьяница,  
Тебе ли не кобениться,  
Тебе ли не кричать*

*И конному и пешему:  
«Да ну вас, черти, к лешему —  
На всех мне наплевать!»*

Игорь-Северянин писал своему старшему другу:

«Провожу время чудесно, жмурясь от крепкого все еще солнца и от упоительных строк ваших сборников и книг Мирры Святой. Теперь у меня уже 3 книги Ея, — и скоро я буду, кажется, знать наизусть все. Боже! Что это за восторг! Клянусь — это высочайшее наслаждение моей жизни! Я сейчас, написав это, взглянул на Ея портрет, стоящий на столе, и... Она просветлела. Это могло быть, я верю в это!.. Ваш портрет всегда рядом с Ней.

Какая прелесть Ваши "Монологи", когда вдумаешься, сблизись, сольешься с ними. Это — глубочайшая сплошная мысль. Да, теперь таких поэтов нет больше, убежден — нет!.. Как я люблю вас, мои дорогие венценосцы!..»

Не менее высоко и сам Фофанов оценивал стихи Северянина. Первый акростих был написан через шесть дней после их знакомства:

*И Вас я, Игорь, вижу снова,  
Готов любить я вновь и вновь...  
О, почему же нездорова  
Рубаки любящая кровь?  
Ъ — мягкий знак, — и я готов!*

Игорь-Северянин также посвящал стихи другу, а еще писал Фофанову о его творчестве:

«Читали как-то тут "Герцог Магнус" и "Звезду любви", — и в восторге снова! Впечатление

потрясающее, и только в этот раз я вполне оценил эти терцины: грандиоз мрачности, замечательная вещь, редкостная. Дайте эту же тему и это же число строк любому современнику, — получится ужас, нельзя будет читать, сдохнуть от тоски можно.

Написать "Герцога Магнуса" так, как он написан: захватывающе — мог только Фофанов. И не осмейтесь думать, что я льщу Вам! Прекрасно написано. Это — всеобщее впечатление, всех слушавших поэму в моей точной передаче. Непременно одну из следующих брошюр своих посвящу

опять Вам, Вами упоенный, как всегда! В Вас — все, Вы ни в ком.

*Всегда чаруй меня рассказом, —  
Всегда склонюсь перед тобой!..  
Моя мольба звучит приказом,  
И мой приказ звучит мольбой!»*

Главное — эти взаимные восторги были предельно искренними, что проявлялось и в посвящениях стихов друг другу, и во взаимной поддержке. Северянин писал: «Ночей мы почти не спали, — говорили бесконечно. Говорили обо всем и ни о чем. Пылали: смеялись, плакали, возмущались, сострадали, пели стихи. Лежа в постели, Фофанов диктовал мне строфы, — я еле успевал запечатлевать его интуицию. Я читал ему Мирру Лохвицкую. Он рыдал и, приходя в экстаз, бросался на колени перед ее портретом, крестясь на него, и называл прекрасную поэтессу великой и гениальной. Он безумно хотел ее воскресить, как и я, как и я... И были паузы, когда мы оба, не говоря об этом друг другу, прислушивались к ночным белесоватым шорохам сада, думая одно и то же...»

Конечно, жил Константин Фофанов в жутких условиях, много пил, болел. Скончался он 17 мая 1911 года. Незадолго до смерти написал Северянину свое последнее посвящение:

*О, Игорь, мой единственный,  
Шатенный трубадур!  
Люблю я твой таинственный,  
Лирический ажур.*

Северянин тяжело переживал его смерть. Выбрал место на кладбище рядом с могилой своего любимого Михаила Врубеля, нашел деньги на похороны у издателя «Санкт-Петербургских новостей». 20 мая на свежей могиле друга он прочел свои новые стихи «Над гробом Фофанова»:

*Милый Вы мой и добрый! Ведь Вы так  
измучились  
От вечного одиночества, от одиночного  
холода...  
По своей принцессе лазоревой — по Мечте*

*своей соскучились;  
Сердце-то было весело! Сердце-то было  
молодо!..*

*.....*

*Вижу Вашу улыбку, сквозь гроб меня  
озаряющую,*

*Слышу, как Божьи ангелы говорят Вам:  
«Добро пожаловать!»*

*Господи! прими его душу, так невыносимо  
страдающую!*

*Царство Тебе небесное, дорогой Константин  
Михайлович!*

Позже он написал стихотворение «На смерть Фофанова», как последний венок поэту. И до конца жизни в стихах Игоря-Северянина отражались два образа — Мирры Лохвицкой и Константина Фофанова.

## Гатчинская любовь

Гатчина и окрестности — одно из знаковых мест в жизни Игоря Северянина. Там он по-настоящему почувствовал себя поэтом, там написал один из лучших сборников — «Громокипящий кубок» и большую часть своих дореволюционных стихотворений.

«Кубок», вышедший в 1913 году, принес Игорю-Северянину оглушительную славу. Все графоманы страны бросились писать под Северянина. Однако среди северянинских эпигонов был, к примеру, и молодой талантливый Юрий Олеша, в 1915 году опубликовавший свое первое стихотворение с совершенно северянинским названием «Кларимонда». Сам же Северянин продолжал влюбляться, пить вино и легко писать стихи:

*Весенний день горяч и золот, —  
Весь город солнцем ослеплен!  
Я снова — я: я снова молод!  
Я снова весел и влюблен!*

(«Весенний день», 1918)

Удивительно, но в тот гатчинский период ему и его экстазной славе завидовал сам Иван Бунин <sup>[6]</sup>, заметивший, что имя Северянина «знали не только все гимназисты, студенты, курсистки, молодые офицеры, но даже многие приказчики, фельдшерицы, коммивояжеры, юнкера...».

Да и сам Северянин в «Крымской трагикомедии» (21 января 1914 года) писал:

*Я созерцаю — то из рубок,  
То из вагона, то в лесу,  
Как пьют «Громокипящий кубок» —  
Животворящую росу!*

Но вернемся чуть в историю. Когда в декабре 1903 года Игорь впервые приехал в Гатчину и поселился у матери, в их доме часто бывали

литераторы, художники, музыканты. Как писал поэт, Гатчина была «музеем его весны».

*О, милый тихий городок,  
Мой старый, верный друг,  
Я изменить тебе не мог  
И, убежав от всех тревог,  
В тебя въезжаю вдруг!  
Ах, не в тебе ль цвела сирень,  
Сирень весны моей?  
Не твой ли — ах! — весенний день  
Взбурлил во мне «Весенний день»,  
Чей стих — весны ясней?*

(«Музей моей весны»)

Очень многие стихотворения, вошедшие в «Громокипящий кубок», в разное время написаны поэтом в деревне Дылицы (Елизаветино), под Гатчиной. Это и «Нелли», и «Стансы», и «На смерть Фофанова»...

*У старой мельницы, под горкой,  
На светлой даче, за столом,  
Простясь с своей столичной «норкой»,  
Вы просветлеете челом.*

(«Из письма»)

Стихи в основном просты по форме, искренни по содержанию. Они представляют собой картину того, что, собственно, и занимало Северянина-поэта: любовь в ее чистом и светлом бытии, веселье и безудержная радость жизни, «детские жалости и шалости» и природа в ее естественных и бесконечных проявлениях: озеро и солнце, лес и парк, прогулки и рыбалка...

*Июль блестяще осенокошен.  
Ах, он уходит! держи! держи!  
Лежу на шелке зеленом пашен,  
Вокруг — блондинки, косички ржи.*

*О небо, небо! твой путь воздушен!  
О поле, поле! ты — грезы верфь!  
Я онебесен! Я онездешен!  
И Бог мне равен, и равен червь!  
1911 июль, Дылицы*

*(«В осенокошенном июле»)*

В Гатчине Игорь-Северянин встретил свою первую большую любовь — Евгению Гуцан (в стихах, напомним, он называл ее Златой). Здесь мужал его талант, здесь, повторю, был написан его знаменитый сборник «Громокипящий кубок», здесь жил и работал его кумир и наставник Константин Фофанов. Позже в поэме «Падучая стремнина» он вспоминал о гатчинских местах:

*Итак, мы жили в Гатчине: я, мама  
И старая прислуга, пятьдесят  
Лет жившая у нас. Ее ребенком  
Лет девяти, не больше, взяли в дом.  
Я Гатчину люблю: ее озера —  
Серебряное, с чем тебя сравню? —  
И Приорат, и ферма, и зверинец,  
И царский парк, где «Павильон Венеры»,  
Не нравиться не могут тем, кто любит  
Действительно природу, но, конечно,  
Окрестности ее, примерно Пудость,  
Где водяная мельница и парк  
С охотничьим дворцом эпохи Павла,  
Гораздо ближе сердцу моему...  
Но эту местность я узнал позднее,  
Спустя почти что год. Другое лето  
Я проводил, само собой понятно,  
Уже на мельнице.*

Я приехал в Гатчину, надеясь, что встречу здесь немало напоминаний о Фофанове и Северянине, — не нашел ни одного. Мне самому пришлось рассказывать сотрудникам местного музея об их гатчинских знаменитостях.

Ни музея Игоря-Северянина, ни улицы его имени. Даже дом, в котором он жил, находится на улице имени совсем другого писателя. Да, так уж и ведется: «мы ленивы и нелюбопытны».

Побродил по его любимым местам: охотничий домик Павла, гатчинская мельница, вернее, ее развалины, царский парк, Павловский дворец...

Однако сначала я хочу рассказать о страстной взаимной любви Игоря и Женечки-Златы. О любви, которая, на мой взгляд, не покидала их всю жизнь. Но мать Игоря, потомственная дворянка, рассудила иначе, не допустив серьезных отношений между простолюдинкой и своим сыном.

Познакомился Игорь с Женечкой Гуцан, сразу же прозванной им Златой, у ее отца, дворника Тимофея. Впрочем, это описано в северянинской поэме «Падучая стремнина»:

*Но Тимофея позабыть нельзя.  
И я сейчас вам объясню причину:  
Я, как-то разговаривая с ним,  
Обмолвился о скуке. Пригласил он  
Меня к себе. Я, с детства демократ,  
Зашел к нему однажды. Проболтали  
До позднего мы вечера. В беседе  
Бутылку водки выпили. Со Златой,  
Своей дочерью, он познакомил.  
Ей тоже восемнадцать лет. Блондинка,  
Высокий рост и чудный цвет лица.  
Она вернулась вечером с работы  
И, поклонясь слегка, прошла в каморку  
К себе. Я мельком на нее взглянул,  
Но все же различить успел и свежесть  
Ее лица, и красоту походки,  
И общее изящество. Не странно ль,  
Но сразу я почувствовал влечение  
К той девушке. Я больше не встречал  
Ее ни разу в это лето. Вскоре  
Уехали мы в город.*

Может быть, впоследствии он бывал жестковат и немилосерден с другими женщинами еще и потому, что в сердце его продолжала жить

Злата.

Но что семнадцатилетний подросток мог предложить своей подружке? Ни денег, ни образования, ни даже места для встреч у него не было. Жил, сбежав от отца из порта Дальний, на содержании у матери. И вдруг такая пылкая искренняя любовь, что делать?

*Я к ней спешу, и золотою Златой  
Вдруг делается юная весна,  
Идущая в сиреневой накидке,  
В широкой шляпе бледно-голубой...  
Я беден был, и чем я был беднее,  
Тем больше мне хотелось жить...*

Как пишет Михаил Петров в своей книге «Дон-Жуанский список Игоря-Северянина»: «По количеству посвященных ей стихотворений и поэм Злата может сравниться только с двумя женщинами: Марией Васильевной Волнянской и Фелиссой Михайловной Круут. Ей посвящено не менее 30 стихотворений, написанных в разные годы...»

Евгения Гуцан жила и работала в Петербурге швеей, в Гатчину приезжала по выходным, навещала больного спившегося отца.

О зарождении их романа и его затянувшемся финале Михаил Петров более подробно рассказывает в упомянутой выше книге «Дон-Жуанский список...»:

«Зимним воскресеньем после лыжной прогулки Игорь вновь посетил Тимофея в Гатчине. Ему повезло: он застал Злату, она играла с младшей сестрой. Встретили его приветливо. После чая молодые люди вышли в парк, черно-белый и пустынный. Они долго гуляли и говорили, говорили... Злата поведала ему о своей безрадостной жизни. По ее словам, отец, человек нечестный и пропойца, ускорил своим безобразным поведением кончину матери. Ненавидя вечно пьяного отца, она сняла комнату в Петербурге, где поступила на работу. Если бы не младшие сестры, которых она нежно любит, она никогда не вернулась бы в дом, где царит враг ее матери и ее враг — вино. И, повернув к нему зарумянившееся лицо, глядя в глаза, она спросила: как может он, человек благородный, водить дружбу с ее отцом, пить с ним? Ему нужно опасаться дурных влияний... Ее откровенность, ее забота о нем тронули Игоря... Первая любовь поэта зародилась под золотистым фонарным светом в оснеженных аллеях Гатчины.

Он жил тогда на деньги дяди "до лучших времен". Сама мысль о службе казалась ему кощунственной. Поэзия и канцелярия — несовместимы, в этом он был убежден. И Наталья Степановна потакала сыну, не в силах отказать ему ни в чем. Возникал, правда, в семейных разговорах вариант: сдать Игорю экзамены экстерном и поступить в университет. Но и он откладывался с года на год. Сестра Зоя, поклонница искусств, поддерживала в нем страсть к версификации, читала его стихи, разбирала их. Через сестру Игорь увлекся стихами Лохвицкой и Константина Фофанова. Интересно отметить, что в эпоху символизма, когда звучали имена Бальмонта, Брюсова, Сологуба — Игорь Лотарев оставался на позициях романтических. Лермонтов и Алексей Константинович Толстой говорили его сердцу больше, чем декадентские откровения мэтров символизма.

Он собрал библиотеку томов в пятьсот. Русские классики, Пушкин, Тургенев, Гончаров, соседствовали на полках с Ф. Марриэтом, Ж. Верном, Г. Эмаром, Л. Буссенаром, М. Ридом, Ф. Купером. Появлялись своевременно новинки: Г. Ибсен, Б. Шоу, О. Уайльд. Увлеченность подростка тропическими лесами, амазонками и благородными краснокожими сменилась углубленным чтением отечественной прозы, образы русских женщин волновали воображение. Ибсен и Шоу учили понимать драматизм жизни, Уайльд пленял парадоксами и вызывал желание подражать.

Открылся сезон в Большом зале консерватории. Любя музыку не меньше, чем поэзию, Игорь Лотарев, не раскрывая программы, узнавал исполнителей по голосам. Одного Собинова, по его признанию, он слышал не менее сорока раз. Еще пела Кавальери, дала прощальный концерт Мравина. Целое созвездье голосов всходило на русской сцене: Т. Руффо, Л. Берленди, О. Баронет, Л. Липковская, Е. Монска, Баттистини, Ансельми, Фигнер... И не раз слышимая музыка Верди в "Травиате" была упоительно прекрасна, потому что рядом с ним сидела Злата.

Их роман развивался стремительно. Они встречались ежевечерне, когда Злата кончала работу, и, кроме того, они обменивались письмами. Чтобы не расставаться с любимой, он продал библиотеку и снял для них комнату на Офицерской улице».

Позже он вспоминал об этих неделях: «Такое счастье, истинное счастье, которое спустя шестнадцать весен и разлюбя с тех пор полсотни женщин, испытываю всей своей душой!..»

Но что делать дальше? Мать Игоря была категорически против их отношений, настраивала сына против Златы. Злату же уговорила

признаться Игорю в своей мнимой измене, очевидно, что-то посулив ей взамен. Не знаю, так ли было на самом деле, не верю ни признаниям самого Игоря, который во всех автобиографиях любит фантазировать, выстраивая свою поэтическую версию, ни рассказам краеведов.

Михаил Петров продолжает: «Однако денег хватило лишь на три недели. Ситуация складывалась тупиковая. Злата сама из гордости не навязывала своего знакомства родным Игорю. Уйти из дома и жениться — казалось ему дико и смешно. Его час еще не пробил, надо писать, совершенствовать свой дар. Вот если б достать денег, но — как? Он измучил себя и Злату фантастическими планами, и она посоветовала ему уехать отдохнуть на Пасху в Сойволу.

На Новгородчине лежал снег. Хвойные леса, Суда подо льдом, дом на высоком берегу — все было тем же, что и прежде. Но ни лыжные прогулки, ни поездки в санях с кузенами в Заозерье не могли отвлечь его от мыслей о Злате. Едва дождавшись окончания праздника, он вернулся в Петербург.

Уподобив себя пилигриму, идущему к святым местам, он отправился с утра по шпалам в Гатчину. Шел весь день. Его появление для Златы было полной неожиданностью, "подвиг", о котором он ей сообщил, вызвал у нее слезы и смех, она принялась его кормить... "Неужели мы расстанемся когда-нибудь?" — спросила она. "Пока я жив, Злата, всегда буду с тобой", — ответил он.

По бесхарактерности, по молодости Игорь Лотарев не сдержал слова. На пути его встретилась искушенная соблазнительница, он не устоял и потерял Злату. Слезы и покаянное самоуничижение не могли исправить случившегося. А когда он смирился с утратой, то почувствовал, что лишился половины души.

Бурный роман с Евгенией закончился летом 1906 года. Однажды в августе под железнодорожным мостом через Ижору поэт познакомился с обольстительной певичкой Диной. Игорь Лотарев помог Дине освободить застрявшую в камнях лодку. Дина соблазнила неопытного юношу. Отношения со Златой были испорчены безнадежно, но много лет поэт искал и находил милые черты Златы во множестве других женщин. Он посвящал этим женщинам стихи, которые в сущности своей обращены только к Злате:

*Пейзаж ее лица, исполненный так живо  
Вибрацией весны влюбленных душ и тел,  
Я для грядущего запечатлеть хотел...»*

К тому же в результате их пылкой любви Злата забеременела, а Игорь был явно не готов к содержанию семьи. Он на удивление легко расстался с любимой и, чтобы как-то забыться, бросился в новые любовные романы. Злата, родив от Игоря дочь Тамару, ушла жить к состоятельному господину, принявшему и женщину, и ребенка. Тем более что вскоре Злата родила и ему девочку.

Спустя уже пять лет, в 1910-м, Игорь пишет предельно грустное прощальное стихотворение:

*Ты ко мне не вернешься даже ради Тамары,  
Ради нашей дочурки, крошки вроде крола:  
У тебя теперь дачи, за обедом — омары,  
Ты теперь под защитой вороного крыла...  
Ты ко мне не вернешься: на тебе теперь  
бархат,  
Он скрывает бескрылье утомленных плечей...  
Ты ко мне не вернешься: предсказатель на  
картах  
Погасил за целковый вспышки поздних лучей!..*

(«Ты ко мне не вернешься...»)

Конечно, поэт лукавит, он сам оставил беременную девочку, отдав ее богатею. У поэта, по его мнению, не должно быть никаких забот.

Тогда же, в 1910 году, было написано стихотворение «Спустя пять лет». Видно, что Игорь Васильевич жалеет о несостоявшейся семье:

*Тебе, Евгения, мне счастье давшая,  
Несу горячее свое раскаянье...  
Прими, любившая, прими, страдавшая,  
Пойми тоску мою, пойми отчаянье.  
Вся жизнь изломана, вся жизнь истерзана.  
В ошибке юности — проклятье вечное...  
Мечта иссушена, крыло подрезано,  
Я не сберег тебя, — и жизнь — увечная...*

Увы, он и в самом деле не сберег свое счастье. Также, как и

впоследствии в Эстонии, когда ушел от своей верной и всепрощающей жены Фелиссы.

Скажу честно, у Златы была счастливая судьба при всех ее приключениях и переездах, и более того, до конца жизни своей она продолжала любить Игоря.

Ее богатый покровитель вскоре умер, оставив Злату с двумя детьми, а Игорь уже вовсю крутил романы с новыми дамами, стараясь не вспоминать ни про Злату, ни про свою дочку Тамару, которую увидел впервые, когда ей уже было 16 лет... Злата нашла себе немца, вышла замуж, и после начала Первой мировой войны они переехали в Берлин. Девочек Злата оставила у своих питерских родственников и забрала их лишь в 1920 году. В Берлине Злата открыла свою швейную мастерскую, которая пользовалась большим успехом, стала процветающей дамой. Привезя в Берлин дочек, и им нашла дело. Северянинскую дочку Тамару отдала в танцевальную школу, Тамара стала прекрасной балериной. Отца они считали погибшим в годы Гражданской войны. К сожалению, должен признать, не только по отношению к дочке Тамаре, но и ко всем своим детям (а у него были две дочки и двое сыновей, и все от разных женщин) Игорь-Северянин был почти равнодушен и почти не помогал им. Увы, это не редкий случай для поэтических натур. Но Злата уже в Берлине в русской газете прочитала стихи своего возлюбленного, написала в редакцию газеты письмо для него. Что удивительно, в бурные революционные годы письмо дошло до самого Северянина. Вскоре Игорь-Северянин отозвался на письмо целой поэмой «Падучая стремнина», посвященной первой любви.

*Спустя семь лет, в Эстонии, в июле,  
Пришло письмо от Златы из Берлина...  
О, Женечка! Твое письмо — поэма.  
Я положил его, почти дословно,  
На музыку, на музыку стихов...*

Они начали переписываться, что очень не понравилось молодой эстонской жене Северянина Фелиссе Михайловне Круут... Игорь успокаивал жену тем, что это же пожилая замужняя дама, которая еще им может пригодиться в Германии. Но когда они все вместе встретились в Берлине и Фелисса увидела очаровательную, моложавую, нарядно одетую женщину, а потом и их дочку, юную балерину, она запретила мужу общаться с ними. Насколько известно, Игорь выполнил обещание и в

другие поездки в Берлин с Женечкой не встречался.

Хотя во время их пребывания в Германии Злата и на самом деле как могла помогала Игорю в публикации его стихов.

Позже Игорь-Северянин написал в своих «Заметках о Маяковском»: «В Берлин мы приехали с Фелиссой Михайловной "пытать счастья", ибо в Тойле есть стало нечего и больше не было кредита. Приехали мы, предварительно списавшись со Златой, вновь возникшей в моей жизни спустя 16 лет (с 1906 г.). Она прочла в газете "Голос России" мою "Поэзу отчаянья", написала на редакцию (в Берлине), а та переслала мне письмо в Тойлу. Произошло это за год до нашего путешествия, т. е. осенью 1921 г., когда я только что расстался с Марией Васильевной, с которой прожил 6,5 лет, и сошелся (в августе) с Ф<елиссой> М<ихайловной>. На меня письмо Златы произвело большое впечатление, возобновилась переписка, я написал (еще до встречи) "Падучую стремнину". О. Кирхнер успел ее издать. Приехали мы в Германию нищими: я — в рабочей, заплатанной куртке, Ф. М. в пальто из одеяла. Злата нас устроила у знакомой дрессировщицы собак, бывшей цирковой наездницы, на Gipsstr. Через неделю-другую я продал книги в издательство "Накануне" и уже имел большие миллионы. (В то время арфа стоила один миллион.)

*Мы шатались по берлинским кабакам,  
Удивлялись исполинским дуракам,  
Пьющим водку из ушата и ведра,  
Рвущим глотку, что хоть сжата, да бодра.  
Эмиграцию б гулящую намять:  
Племя "грации", сулящее нам "ять",  
Да квартального, да войны, да острог.  
От нахального и гнойного в свой срок  
Мы избавились и больше не хотим,  
Сами справились и в "Польшу" не катим...*

<...> ...Вскоре Ф.М. поссорилась со Златой и отстранила ее от участия в совместных наших вечеринках. Между тем Злата, член немецкой компартии, была за мое возвращение домой. Ее присутствие меня бодрило, радовало. Она нравилась нашему кружку как компанейский, содержательный, умный человек. Ум Ф.М. сводился на нет благодаря ее узости и непревзойденному упрямству...»

Вновь они увиделись лишь в 1939 году, уже в Эстонии. Как пишет

Михаил Петров в книге «Дон-Жуанский список Игоря-Северянина»: «Этой встречи поэт совсем не хотел. Боялся увидеть усохшую старушку. Но его опасения не сбылись: и в 52 года Евгения была красива и элегантна. Судьба вообще ее, что называется, хранила. Во времена нацистов Злату арестовали за то, что укрывала в своей мастерской евреев, но потом выпустили.

Умерла Евгения Гуцан-Меннеке в 1952 году, в Лиссабоне, легко, на руках обожавших ее дочерей...»

## Донжуанский список поэта

Долго думал, как начинать эту главу. В Таллине уже вышли два издания великолепной книги Михаила Петрова «Дон-Жуанский список Игоря-Северянина. История о любви и смерти поэта»: одно в 2002 году, другое, исправленное и дополненное, в 2009-м. Может быть, позвонить Михаилу и попросить разрешения перепечатать в сокращенном виде одной главой? Или же, начав со Златы, по ходу повествования добавлять отдельные главки о любимых женщинах поэта?

Я никогда не боюсь соперников и конкурентов. Сведения о своих героях мы все в том или ином виде заимствуем у первопроходцев, почему бы и не сослаться на них? В случае с Лермонтовым — на Павла Висковатого и Павла Щеголева, в случае с Бродским — на Льва Лосева и Якова Гордина, в случае с Северянином — на того же Михаила Петрова. Но почему-то многие лермонтоведы предпочитают поругивать Висковатого, а бродсковеды — обходить Лосева. Вот и в последних книгах о Северянине почти не нахожу никаких ссылок на Петрова.

После выхода первого издания книги Михаила Петрова в нарвской газете «Северное Побережье» появилась рецензия Ирины Токаревой:

«Петрову понадобилось 10 лет, чтобы ответить на вопросы, которыми когда-то одолевали Северянина поклонницы: "Действительно ли существовала мадемуазель Лиль? Как настоящее имя Мадлэны?" и т. д. В своей книге он подробно рассказывает о реальных женщинах, воспетых поэтом под разными экзотическими именами.

Петрову удалось дать реальное имя (Анна Воробьева) даже Королеве — той самой, которая играла в башне замка Шопена и просила перерезать гранат. "Женщины, вдохновлявшие поэта, заслуживают того, чтобы мы знали их реальные имена", — считает автор.

Автор признался, что поначалу им двигало не слишком похвальное желание написать серию веселых рассказов об альковных приключениях, которыми, казалось, изобиловала жизнь Северянина. Однако собранный им документальный материал словно сопротивлялся такому подходу. "Я начинал писать одну книгу — а получилась совсем другая. Поэтому пришлось дать еще и второе название — 'Истории о любви и смерти поэта'", — рассказал на презентации Михаил Петров».

При всех ссылках на сведения «Дон-Жуанского списка...» я выстраиваю иной образ, свою личную концепцию жизни и творчества

поэта. А Михаила Петрова искренне благодарю за весь тот щедрый свод сведений, дат и фактов, которые он со следовательской дотошностью собирал в свои папки.

Я не стал разбрасывать любовные истории по всему тексту книги, как это сделали, к примеру, литературоведы Вера Терехина и Наталья Шубникова-Гусева в своей научной биографии Игоря-Северянина, чтобы уйти от явной зависимости от Михаила Петрова. Решил перемежать цитаты из его «Дон-Жуанского списка...» со своими характеристиками.

Да, к самому донжуанскому списку я отношусь с неким подозрением. Судя по воспоминаниям поэта, часто это были не в прямом смысле любовные романы, а взаимные влечения, легкий флирт. Как известно, девушки, молодые дамы были без ума от стихов Северянина, сам же поэт воодушевлялся их юностью, красотой. Поклонницы ему были нужны, как и всякому поэту, для творческого вдохновения. Он и сам признавался в стихах:

*Соловьи монастырского сада,  
Как и все на земле соловьи,  
Говорят, что одна есть отрада  
И что эта отрада — в любви.*

(«Все они говорят об одном...», 1927)

Всю жизнь он искал эту отраду. Однако, на мой взгляд, реальных женщин, с кем у него сложились продолжительные романы, было всего шесть, из них лишь одна законная жена — преданная ему эстонка Фелисса Круут.

*Все мои принцессы — любящие жены,  
Я, их повелитель, любящий их муж.  
Знойным поцелуем груди их прожжены,  
И в каскады слиты ручейки их душ.*

(«Тринадцатая», 1910)

После его первой настоящей любви со Златой, на которой он не решился жениться, несмотря на общую дочь, поэт стал относиться к

женщинам восторженно-легкомысленно, резко разрывая с ними, если отношения начинали тяготить, особенно после того, как они рожали детей. Так было и с Еленой Яковлевной Семеновой, родившей ему дочку Валерию, которую он увидел тоже шестнадцатилетней, так было и с сестрой Златы Елизаветой, родившей ему в 1918 году сына, умершего в том же году вместе с матерью от голода в холодном Петрограде. Впрочем, он и к законному сыну Вакху относился несерьезно. Вероятно потому тот позже, уже живя в Швеции, под старость запретил печатать любые бумаги из архива поэта. А жаль. Поэт сам был до смерти большим ребенком.

Его вдохновляли не столько сами возлюбленные, сколько тема любви, даже несчастной любви. «Любовь! Ты — жизнь, как жизнь — любовь» — в этом Северянин ощущал смысл своего существования.

Еще один почитатель Северянина, постоянный оппонент Михаила Петрова, Лазарь Городницкий, пишет об одной из героинь любовных стихов поэта:

«Прошло более ста лет. В северяниноведении предпринимались одиночные и безуспешные попытки соотнести имена Зая Ч. и синьора За с конкретными лицами. Но отсутствие достаточных сведений похоронило эти попытки.

Похоже, уже была даже потеряна надежда раскрыть эти загадочные личности. Но...

Несколько лет тому назад скончалась Ирина Георгиевна Грицкат-Радулович (1922, Белград — 2009, Белград) — лингвист, академик Сербской академии наук».

Ирина Георгиевна вспоминала:

«Мать рассказывала, что Северянин одно время чуть ухаживал за нею. Ей было посвящено стихотворение под заглавием "Синьоре За", и долгое время у нее хранилась открытка поэта со следующим примерно содержанием: "Светозарная синьора За! Моя любовь не зависит от вашего ответа — сказал Метерлинк в своей Монне Ване, автор же сей открытки Игорь Северянин". Мать вспоминала еще кой-какие рифмы, боюсь, что к ней они уж никак не относились: "Подумайте, что-то вроде того, что мол откните пробки и к знойной страсти завьются тропки". Игорь Северянин, говорила она, приезжал в Сербию, читал свои переводы югославских поэтов на русский язык, свой цикл "Медальоны"; пища от возбуждения и жажды происшествия, русские дамы спрашивали его, не хотелось ли бы ему повидаться с одной своей бывшей любовью!

Ни он, ни синьора За не выразили никаких желаний».

По мнению Городницкого, «синьора За — это Зинаида Григорьевна

Черникова, по мужу Грицкат (1889, Керчь — 1963, Белград), 20-летняя молодая девушка, студентка Петербургской консерватории.

Выскажем предположение, что посвящение "Зае Ч." также расшифровывается как "Зинаиде Черниковой".

Почему Северянин так зашифровал имя Черниковой, остается тайной: возможно сочетание первой и последней букв имени Зинаида. Ведь Северянин был весьма изобретателен в создании поэтических имен женщин, которыми увлекался. Возможно, к этим же средствам шифровки относится и слово "синьора" вместо слова "синьорита": ведь Черникова в 1909 году была молодой, незамужней женщиной. Но это только предположение.

Персонажи посвящений являются важной частью личной жизни поэта, так или иначе воздействующие на перемены его душевного состояния, а также стимулирующие генерацию в нем определенных образов. Они неотрывны от соответствующих стихотворений...».

А вот как описывает тот же Лазарь Городницкий любовные истории поэта с Ольгой Судейкиной-Глебовой и Лидией Рындиной еще в 1913 году:

«1913 год — вершина литературного успеха Северянина. В конце 1912 года он познакомился у Федора Сологуба с актрисой Лидией Рындиной (1883—1964), приехавшей из Москвы в Петербург. Сравнительно скоротечный роман этих молодых людей зафиксирован в творчестве поэта тремя стихотворениями с посвящениями Рындиной. Ей же посвящен второй стихотворный сборник поэта "Златолира". Сохранился "Дневник" Рындиной, где в тексте, обозначенном числом "23 февраля — среда", есть такие слова: "...и его звучный голос чарует меня, а его талант влечет, и я дарю ему себя на короткий срок..." Среди указанных трех стихотворений одно, "Качалка грезерки", было написано до знакомства с Рындиной, адресовано другой женщине, и она, в отличие от прагматичной Рындиной, по мнению поэта, действительно была мечтательницей. "Дневник" Рындиной был опубликован лишь в 2004 году, а в 1961 году она сама опубликовала свои скупые воспоминания о поэте, в которых их взаимоотношения обозначены обтекаемо, как "очень дружеские"...

Мы вернемся в первую половину 1913 г. Только что вернувшийся в Петербург из поэтического турне по городам России Игорь Северянин написал стихотворение:

Поэза предвесенних трепетов (О. С.)

*Весенним ветром веют лица  
И тают, проблагоухав.*

*Телам легко и сладко слиться  
Для весенеющих забав.*

*Я снова чувствую томленье  
И нежность, нежность без конца...  
Твои уста, твои колени  
И вздох мимозного лица, —*

*Лица, которого бесчертны  
Неуловимые черты:  
Снегурка с темпом сердца серны,  
Газель оснеженная — ты.*

*Смотреть в глаза твои русалочки  
И в них забвенно утопать;  
Изнежные цветы фиалочки  
Под ними четко намечать.*

*И видеть уходящий поезд  
И путь без станций, без платформ,  
Читать без окончания повесть, —  
Душа Поэзии — вне форм.*

Стихотворение, адресованное зашифрованной инициалами "О. С." (Ольга Судейкина) героине звучало грубым диссонансом ползущим по Петербургу слухам о самоубийстве поэта Всеволода Князева, совершенного на почве неудачной любви к Ольге Судейкиной. Вместо траурной ленты, затворнического пребывания в воспоминаниях, сожалений о своей печальной судьбе вот эта откровенная интимность текста; слова, звучащие как признание в любви; восхищенный панегирик ее красоте; свидетельствующее о близости обращение на "ты" — все говорило о том, что бытовавшая в массе молва о любви Судейкиной и Князева была делом давно прошедших дней и жила только за счет инертности слухов. Дорогу пробивало себе новое любовное увлечение».

Городницкий пишет, что известно еще одно стихотворение Игоря Северянина, похожее по интимности, по обращению, по теме.

Рондо (Л. Рындиной)

*Читать тебе себя в лимонном будуаре,  
Как яхту грез, его приняв и любя...  
Взамен неверных слов, взамен шаблонных  
арий,  
Читать тебе себя.*

*Прочувствовать тебя в лиловом пеньюаре,  
Дробя грядущее и прошлое, дробя  
Второстепенное, и сильным быть в ударе.*

*Увериться, что мир сосредоточен в паре:  
Лишь в нас с тобой, лишь в нас! И только для  
тебя,  
И только о тебе, венчая взор твой царий,  
Читать тебе себя.*

*(февраль 1914 г.)*

Городницкий продолжает: «Это стихотворение... <...> обращенное открытым текстом к Лидии Рындиной, рассказывало о событиях конца 1912 г. — начала 1913 г., когда вулканический любовный роман между поэтом и актрисой достиг своего апогея. Его прозаическое выражение составляет суть дневниковой записи Лидии Рындиной от 13 февраля 1913 г.: "И главное в моей жизни этот год... <...> — это Игорь, да, Игорь Северянин, что говорит, что полюбил меня, что дарит мне свои стихи, что пишет их о мне, что проводит со мной долгие ночи. Я прихожу из театра в 11 часов после 'Орленка', одеваю свой белый чепчики сижу, и говорим, говорим, и целуемся. <...> И его некрасивое лицо в тени у печи, и его звучный голос чарует меня, а его талант влечет, и я дарю ему себя на краткий срок..."».

По мнению исследователя, незашифрованное посвящение объясняется тем, что Рындина не скрывала от мужа увлечения Игорем-Северянином.

Городницкий пишет: «В общем все было как рассказывала впоследствии в Лондоне Ларисе Васильевой еще одна знаковая фигура Серебряного века Саломея Андроникова: "Тогда мы были очень романтичны, честны и испытывали необходимость сообщать своим любимым правду сию же минуту"».

Видимо, иначе это было у Ольги Судейкиной, у которой к этому

времени усложнились отношения с мужем. Мы предполагаем, что это к ней относится отрывок из очерка Северянина "Салон Сологуба" (1927), зафиксировавший начало их интимных отношений:

"В один из званых вечеров я уединился в турецкой комнате с артисткой N. Мы долго с ней оживленно разговаривали и договорились в конце концов до бессловесных поцелуев. В разгаре их распахнулась дверь, и муж артистки, человек с большим в искусстве именем, предстал перед нами. Я приподнялся ему навстречу. Взволнованная актриса незаметно потянула меня сзади за фалды сюртука. 'Александра (допустим, что ее так звали), пора домой', — произнес он в дверях, мастерски владея собой, и, не дожидаясь жены, быстро вышел из комнаты. Я, мужа, конечно не задерживая, пробовал удержать его жену. 'Из этого может получиться слишком громыхательная история, — испуганно прошептала она, сиюсья пошутить и торопливо целуя меня на прощание. — Не провожайте меня, заклинаю Вас'. Но все же, пока они одевались, я вместе с хозяевами стоял в дверях передней".

Их знакомство состоялось в доме Федора Сологуба на так называемых салонных встречах в начале 1913 г. Частыми посетителями этих встреч среди многих были Сергей Судейкин, приобретший большое имя в живописи и дизайне, Ольга Глебова-Судейкина, его жена, читавшая на вечерах стихи Сологуба, Игорь Северянин, которому покровительствовали хозяева дома. Там начался их роман, прерванный отъездом Судейкиной во Флоренцию. Нам кажется, что среди провожавших был Северянин, с грустью прошептавший, увидя торец последнего вагона поезда:

*И видеть уходящий поезд  
И путь без станций, без платформ,  
Читать без окончания повесть, —  
Душа Поэзии — вне форм.*

Видимо, Судейкина и познакомила Северянина со своим ближайшим другом художником Савелием Сориным и поэт в одном из разделов своей поэмы "Рояль Леандра" обозначил это так:

"Уже меня рисует Сорин..."

Впоследствии в очерке "Сологуб в Эстляндии" (1927) Северянин попытается замаскировать свои отношения с Судейкиной:

"Анастасия Николаевна (Чеботаревская) проектирует пикник.

— Жаль, что нет маленькой, — говорит она об Ольге Афан<асьевне>

Судейкиной, которую очень любит.

Впрочем, ее любит и Сологуб, и я. Мне кажется, ее любят все, кто ее знает: это совершенно исключительная по духовной и наружной интересности женщина".

В начале 1931 г. Северянин с женой оказались в Париже. Видимо, воспоминания о романе с Судейкиной продолжали в нем жить и он решил навестить ее, к тому времени одинокую, удалившуюся от людей. Сраженный увиденным, он по свежим следам, там же в Париже, написал стихотворение:

Голосистая могилка (О. А. С.)

*В маленькой комнатке она живет.  
Это продолжается который год.  
Так что привыкла почти уже  
К своей могилке в восьмом этаже.*

*В миллионном городе совсем одна:  
Душа хоть чья-нибудь так нужна!  
Ну, вот, завела много певчих птиц, —  
Былых ослепительней небылиц, —*

*Серых, желтых и синих всех  
Из далеких стран, из чудесных тех,  
Тех людей не бросает судьба в дома,  
В которых сойти нипочем с ума...*

*Париж, 12 февраля 1931 г.*

Он оставил ее в певчем склепе подавленный, жалеющий, потрясенный. Она окончательно ушла из его жизни: из жизни Духа и из жизни Жизни. Кажется, что удалось прокомментировать несколько стихотворений Северянина и внести дополнительную деталь в портрет Ольги Глебовой-Судейкиной...»

На сайте Михаила Петрова выставлены самые дорогие для поэта Игоря-Северянина женщины:

Елена Ивановна Новикова. Мадлэна. После революции эмигрировала в Югославию, жила в городе Апатии. Гром, кубок: В березовом котэдже. Янтарная элегия. Это все для ребенка. В грехе — забвеньё. Berceuse

осенний. В очарованьи. Посвящение. Примитивный романс. Лесофея. Златолира: Элегия. Интима. Песенка-весенка. Victoria Regia: Весенние рондели. Поэза истребления. Романс III. Кладбищенские поэзы. Тост безответный: Поэза для Мадлэны. Вербэна: Лунные блики. Падучая стремнина.

Лидия Дмитриевна Рындина. Актриса, писательница, жена издателя С. Кречетова, затем вторая жена Б. Лившица. Громокипящий кубок: Качалка грезерки. 1911. Златолира. Поэзы. Книга вторая. Москва, «Гриф», 1914. Ананасы в шампанском: Рондо. 1914.

Анна Воробьева. Королева, Северянка, А.В. После революции жила в Финляндии в городе Керава. Громокипящий кубок: Полярные пылы. 1909. Сонет (Мы познакомились с ней в опере...) 1909. Ах, автор... 1909. Призрак. 1909. Это было у моря. 1910. Марионетка проказ. 1910. Сонаты в шторм. 1911. Настройка лиры: Королевочке. 1910. Тост безответный: «Поклонница». 1915. Плимутрок: Невесомая. 1924. Классические розы: И было странно ее письмо. 1929. В пространство. 1929.

Мария Васильевна Волнянская (Домбровская). Балькис Савская, Королева Миррэльская, Ингрид Стэрлинг, Муза музык, Муринька. Певица, гражданская жена Игоря-Северянина с 1915 по 1920 год. Волнянской практически полностью посвящен сборник «Тост безответный» и большое количество стихов в сборнике «Миррэлия».

Евдокия Штранделл. Хозяйка лавки в Тойла. Представляете ли себе меня способным пламенеть к одной пять лет?.. Женщина, правда, очаровательная — петербурженка, красивая, 27 лет, замкнутая, холодная, чувственная, осторожная, лживая и изменчивая. Но глаза, конечно, Мадонны... Ревнует, терзает, — насыщая, не дает пресытиться. Даже насытиться с ней невозможно. С ней и ею. Чем дольше длится эта необыкновенная связь, тем больше теряю голову...

Ирина Константиновна Борман. Поэтесса Ир-Бор. Жила в Шмецке. Классические розы: Стихи сгоряча. Очаровательные разочарования: Бей, сердце, бей... Ты вышла в сад... Маленькая женщина. О, если б ты... Стареющий поэт.

Нина Константиновна Борман. Предположительно в сборнике Очаровательные разочарования: Я грущу. Когда озеро спать легло. Рыбка из пруда.

Виктория Шей де Ванд. Певичка из кабаре в Кишиневе. Очаровательные разочарования цикл стихотворений «Виорель»: Прохладная весна. 1933. Грусть радости. 1933. Высокий лад. 1933. Мне любо. 1933. Все ясно заране. 1933. Мы были вместе... 1933. Что ни верста...

1933. Имя твое... 1933. Ваши глаза. 1934. Стихотворение через год. 1934. Упоминается в рассказе «Румынская генеральша».

Валентина Васильевна Берникова. Поэтесса из Сараево, Югославия. Адриатика: Дрина. 1931. Цикл стихов «Цикламены». Очаровательные разочарования: Цикламены. 1933. Яблоньские рощи. 1933. Прогулка. 1933. Туалет. 1933. Портрет. 1933. Искренний романс. 1933. Фея света. 1933. Уехала. 1933. Теперь... 1933. Места. 1933. По рыцарской тропинке. 1933. Диво. 1933. Могло быть так... 1933. Ты отдалась. 1933. В те дни. 1933. Царица замка. 1933, упом. Хрупкие цветы: Вместо предисловия. 1933.

В итоговом донжуанском списке женщин, составленном Михаилом Петровым, значатся 26 женщин, не считая его законной жены Фелиссы Круут и последней многолетней сожительницы Веры Коренди.

Привожу и взятый у Михаила Петрова список самых близких Северянину женщин и общих детей:

Гуцан Евгения Тимофеевна, «Злата», во втором замужестве Меннеке (1887—1951).

Гуцан Тамара Игоревна, дочь Северянина, в замужестве Шмук (род. 1908—?).

Семенова Елена Яковлевна (даты рождения и смерти неизвестны).

Семенова Валерия Игоревна, дочь Северянина (21.06.1913—1976).

Гуцан Елисавета Тимофеевна, «Лиза», «мисс Лиль» (?—1918). Сын предположительно умер от голода в Петрограде зимой 1918 года.

Волнянская (Домбровская) Мария Васильевна, «Тринадцатая», «Музамузык» (1895—1939).

Лотарева Фелисса Михайловна, урожденная Круут, церковный брак (4.01.1902—03.12.1957).

Лотарев Вах Игоревич (01.08.1922—22.05.1991), с 1944 года — жил и умер в Швеции, дети живут в Швеции.

Коренева (Коренди) Вера Борисовна, урожденная Запольская (29.10.1903—12.11.1990).

Коренева (Коренди) Валерия Порфирьевна (6.02.1932—03.06.1982), лжедочь поэта — с 1947 года Северянина Валерия Игоревна.

Миров Игорь Олегович, лжевнук Игорь Северянин-младший.

Удивительно, что до сих пор так и неизвестны ни даты рождения и смерти Елены Семеновы (Золотаревой?), родившей Северянину дочь Валерию, ни дата смерти первой дочери поэта Тамары (примерно в семидесятых годах прошлого века), а ведь именно Тамара уже в годы оттепели привезла в Москву и сдала хранившийся у нее архив ее матери в ЦГАЛИ. Так и не налажена связь со шведскими потомками поэта — детьми

и внуками его единственного законного сына Вакха. Я бы не отнес такое невнимание к советским запретам. Его издавали и упоминали во всех книгах о поэзии Серебряного века. Никак не сравнить с запретом того же Николая Гумилева.

В Эстонию Игорь-Северянин приехал в 1918 году вместе со своей матерью и давней подругой Марией Васильевной Волнянской (Домбровской), его нежно и страстно любившей. С ними приехала и его бывшая возлюбленная Семенова с их общей дочкой Валерией. У поэта то и дело возникали такие тройственные (а то и более) семейные союзы, и женщины даже как-то ладили между собой. Мария Волнянская в тот период была его музой, присутствуя почти в каждом стихе:

*Не улетай, прими истому,  
вступи со мной в земную связь...  
Бегут по морю голубому  
барашки белые, резвясь...*

(«Не улетай!»)

Это — одно из посвящений ей.

По нумерации Северянина Мария была его тринадцатой возлюбленной. Ей он посвятил пятое издание «Громокипящего кубка». «Эта книга, как и все мое Творчество, посвящается мною Марии Волнянской, моей тринадцатой и... последней», — было написано в предисловии к книге. Но в деревенской эстонской глуши жизнь у них не заладилась, и «Муза музык» вернулась в Петроград одна, до конца жизни вспоминая годы, проведенные вместе.

После смерти матери Игорь Васильевич в Тарту обвенчался с эстонкой Фелиссой Круут, образованной дочерью плотника, у которого он снимал дачу в Тойла.

В прямой и очень серьезной эсточке-«королевочке» не было ни обаяния, ни ликующей свежести. Зато хватало практичного ума, твердости характера, а главное — врожденной верности, сочетавшейся с ревностью. Я согласен с теми исследователями, которые считают, что в шестнадцатилетнем браке Фелисса по сути сберегла русского поэта, будучи ему помощницей и в общении с коллегами — эстонскими литераторами (сама писала стихи, но их не печатала). К тому же Северянин, не склонный к изучению языков, так и не выучил эстонский — и в быту, и в переводах

эстонской поэзии опирался на свою «Фишку», как звал жену.

*Моя жена мудрей всех философий, —  
Завидная ей участь суждена,  
И облегчить мне муки на Голгофе  
Придет в тоске одна моя жена!*

(«Дороже всех»)

С будущей женой, тогда еще гимназисткой, Северянин познакомился в Тойла. Ее однокашник вспоминает: «...На вечере в помещении пожарной команды моя соученица по прогимназии Фелисса Круут, дочь тойлаского плотника, выступила с чтением стихотворения эстонского писателя Фридсберта Тугласа "Море", а затем она исполнила лирические отрывки из произведений Н.В. Гоголя на русском языке. Очарованный талантом юной чтицы, поэт Северянин, присутствовавший на вечере, подошел ее поздравить, а через некоторое время жители Тойлы стали часто встречать свою землячку в соседнем парке Ору в обществе известного стихотворца».

Возможно, Игорь-Северянин увидел в этой случайной встрече небесное знамение. Мать поэта, Наталья Степановна, единственная женщина, которая скрашивала его холостое житье-бытье (после того как подруга Северянина Мария Волнянская, еще недавно вроде бы влюбленная и нежная, не выдержав испытаний захолустьем, ушла от него), была совсем плоха, местный доктор сказал: безнадежна... И вот судьба, словно бы сжалившись, послала ему эту строгую девочку, чтобы она заменила 34-летнему поэту горькую утрату! Похоронив матушку, Северянин скоропалительно, и сорока дней не минуло, спасаясь от ужаса одиночества на чужбине, «осупружился».

Впрочем, была еще одна веская причина ускорить этот брак: невеста пошла под венец на втором месяце беременности. На вольные отношения в эстонской деревне смотрели неодобрительно. Да и эстонское гражданство сулило поэту относительную свободу перемещения по Европе. К тому же эстоночка искренне любила и поэта, и его стихи. Потому и не решался он до самого своего конца подать на развод, так и умер в 1941 году мужем Фелиссы Круут, хотя еще в 1935 году молодая и взбалмошная Вера Коренди сумела увести поэта из семьи. Перед смертью Северянин признавал свой разрыв с Фелиссой трагической ошибкой.

Фелисса Круут прожила 55 лет и скончалась в 1957 году. А вот их сын

со странным именем Вакх прожил дольше — 69 лет, умер в 1991-м в Швеции, куда уехал в 1944 году.

Со «Струйкой Токая» — Верой Коренди покоритель женских сердец проживал в гражданском браке до своей кончины от сердечного приступа в 1941 году. Она оказалась настоящей долгожительницей: скончалась в возрасте восьмидесяти семи лет в 1990 году.

В Таллине, где Вера Коренди обитала всю свою жизнь, ее не признавали женой поэта и даже не пригласили в 1987 году на торжества по случаю столетия со дня рождения Игоря-Северянина. Воспоминания этой подруги-вдовы написаны ею в основном уже в пожилые годы, и в них трудно отличить правду от вымысла. Вот они и пылятся неопубликованными в РГАЛИ.

## Письма Фелиссе

Привожу с некоторыми своими комментариями письма поэта его брошенной жене Фелиссе Круут.

Впервые эти письма опубликовал все тот же неутомимый Михаил Петров. Я просмотрел их внимательно и скопировал в Тартуском литературном музее. Увы, Игорь-Северянин и впрямь легко попадал под влияние женщин. Фелисса прощала ему всё: безденежье, легковесные мимолетные измены, принимала его поклонниц дома. Бывали долгие периоды, когда Игорь-Северянин не получал никаких гонораров, жили на деньги ее крепкой крестьянской семьи, гордящейся своим родством с дворянином и поэтом. Но когда на виду у всех настырная Вера Борисовна Коренди увела поэта, семья Фелиссы возмутилась. Тем более что до нее дошли слухи, будто у Веры Коренди от Северянина родилась дочь Валерия. Этого простить ни родственники Фелиссы, ни сама Фелисса не могли. Откуда им было знать, что это мнимое отцовство изовравшаяся Вера Борисовна придумала сама. Игорь-Северянин почти до самой смерти писал письма брошенной жене, просил у нее прощения, хотел вернуться; когда тяжело заболел, просил Веру Коренди отвезти его в Тойла и там похоронить. Но Вера не отпускала его, уехала с ним в еще более дальние деревни, чем Тойла, где преподавала в школе какое-то время, а затем совсем больного Северянина, несмотря на запреты лечащего врача Круглова, отвезла в Таллин, где он вскоре и скончался. Письма поэта в деревню Тойла Фелиссе — это его крик души.

*«8 марта 1935 года. Фелиссе.*

Это действительно возмутительно: ты веришь больше злым людям, чем мне, испытанному своему другу! Моя единственная ошибка, что я приехал не один. Больше ни в чем я не виноват. Фелиссушка, за что ты оскорбила меня сегодня? Почему не дала слова сказать?

Почему веришь лжи злых людей — повторяю? Мало ли мне, что говорили и говорят, как меня вы все ругаете! Однако ж я стою выше всего этого и даже не передаю ничего, чтобы не огорчать тебя! Я никому не верю, и ты не должна верить. Что ты хочешь, я то и исполню — скажи. Она <Вера> уедет сегодня, а я умоляю позволить объясниться с тобой, и то, что ты решишь, то и будет. А вчера я потому не пришел, что Виктор

<Черницкий> сказал только в 9.30 веч. И сказал так:

— С Вами хотят поговорить.

— Когда?

— Сегодня вечером или завтра утром.

Я же не знал, что спешно, было скользко и очень темно, и вот я пришел утром. А если бы я знал, что нужно вчера вечером, я пришел бы, конечно, вчера же, хотя бы ночью. И еще я думал, что ты спать ложишься и не хотелось мне тебя, дорогая, тревожить. Я очень тебя прошу, родная, позволить поговорить последний раз обо всем лично, и тогда я поступлю по твоему желанию. Я так глубоко страдаю. Я едва жив. Прости ты меня, Христа ради! Я зайду еще раз.

Твой Игорь, всегда тебя любящий.

*14 марта 1935 года.*

Дорогая ты моя Фелиссушка!

Я в отчаянии: трудно мне без тебя. Но ты ни одному моему слову больше не веришь, и поэтому как я могу что-либо говорить?! И в этом весь ужас, леденящий кровь, весь безысходный трагизм моего положения. Ты скажешь: двойственность. О, нет! Все, что угодно, только не это. Я определенно знаю, чего я хочу. Но как я выскажусь, если, повторю опять-таки, ты мне не веришь? Пойми тоску мою, пойми отчаяние — разреши вернуться, чтобы сказать только одно слово, но такое, что ты вдруг все поймешь сразу, все оправдаешь и всему поверишь: в страдании сверхмерном я это слово обрел. Я очень осторожен сейчас в выборе слов, зная твою щепетильность, твое целомудрие несравненное в этом вопросе. И потому мне трудно тебе, родная, писать. Но душа моя полна к тебе такой животворящей благодарности, такой нежной и ласковой любви, такого скорбного и божественного света, что уж это-то ты, чуткая и праведная, наверняка поймешь и не отвергнешь. Со мной происходит что-то страшное: во имя Бога, прими меня и выслушай. Мне стоило большого труда не вернуться вчера со станции, чтобы молить тебя, милосердная, ибо слово нужное мне подсказал сразу же предвесенний мудрый наш с тобою лес. Какой же может быть тут обман с моей стороны, какая хитрость? Нежно целую указующие и впредь, как указывали до сих пор, милые руки твои, Фелисса. Я не говорю, как видишь ни одного лишнего, непродуманного слова. Я благословляю тебя. Да хранит тебя Бог! Я хочу домой. Я не узнаю себя. Мне действительно, больно, больно! Пойми, не осуди, поверь.

— Фелиссочка!..

Любивший и любящий тебя —  
грешный и безгрешный одновременно — твой Игорь.

*20 марта 1935 года. Фелиссе.*

Встал с постели только для того, чтобы написать тебе, дорогая Фелисса, эти строки. У меня грипп. Сегодня уже 38. Я прошу у тебя разрешения, как я только поправлюсь, встретиться: необходимо мне это. Я привык считаться с твоими словами. Ты запретила. Теперь разреши ради Бога. <...>

Сейчас ложусь опять: знобит, плохо, принимаю много лекарств, болит мозг. Любящий тебя  
Игорь.

*1 августа 1935 года.*

Дорогая моя Фишенька, сегодня день рождения Вакха, и я поздравляю тебя. <...> Мне очень трудно было столько времени не писать тебе, как я собирался и обещал, но А.Э. (вероятно, А.Э. Шульц. — В.Б.) сказал мне еще в первый приезд, что ты не веришь ни одному моему слову и хохочешь над моими письмами. Это меня обидело. Но день и ночь я только и думаю о тебе. Недели через 2?— 3 кончается сезон и В<ера> Б<орисовна> уезжает на службу. Я остаюсь совершенно свободен, т. к. в Ревель ни за что не поеду с нею. <...> Я страдаю от одиночества духовного, от отсутствия поэзии и тонких людей. Неприятности бывают частые и крупные. Это лето вычеркнуто из моей жизни. Тяжело мне невыносимо. Я упорно сожалею о случившемся. И с каждым днем все больше. Больше месяца нет писем от нашей милой Л.Т. На днях я написал ей вновь — зову приехать и помочь мне найти покой и твое прощение. Иначе я погибну. Целую тебя нежно, дорогой и единственный друг мой. О тебе лучшие грезы и вечная ласка к тебе. Твой всегда любящий тебя Игорь.

*19 апреля 1936 года. Фелиссе.*

В этот раз ты поступила со мною бесчеловечно-жестoko и в высшей степени несправедливо: я приехал к тебе в страстную Господню пятницу добровольно и навсегда. Моя ли вина в том, что разнузданная и неуравновешенная женщина, нелепая и бестолковая, вызывала меня по телефону, слала телеграммы и письма, несмотря на мои запреты, на

знакомых? Моя ли вина в том, что она, наконец, сама приехала ко мне, и я случайно, пойдя на речку, встретил ее там? Я ни одним словом шесть дней не обмолвился ей и послал ей очень сдержанное и правдивое письмо. Только накануне ее приезда, и, следовательно, если бы она не приехала в четверг, она получила бы утром в пятницу мое письмо и после него уже, конечно, не поехала бы вовсе, ибо мое письмо не оставляло никаких сомнений в том, что ей нужно положиться на время до каникул, т. е. 25 мая, и тогда выяснится, смогу ли я жить с ней или вернусь. И конечно, к 25 мая я — клянусь тебе — написал бы ей, что не вернусь. Я, Фишенька, хотел сделать все мягко и добросердечно, и ты не поняла меня, ты обвинила меня в предумышленных каких-то и несуществующих преступлениях, очень поспешила прогнать меня с глаз долой, чем обрекла меня, безденежного, на унижения и мытарства и, растерянного, измученного, не успевшего успокоиться, передохнуть и прийти в себя, бросила вновь в кабалу к ней и поставила в материальную от нее зависимость. <...> Зачем ты, Фишенька, так поступила опрометчиво и зло?! Что ты сделала, друг мой настоящий, со мною? Ведь, вполне естественно, что я страдал, получая от нее известия о ее болезни: меня мучила совесть и жалость. Но постепенно я успокоился бы, и все прошло бы, и ее письма на меня перестали бы оказывать действие. А ты не дождалась, ты поспешила от меня отречься. <...> Спаси меня — говорю тебе тысячный раз! Ее приезд доказал мне, что ей верить ни в чем нельзя, что она даже в болезнях лжет. <...> Любящий тебя одну Игорь.

*23 апреля 1936 года. Фелиссе.*

Смертельно тоскую по тебе, по рыбе весенней, по дому нашему благостному. Не отвергай, Фелисса: все в твоих руках — и мое творчество, и мой покой, и моя безоблачная радость. Вера выдала мне обязательство впредь не писать писем, не посылать телеграмм, не звонить по телефону и не являться лично. Я так ее избранил и побил, что это уже наверняка. Каждый лишний день, прожитый вне дома, приносит мне пытку. Я еду в Uljaste за синим цветочком. Ждет ли он меня там, не пропал ли в дороге? Не сплю ночей, болит сердце. Святой Николай Чудотворец явил мне чудо, — я лично расскажу все. Твой бессмертно, и так искренне, Игорь».

Поведение Игоря-Северянина далеко от поведения мужчины, который наконец-то получил возможность жить с любимой женщиной, как это всегда утверждала Вера Борисовна Коренди. Мы видим, как быстро паника

поэта трансформируется в тяжелую и затяжную депрессию. Он уже дошел до рукоприкладства. Этот первый серьезный срыв произошел, когда из Кишинева к поэту приехала Лидия Тимофеевна Рыкова — друг семьи Лотаревых. По просьбе Фелиссы она описала кошмарную ночь в доме Игоря Васильевича.

*«Письмо Л.Т. Рыковой. Апрель 1936 года. Фелиссе.»*

В тот вечер, когда мы были у Вас, Иг<орь> Вас<ильевич> — накаленный разговорами и нашим общим мнением, вернулся домой раздраженным. Мы оба устали и быстро покушав, разошлись спать. Я почти уже засыпала, как вдруг яростный свистящий голос отогнал сон: "Как ты смела, сволочь, как ты смела!" Бац, бац — слышу удары и падение тела на пол, и все увеличивающиеся спорные голоса. Его — разъяренный, ее — невозмутимо оправдывающийся. Я не знала, что предпринять. Как будто бы интеллигентные люди не должны вмешиваться в ссоры супругов, а между тем, там избиение. Вскочила с кровати, свет не могу зажечь, выключатель не нахожу, вещи в темноте тоже не нахожу. Пришлось быть свидетельницей безобразнейшей сцены: вернее, немой слушательницей. Я ведь отчаянная трусишка, мне казалось, что я в каком-то притоне, где апаш избивает свою любовницу. Прижавшись лбом к холодному стеклу окна, я стояла, время ползло и мне казалось конца не будет всему этому. Но кончилось это также внезапно, как и началось. Иг<орь> Вас<ильевич> захрапел, а Вера Б<орисовна> крадучись вышла в мою комнату умыться. Я ее окликнула, тем более что мне было нехорошо с сердцем и хотелось выпить воды. Это забитое испуганное существо начало мне объяснять, что, как и почему, говоря почтительно, что он очень устал, спит, и что не дай Бог, что было, даже бросил ей на колени, заставляя себе целовать ноги. Причины ссоры я Вам не описываю — Иг<орь> Вас<ильевич>, вероятно, Вам рассказал, однако каков бы ни был проступок — избивать беззащитную женщину — это ужас».

Однако разрыва с Верой не произошло. Вот еще несколько писем поэта жене:

*«29 сентября 1936 года. Фелиссе.»*

Дорогая Фелиссушка!

Второй день сижу в квартире: сильно простудился в окаянном легком пальтишке, — кашель, насморк с полотенцами, дерет грудь и горло,

повышена температура, вчера принял аспирин. Скучища адская, ибо весь день предоставлен сам себе, но это хорошо, когда здоров, могу энергично бегать по городу, продавая роман, но когда болен, скучно и томительно.

*7 октября 1936 года. Фелиссе.*

Я все еще болен, дорогая Фишка, насморк не проходит, болит упорно грудь, кашляю и впечатление жара. Раза два вышел и вновь засел. И напрасно, оказывается, выходил, тем более — под проливнем, кот<орый> здесь ежедневно. <...> Квартира оказалась холодной и сырой, потолки протекают. Скука ужасающая, дикая! Порядки в квартире способны привести в иступление. Сержусь ежечасно, когда дома, а, благодаря болезни, "дома" вынужден быть часто. Жажду до умопомрачения Тойлы! <...> Очень трудно мне вести здесь хозяйство на книжку: дорого, безвкусно, несытно. Иногда прикупаю мясо, иначе ноги можно протянуть, но трачу минимально.

*30 декабря 1936 года. Фелиссе.*

Дорогая Фишечка,

всю дорогу был под неприятным впечатлением того маленького конфликта из-за воротника, который разыгрался у забора. Прости меня великодушно за мою такую, в сущности, понятную нервность и раздражительность. Я совсем стал больной человек ведь. И меня надо, пожалуй, понять, а не осудить. Я и в городе раздражаюсь из-за малейшего пустяка, ибо я не так и не там живу, где хотел бы. В<ера> Б<орисовна> сильно настроена тетками против меня. Совсем чужою стала. Злится и нервничает бесконечно. <...> Холодно и голодно. Положение мое стало невыносимо гадкое. И тягостное.

*2 января 1937 года. Фелиссе.*

Дорогая, милая, родная Фишечка моя!

Поздравляю Тебя с днем Твоего нужного мне всегда появления на свет, благодаря которому я приобрел тонкий вкус в поэзии, что я очень ценю и за что очень признателен тебе. Твои стихи должны быть восстановлены — это мое искреннее желание, и я заклинаю тебя это сделать, когда я приеду домой, т. е. когда я вернусь домой. <...> Я так утомлен, так обескуражен. И здесь такая непроходимая тощища. Этот "вундеркинд"! Эта Марья! Эта

В<ера> Б<орисовна>, всей душой находящаяся у теток! <...> На днях многое выяснится. А там мы поедem с тобой в Ригу: я не могу больше вынести этой обстановки сумасшедшего дома. Ни нравственно, ни физически. Здесь сплошной мрак, сплошная тупь.

*18 января 1937 года. Фелиссе.*

Шесть дней я пролежал дома, конечно, все же по утрам неуклонно посещая министерство и типографию и неуклонно получая ответы, меня не удовлетворяющие. <...> А пока что, погибаю от недоедания и общей слабости, ибо в лавке нет самого главного для моего истощенного организма — мяса.

*4 декабря 1937 года. Фелиссе.*

Дорогая ты моя Фишенька!

1-го и 2-го дек<абря> я от отчаяния, что опять попал в ад из благостной деревни, не выходил из дома вовсе, погибая от головной боли и тоски, и холода: в комнате, где я живу, температура не поднимается — после топки — выше 11—12 градусов! И такая сырость, что пятна мокрые на обоях. Ребенок, дядька, я и др. кашляем бесконечно. Ночью спать приходится под всеми шубами. Вообще ужасно все это, и я долго этого не перенесу. <...> Переживанья мои не из веселых, питание ужасное, зверский холод. Я — весь полет и движенье!

*18 марта 1938 года. Фелиссе.*

...Здесь <в Таллине> совершенно невозможно жить. Здесь или заболею серьезно, или с ума сойду. Вся душа тянется в природу. Да и пора дачу (с рыбой) нанимать, а то из-под носа последнюю избу отнимет какой-нибудь горожанин окаянный. <...> Атмосфера удручающая, — ложь, злоба, ненависть всеобщая... Я чувствую себя, как в темнице. Безумные головные боли, сердце и все другое...»

Когда, уже после смерти поэта, письма были переданы в Тартуский литературный музей и Вера Коренди узнала об этом, она пришла в бешенство, требуя уничтожить эти письма или изъять их из обращения. В музей она отправила гневное письмо:

*«ЗАВЕДУЮЩЕЙ МУЗЕЕМ ИМ. Ф. КРЕЙЦВАЛЬДА*

Точно я знаю, кем переданы эти письма в Музей, но воздержусь называть его имя...

Знаю, что человек чуткий и глубоко-интеллигентный, уважающий себя и память давно умершего поэта, не смог бы отдать на суд людской такие глубоко-интимные и, увы, лживые строки.

Лишь враждебно-настроенный человек способен на это...

Скажу одно: если бы поэт воистину хотел вернуться в Тойла, он и вернулся бы...

Это был человек упорного характера.

А мы прожили почти десять лет, почти не расставаясь...

Завещание было сделано на мое имя (в рукописях).

Никаких встреч с Ф<елиссой> К<руут> никогда не было. Он оставался со мной до последнего часа жизни и ушел из нее на руках моей семьи. <...>

И никогда у нас не было ни нужды, ни долгов... Моя семья, с которой у нас были самые теплые отношения, всячески поддерживала нас. <...>

Грубая ложь, как и слово, которое он употребил в адрес моей семьи. Недостойно и гадко...

Никакой болезни легких у меня не было. Все педагоги подвергались врачебному осмотру ежегодно.

Дома мы были всегда одновременно, т. к. он регулярно встречал меня.

Кроме дома — ему не приходилось ночевать нигде!

Что касается моего дяди — то он жил у нас до женитьбы. Отношения были самые теплые...

Зачем лгать было поэту кому-то в угоду?

Дочь он любил, занимался ей без конца.

Вот его слова: "Это единственный ребенок, который жил и будет жить со мной под одним кровом!"

Опять ненужная ложь!

Никогда он не проявлял особой любви и заботы о Тойла и ее обитателях. Даже деньги посылал озлобленно...

Всю жизнь он мечтал жить всегда вместе: "Только бы я умер раньше тебя, чтобы не пережить свою любовь".

Девочку он узаконил. Она носит его отчество и фамилию по праву.

Уже больной он мечтал развестись с Ф<елиссой> К<руут> окончательно.

Как-то уже незадолго до смерти он сказал: "Знаешь, Верушка, я переписываюсь с Ф.К. Никогда не читай и не верь этим письмам. Я должен был так писать, чтобы убереечь тебя и наше счастье. Пусть думают, что хотят!"

Какой же бесчеловечный закон разрешает по этим воистину безумным письмам судить о нашей светлой любви, о нашем большом и красивом чувстве?

Мы создали поэту тепло и уют. Разве могла сравниться наша обстановка с жалкой обстановкой в Тойла!! Я отдавала ему все: и свою молодость и душу.

Я два месяца выхаживала его от тяжелого воспаления легких, я привезла его после пожара в дом моей матери, где был уход и забота.

А что сделала Ф.К.? Она хоть раз предложила мне помощь? Нет!!!

Она подсылала только шпионов, чтобы узнать, не умер ли поэт, чтобы получить наследство...

Между прочим в письмах фигурирует незнакомка с инициалами "В. Б."

Допустим, что это я. Значит он не желал предавать огласке мое имя.

Так и должно быть. Такова его воля...

Еще хочу сказать: если бы я была на месте Ф.К., — я бы вернула ему эти письма с заметкой: "Не пишите больше. Я не верю вашим письмам. Вы продолжаете жить с ней. Не лгите мне и себе, не старайтесь мне угодить!"

Увы! Она не достигла такой душевной высоты.

Она сберегла эти письма, как орудие пытки против поэта... Он же не может сейчас защитит себя.

Последнее, что я хочу сказать: я прошу удалить эти письма из Архива, как сугубо-интимные и абсолютно далекие от истины.

Нельзя лгать самому на себя: он никогда и ничем не оскорбил меня. И ежедневно звонил, пока был в Тойла. И требовал ежедневных писем.

Вот кажется и все».

Письма Северянина Фелиссе Круут и обращение Веры Коренди в музей стоят целого романа. Но письма, как мне представляется, достоверны. Можно только сделать предположение: или поэт лгал, или их семейная история носила куда более сложный и двойственный характер. К тому же письма важны любому историку литературы, чтобы понять характер поэта.

## Громокипящий поэт

Однако вернемся во время громокипящего Игоря-Северянина. Когда уже не он рассылал свои брошюры по газетам, а за ним охотились журналисты. Было ли за кем охотиться? На эту тему шли самые разъяренные дискуссии. Приведу для начала анализ его стихов самого звездного периода, сделанный блестящим критиком Корнеем Чуковским («Футуристы», 1913):

«Как много у поэта экипажей! Кабриолеты, фаэтоны, ландо! И какие великолепные, пышные! Уж не герцог ли он Арлекинский? Мы с завистью читаем в его книгах:

"Я приказал немедля подать кабриолет..."

"Я в комфортабельной карете на эллипсических рессорах..."

"Элегантная коляска в электрическом биенье эластично шелестела по шоссе к песку..."

И мелькают в его книге слова:

"Моторное ландо"... "Моторный лимузин"... "Графинин фаэтон"... "Каретка куртизанки"...

И даже когда он умрет, его на кладбище свезут в автомобиле, — так уверяет он сам, — другого катафалка он не хочет для своих шикарных похорон! И какие ландо, ландолетты потянутся за его фарфоровым гробом!

Это будут фешенебельные похороны. За фарфоровым гробом поэта потекут в сиреновом трауре баронессы, дюшессы, виконтессы, и Мадлена со страусовым веером, и синьора За из "Аквариума". О, воскресни, наш милый поэт! Кто, если не ты, воспоеет наши будуары, журфиксы, муаровые платья, экипажи? Кто прошепелявит нам, как ты, галантный, галантерейный комплимент?

— Вы такая эстетная, вы такая бутончатая! — шептал ты каждой из нас. — Властелинша планеты голубых антилоп! И даже когда мы в гостинной —

В желтой гостинной из серого клена с обивкою шелковой, —

угощали визитеров кексом, у тебя, как у Данте, в душе возникали сонеты. Ты один был нашим менестрелем, и как грациозно-капризны бывали твои паркетные шалости! Как мы жемчужно смеялись, когда однажды ты заказал в ресторане мороженое из сирени (мороженое из сирени!) и в лилию налил шампанского. Или подарил нам боа из кудрявых цветов хризантем! Гордец, ты любил уверять, что у тебя, в твоей родной

Арлекинии, есть свой придворный гарем:

У меня дворец пятнадцатипятиэтажный,  
У меня принцесса в каждом этаже.

И странно: тебе это шло, тебе это было к лицу, как будто ты и вправду инкогнито-принц, и все женщины — твои одалиски, и это ничего, что у рябой коровницы ты снимал в Козьей Балке дачу: эту дачу ты звал коттеджем, а ее хозяйку сиятельством; дворник у тебя превращался в дворецкого, кухарка Маланья в субретку, и даже мы, белошвейки, оказались у тебя принцессами:

— Я каждую женщину хочу опринцессить! — таков был твой гордый девиз.

Но что же делать принцессам без принца? О, воскресни, наш милый принц!

Туг непременно случится великое чудо. Из гроба послышится жуткий и сладостный голос того, кого мы так горько оплакиваем:

"Гарсон! сымпровизируй блестящий файв о'клок!" — и шикарный денди-поэт, жеманно и кокетливо потягиваясь, выпрыгнет из фешенебельного гроба: — Шампанского в лилию! Шампанского в лилию! — И закричит шоферу-похоронщику:

Как хорошо в буфете пить крем-де-мандарин!

За чем же дело стало? — К буфету, черный кучер!

Многие, конечно, догадались, что герой этой странной повести наш фешенебельный, галантный поэт, лев сезона, Игорь Северянин.

Я только вчера прочитал его книгу, и теперь в душе осколки его строф.  
<...>

О, лакированная, парфюмерная, будуарно-элегантная душа! Он смотрит на мир сквозь лорнет, и его эстетика есть эстетика сноба. О чем бы он ни говорил: о Мадонне, о звездах, о смерти, я читаю у него между строк:

— Гарсон! сымпровизируй блестящий файв о'клок.

Его любимые слова: фешенебельный, комфортабельный, пикантный. Не только темы и образы, но и все его вкусы, приемы, самый метод его мышления, самый стиль его творчества определяются веерами, шампанским, ресторанами, бриллиантами. Его стих, остроумный, кокетливо-пикантный, жеманный, жантильный, весь как бы пропитан этим воздухом бара, журфикса, кабарэ, скетинг-ринга. Характерно, что он ввел в нашу поэзию паркетное французское сюсюканье и стрелку называет пуантом, стул — плиантом, молнию — эклером и даже русскую народную песню озаглавливает "Chanson Russe". Фиоль, шале, буше, офлерить, эксцессерка, грезерка, сюрпризерка — на таком жаргоне он пишет стихи,

совсем как (помните?) мадам де Курдюков:

Вам понравится Европа.  
Право, мешкать иль не фо па,  
А то будете малад,  
Отправляйтесь-ко в Кронштадт.  
Же не ве па, же нире па,  
Же не манж на де ла репа.

И не странно ли, не изумительно ли, что все же, несмотря ни на что, его стих так волнующесладостен! Дух дышит, где хочет, и вот под вульгарною личиною сноба сильный и властный поэт. Бог дал ему, ни с того ни с сего, такую певучую силу, которая, словно река, подхватит тебя и несет, как бумажку, барахтайся сколько хочешь: богатый музыкально-лирический дар. У него словно не сердце, а флейта, словно не кровь, а шампанское! Сколько бы ему ни было лет, ему вечно будет восемнадцать. Все, что увидит или почувствует, у него претворяется в музыку, и даже эти коляски, кабриолеты, кареты, — ведь каждая в его стихе звучит по-своему, имеет свой собственный ритм, свой собственный стихотворный напев. <...> И какой сумасшедшей музыкой в его!!!!

стихотворении "Фиолетовый транс" отпечатлен ураганный бег бешено ревущего автомобиля. Как виртуозно он умеет передать самой мелодией стиха и полет аэроплана, и качание качелей, и мгновенно мелькнувший экспресс, и танцы, особенно танцы:

И пала луна, танцевавшая в море!

Даже свои поэзы он означает, как ноты: соната, интермеццо, berceuse. Про какую-то женщину он говорит:

Она передернулась, как в оркестре мотив! <...>».

Вроде бы написано Чуковским с издевкой, но сквозь издевку явно чувствуется упоение этой поэзией. Такие восторги вперемежку с осуждением сопровождали поэта всю жизнь. Впрочем, Игорь-Северянин сам выбрал такой стиль, такую маску.

Выше уже упоминался его эстонский друг поэт Вальмар Адамс, который позднее говорил, что сам Северянин свои вызывающе-эстетские творения называл «стихами для дураков». Поэт, чутко улавливая настроение общества, играл на публику, разыгрывал масштабную клоунаду. И возмущался непониманием:

Я — не игрушка для толпы,  
Не шут офраченных ничтожеств!  
Да, вам пою, — пою! — И что же?  
О, люди! как же вы тупы... —  
Я — ветер, что не петь не может!

Он себя отделял от своих же читателей и почитателей. Это прекрасно описано в стихотворении «Царственный паяц»:

За струнной изгородью лиры  
Живет неведомый паяц.  
Его палаццо из палацц —  
За струнной изгородью лиры...  
Как он смешит пигмеев мира,  
Как сотрясает хохот плац,  
Когда за изгородью лиры  
Рыдает царственный паяц!..

Да, он смешит всех пигмеев, над ним хохочут, и его же обожествляют, делают кумиром. Но между его читателями и самим поэтом всегда жесткая «струнная изгородь лиры», к которой он мало кого подпускает. И в жизни, похоже, поэзия для него никогда не была на первом месте. Куда важнее женщины, рыбалка, музыка, лыжи и, конечно же, вино.

Поэт ли хочет грез вина,  
Вино ли просит грез поэта?

(«Чьи грезы?..», 1909)

Став Игорем-Северянином, поэт изобрел для себя и шутовской эгофутуризм, привлек для большего шума с десятков молодых стихотворцев, среди них Вадима Шершеневича, Константина Олимпова (сына своего кумира Константина Фофанова), Василиска Гнедова. Шум подняли по всей российской прессе, что ему и надо было.

Я оскандален и окумирен,  
Мимозно плачу, смеюсь до слез:

Лишь я и Солнце в закатном мире! —  
Я — вне эпохи! Я — грандиоз!

Он не боялся ни пошлости, ни вульгарности, ни грубости. Если это все — карнавал и шутовство, то почему бы и не посмеяться над пошляками.

Еще один его верный друг, Георгий Шенгели, вспоминал: «Игорь обладал самым демоническим умом, какой я только встречал, — это был Александр Раевский, ставший стихотворцем; и все его стихи — сплошное издевательство над всеми, и всем, и над собой... Игорь каждого видел насквозь, толстовской хваткой проникал в душу и всегда чувствовал себя умнее собеседника — но это ощущение неуклонно сопрягалось в нем с чувством презрения».

Пускай критический каноник  
Меня не тянет в свой закон —  
Ведь я лирический ироник:  
Ирония — вот мой канон.

*(«Двусмысленная слава»)*

Он был продавцом и «ананасов в шампанском», и «мороженого из сирени», но употреблял ли сам свои изделия? Он заворачивал свои ананасы и лилии в самые изящные обертки, которые покупатель часто ценит больше самих товаров. Да, он был первый большой поэт эпохи потребления. Но, может быть, простому обывателю, приказчику из лавки или швейке и интересны такие стихи?

В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом  
По аллее олуненной Вы проходите морево...  
Ваше платье изысканно, Ваша тальма лазорева,  
А дорожка песочная от листвы разузорена —  
Точно лапы паучные, точно мех ягуаровый.  
Для утонченной женщины ночь всегда новобрачная...  
Упоенье любовное Вам судьбой предназначено...  
В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом —  
Вы такая эстетная, Вы такая изящная...  
Но кого же в любовники? и найдется ли пара Вам?

Ножки пледом закутайте дорогим, ягуаровым,  
И, садясь комфортабельно в ландолете бензиновом,  
Жизнь доверьте Вы мальчику в макинтоше резиновом,  
И закройте глаза ему Вашим платьем жасминовым —  
Шумным платьем муаровым, шумным платьем муаровым!..

(«Кензели», 1911)

Почему бы и не помечтать с поэтом о такой жизни? Ведь многие и представляли жизнь поэта Игоря-Северянина такой вот ресторанно-кабриолетной. А он не только своих читателей дразнил заманчивой буржуазной жизнью, но и себя подстраивал под свою пародийную славу, при этом обладая истинным поэтическим талантом. Впрочем, он и сам признавал свою «двусмысленную славу и недвусмысленный талант», что замечали и его именитые коллеги.

Валерий Брюсов, как уже говорилось, выделял среди молодых поэтов Игоря-Северянина: «...это — истинный поэт, глубоко переживающий жизнь...» Но далее выражал сожаление, что «отсутствие знаний и неумение мыслить принижают поэзию Игоря Северянина и крайне сужают ее горизонт».

Среди поэтов Серебряного века, увы, он выделялся своей необразованностью, сказались его четыре неполных класса Череповецкого реального училища. Думаю, такие стихийные природные, но необразованные таланты, типичные на Руси, и заставляют восхищаться новыми рифмами, удачными словообразованиями, мелодией стиха, поэтической искренностью и простотой. Даже такие поэты, как Николай Гумилев, Александр Блок, отмечали незаурядный и своеобразный талант Игоря-Северянина.

Николай Гумилев, поэт совсем другого стиля, воспитания, культуры, тем не менее так охарактеризовал творчество Северянина в своих «Письмах о русской поэзии», опубликованных в 1914 году в элитарном журнале «Аполлон»:

«О "Громокипящем кубке", поэзах Игоря Северянина, писалось и говорилось уже много. Сологуб дал к ним очень непринужденное предисловие, Брюсов хвалил их в "Русской Мысли", где полагалось бы их бранить.

Книга, действительно, в высшей степени характерна, прямо культурное событие. <...> Игорь Северянин — действительно поэт, и к тому

же поэт новый. Что он поэт — доказывает богатство его ритмов, обилие образов, устойчивость композиции, свои, и остро пережитые, темы. Нов он тем, что первый из всех поэтов он настоял на праве поэта быть искренним до вульгарности.

<...> Для него "Державиным стал Пушкин", и в то же время он сам — "гений Игорь Северянин". Что же, может быть, он прав. Пушкин не печатается в уличных листках, Гете в беспримесном виде мало доступен провинциальной сцене... Пусть за всеми "новаторскими" мнениями Игоря Северянина слышен твердый голос Козьмы Пруткова. <...> Мы присутствуем при новом вторжении варваров, сильных своею талантливостью и ужасных своею небрежливостью. Только будущее покажет, "германцы" ли это или... гунны, от которых не останется и следа».

Один из наиболее тонких и высококультурных поэтов, Владислав Ходасевич тоже отметил выдающийся талант Северянина: «Мне нравятся стихи Игоря Северянина. И именно потому я открыто признаю недостатки его поэзии: поэту есть чем с избытком искупить их. Пусть порой не знает он чувства меры, пусть в его стихах встречаются ужаснейшие безвкусицы, — все это покрывается неизменной и своеобразной музыкальностью, меткой образностью речи и всем тем, что делает Северянина непохожим ни на одного из современных поэтов, кроме его подражателей...»

Природная музыкальная одаренность Игоря-Северянина (недаром ему предрекали славу композитора с детства) сказалась не только в музыкальности самих стихов, но и в музыкальности их авторского завораживающего чтения. Он гипнотизировал огромные залы своим исполнением, чего начисто лишены были и Велимир Хлебников, и Александр Блок, и многие другие его современники-поэты.

Это поистине медиумическое, шаманское чтение доводило публику до экстаза и продолжалось до 1918 года, когда в Москве в Политехническом музее Игоря-Северянина выбрали «королем поэтов». И это ему удалось уже в революционной Москве, отодвинув революционных Владимира Маяковского и Василия Каменского.

Начиная с 1911 года Игорь-Северянин входил в моду, становился первым по популярности поэтом, хотя жили еще и Александр Блок, и Константин Бальмонт, и Андрей Белый, и Николай Клюев, набирали вес Владимир Маяковский и Сергей Есенин, но дореволюционная публика, публика, задетая уже буржуазными соблазнами, ценила прежде всего Игоря-Северянина.

В 1911 году Валерий Брюсов, тогдашний поэтический мэтр, дружески поддержал его сборник «Электрические стихи». Другой мэтр символизма,

Федор Сологуб, в 1912 году посвятил Игорю-Северянину триолет, начинавшийся строкой «Восходит новая звезда...». Позже Федор Сологуб пригласил поэта в турне по России, от Минска до Кутаиси. К северянинскому эгофутуризму мало кто приглядывался, умные люди понимали: новые звезды ищут себе новые площадки для взлета. Маяковский со товарищи основал кубофутуризм, Северянин в пику ему — эгофутуризм. Кубофутуризм чем-то обосновывался, и среди его лидеров были не только Маяковский, но и Хлебников, Каменский, Крученых и совсем не бездарный Давид Бурлюк. У эгофутуристов такой сильной команды не было, мешало и гениальничанье самого Северянина, быстро ушел к акмеистам Георгий Иванов, к кубофутуристам — Вадим Шершеневич, покончил с собой Константин Олимпов.

Эгофутуристом был сам эгоцентричный поэт, талантливый и вульгарный, тонкий лирик и экстравагантный паяц. Поневоле думаешь, зачем нужен был ему весь этот дешевый эпатаж невзыскательной публики:

Чаруйный вечер! полет жуира!  
Глаза и струны бурлят огнём...  
Как своенравно покорна лира! —  
Я аполло́нен! я полонён.  
В пурпурном небе — экстаз агоний...  
О, дева! киньте цветок на бис.  
Возможна ль муза златоиконней?! —  
Ах, оцените же мой каприз!

*(«Чаруйный вечер! полет жуира!...»)*

И все-таки, если не вдумываться в эти пошловатые слова, пленяет сама звукопись, сам ритм. В чем-то Игорь-Северянин напоминает мне Александра Грина; оба как бы не из мира сего, оба погружены в свои поэзы и Зурбаганы, оба в реальной жизни водку закусывают соленым огурцом и живут в дешевеньких квартирках, разочаровывая внезапно нагрянувших к ним поклонников. Оба русских гения, одинаково мною любимые и ценимые, отгораживаются творчеством от реальности, все более апоэтичной и суровой, меркантильной и жестокой: «За струнной изгородью лиры / Провозглашаюсь королем». Оба творили свои Лиссы и Миррэлии, которых так не хватало в скудной земной жизни миллионам соотечественников. Они творили легенды не только о своих героях и

героинях в ландо и будуарах, они творили легенды и о самих себе. Проживая в убогих квартирках, хвастались дворцами, употребляя русскую, похвалялись заморскими напитками. Но это не фарс, это и есть легенда о выживании нации во все времена.

Я музыки хочу! — хочу проникновенно;  
Капризно и легко шопенится закат.  
Пускай же скрипачу огнем овеет вены, —  
Дары мадам Клико желают эскапад!  
Бальзам зари горчит опаловым туманом,  
Аккордами мечты — имперственный каданс.  
Прибив камейный щит на своде златотканом,  
Сжигает Ночь мосты, соединяя нас.

*(«Я музыки хочу! — хочу проникновенно...»)*

Разве не слышится мелодика стиха, разве не уносит вас ветерок в иные поэтические миры на алых парусах? На мой взгляд, Игорь-Северянин был талантлив по-моцартовски, писал стихи легко и небрежно. В истории не раз бывало, что гениальность «озаряет голову безумца, гуляки праздного». Но Пушкин слегка присочинил про легкий гений Моцарта. Как мы знаем из истории, Моцарт чрезвычайно много учился и работал. Когда гений соединяется с развитым умом, широкими познаниями и неустанным трудолюбием, получается титан литературы, как наш Пушкин или германский Гёте. Игорю-Северянину не хватило вкуса и познаний, ну что ж, нам хватит и того, что он оставил.

Тэффи вспоминала: «Игорь был большого роста, лицо длинное, особая примета — огромные, тяжелые, черные брови. Это первое, что останавливало внимание и оставалось в памяти. Игорь Северянин — брови. Голос у него был зычный, читал стихи нараспев».

Позовите меня,  
Я прочту вам себя,  
Я прочту вам себя,  
Как никто не прочтет!

По словам Константина Кедрова, «Северянин сопрягает галантную

Францию с новой, как оказалось, эфемерной Россией. Такие миражи свободы и счастья, как правило, появлялись в начале столетий и заканчивались Смутным временем. Двадцатый век вливался как "Титаник" и вскоре разбился об айсберг диктатуры пролетариата. Скоро вся эта изысканность погибнет в огне войн и революций. Красота не спасает мир. Но как только мир спасается, он тотчас вспоминает о красоте. "Я трагедию жизни превращу в грезофарс", — пообещал Северянин своим читателям.

Это обещание он выполнил. Он придумал множество новых слов. Не пришло ни одно. Разве что это таинственное, манящее "грезофарс"».

И в самом деле, ни Александр Грин, ни Игорь-Северянин как-то не созвучны были диктатуре пролетариата, жесткой поступи XX века. Но как только наступало время покоя, читатели возвращались к своим Ассолям и грезам. Может быть, неграмотность и нужна для таких чистых фантазий? Эрудит так фантазировать постесняется.

Магия была в его стихах, магия была и в его чтении: мелодия стиха заменяла смысл слов, они были как бы и не нужны. Если не чувствуешь очарование от самой поэзии, конечно, на первый план вылезут и пошлая безвкусица, и безграничное самолюбование, и коверкание малознакомых слов... но все это явно наносное, когда ты слышишь «вздохи муз, и звоны лиры, и отголоски ангельского пения».

Конечно, иных смущала столь откровенная по тем временам эротика, как, к примеру, в стихотворении «Ванг и Абианна», но и притягивала:

Ванг и Абианна, жертвы сладострастья,  
Нежились телами до потери сил.  
Звякали призывно у нее запястья,  
Новых излиятий взор ее просил.  
Было так безумно. Было так забвенно.  
В кровь кусались губы. Рот вмещался в рот.  
Трепетали груди и межножье пенно.  
Поцелуй головки — и наоборот.  
Было так дурманно. Было так желанно.  
Била плоть, как гейзер, пенясь, как майтранк.  
В муках сладострастья млела Абианна,  
И в ее желаньях был утоплен Ванг.

Сборник «Громокипящий кубок», вышедший, напомним, в 1913 году и принесший Игорю-Северянину широкую известность, выдержал десять

изданий. Сборник приветливо встретил Валерий Брюсов. Он писал:

«Душа бывает взволнована, когда возникает поэт. Но после первого радостного волнения наступает время анализа. Нашедший клад сначала только пересыпает золото из руки в руку, но потом начинает считать его и определять ценность монет. Мореплаватель, открывший остров, после первой минуты горделивого счастья, отправляется исследовать новую землю, выясняет, пригодна ли она для житья, богата ли растениями, животными, минералами, есть ли в ней удобные бухты. Подобно этому, "открыв" нового поэта, пережив радостное "волнение души", читатель невольно начинает относиться критически к новому знакомцу, старается определить его удельный вес. Хочется узнать, принадлежит ли новый поэт к числу редких "посланников Провидения", благословенных гостей мира, как Пушкин и Гете, или к числу второстепенных светил, как Фофанов и Верлен, или, наконец, к тем мимолетным огням, которые, как падающие звезды, порою озаряют на миг небосвод литературы.

А если бы случилось, что мы пожелали отказаться от анализа, если бы нам захотелось только перебирать монеты найденного клада, только любоваться новооткрытым островом, только радоваться на строфы нового поэта, — Игорь Северянин сам не позволил бы нам отдаться этому непосредственному чувству. Первая большая книга, изданная им (он сам именуется ее "первой" книгой, как бы отрекаясь от своих предыдущих изданий), "Громокипящий кубок", — книга истинной поэзии».

Вскоре один за другим у Северянина выходят сборники «Златолира» (1914), «Ананасы в шампанском» (1915), «Victoria Regia» (1915)... Их критика приняла уже сдержанно. Тот же Валерий Брюсов отмечал:

«Но кроме безвкусицы есть другая причина, закрывающая поэзии Игоря Северянина пути к развитию. Поэтически талант дает многое, когда он сочетается с хорошим вкусом и направляется сильной мыслью. Чтобы художественное творчество одерживало большие победы, необходимы для него широкие умственные горизонты. Только культура ума делает возможной культуру духа. Поэт, умственные интересы которого ограничены, роковым образом обречен на скудость и однообразие тем, и вместо бесконечности мировых путей пред ним всегда будут лишь тропки его маленького садика.

Игорь Северянин сам не скрывает, что мысли не его удел. "Я — самоучка-интуит" — сообщает он в одном месте... То была бы еще не большая беда, и Пушкин во многих отношениях был самоучкой; хуже, что Игорь Северянин пренебрежительно относится вообще к учению. "Не мне в бездушных книгах черпать!" — гордо заявляет он. И из его стихов видно,

что он, действительно, не так-то много "черпал" в книгах. Как только он подступает к темам, требующим знаний (хотя бы и весьма элементарных), это обнаруживается. Напр<имер>, у Игоря Северянина Нерон клянет свой трон, а гетеры (!) глядят на него из лож партера; краснокожие в Мексике мечут бумеранг, слово "шимпанзе" получает ударение на "а"; брамин целует идею и т. п. Не видно даже знакомства с литературой, что, казалось бы, для поэта обязательно. В стихах Игоря Северянина упоминаются лишь наиболее популярные писатели, а если встречается имя чуть-чуть менее общеизвестное, как заметно, что поэт знает его лишь понаслышке: как, напр<имер>, он говорит о строфах Верхарна, этого почти всегда астрофического поэта!.. Вывод из всего сказанного нами напрашивается сам собою. Игорю Северянину недостает вкуса, недостает знаний. То и другое можно приобрести, — первое труднее, второе легче. Внимательное изучение великих созданий искусства прошлого облагораживает вкус. Широкое и вдумчивое ознакомление с завоеваниями современной мысли раскрывает необъятные перспективы. То и другое делает поэта истинным учителем человечества...

Одно из двух: или поэзия есть забава, приятный отдых в минуты праздности, или серьезное, важное дело, нечто глубоко нужное людям. В первом случае, вряд ли стоит особенно беспокоиться, как и чем кто развлекается. Во втором, поэт обязан строго относиться к своему подвигу, понимать, какая ответственность лежит на нем. Чтобы идти впереди других и учительствовать, надо понять дух времени и его запросы, надо, по слову Пушкина, "в просвещении стать с веком наравне", а может быть, и выше его. Для нас истинный поэт всегда — *vates* римлян, пророк. Такого мы готовы увенчать и приветствовать; других — много, и почтить их стоит лишь "небрежной похвалой". Тот же, кто сознательно отказывается от открытых пред ним прекрасных возможностей, есть "раб лукавый", зарывающий свой "талант" в землю» (июнь 1915 года).

Вот и сказалось в конце концов его череповецкое сиротство при живых родителях, некому было его приучить ни к учебе, ни к книгам. Как говорят в народе, бить было некому. Так и вырос поэт с мощным стихийным талантом, но без необходимых знаний.

Начавшаяся в 1914 году мировая война изменила общественную атмосферу. Поэт Игорь-Северянин оказался лишним, так же как и все другие романтики и фантазеры. В октябре 1914 года он опубликовал в «Биржевых новостях» стихотворение «Еще не значит быть изменником»:

Еще не значит быть изменником —

Быть радостным и молодым,  
Не причиняя боли пленникам  
И не спеша в шрапнельный дым...

.....

Еще не значит... Прочь уныние  
И ядовитая хандра!  
Война — войной. Но очи синие,  
Синейте завтра, как вчера!  
Война — войной. А розы — розами.  
Стихи — стихами. Снами — сны.  
Мы живы смехом! живы грезами!  
А если живы — мы сильны!  
В желаньи жить — сердца упрочены...  
Живи, надейся и молчи...  
Когда ж настанет наша очередь,  
Цветы мы сменим на мечи!

*(«Еще не значит быть изменником»)*

На Северянина набросилась вся патриотическая пресса, газеты были завалены возмущенными письмами читателей, посыпались пародии. Северянин не отмолчался. Он поднял весьма важный вопрос: а принесут ли поэты пользу на фронте? И написал известное, также антивоенное — война не дело лириков — стихотворение «Мой ответ», где лишь в конце сказал: а если уж падет последний герой, тогда он, поэт Северянин, поведет всех на Берлин. В советское время этот стих клеймили как ура-патриотический и шовинистический, никто не потрудился внимательно прочесть его от начала до конца. Всех поразил... Берлин:

Еще не значит быть сатириком —  
Давать озлобленный совет  
Прославленным поэтам-лирикам  
Искать и воинских побед...  
Неразлучаемые с Музой  
Ни под водою, ни в огне,  
Боюсь, что будем лишь обузой  
Своим же братьям на войне.  
Мы избалованы вниманием,

И наши ли, pardon, грехи,  
Когда идут шестым изданием  
Иных «ненужные» стихи?!..  
— Друзья! Но если в день убийственный  
Падет последний исполин,  
Тогда ваш нежный, ваш единственный,  
Я поведу вас на Берлин!

*(«Мой ответ», 1914. Зима)*

Этой последней строкой вот уже больше ста лет тычут Северянина «за империализм», пора бы и перестать. Не лучше ли прочитать само стихотворение, в котором скорее можно усмотреть все тот же пацифизм. Общественное большинство в 1914 году не могло простить никаких антивоенных заявлений, тем более раздающихся из уст столь известного поэта. Есть у него и другое стихотворение на эту же тему — «Поэза благословения»:

Я не сочувствую войне  
Как проявлению грубой силы.  
Страшны досрочные могилы  
И оскорбительны вдвойне..  
.....  
Но есть великая война —  
Война народной обороны:  
Отбросить вражьи легионы  
Встает пронзенная страна.  
Когда отечество в огне,  
И нет воды, лей кровь, как воду...  
Благословение народу!  
Благословение войне!

*(«Поэза благословения»)*

Была ли Первая мировая война «войной народной обороны», сказать трудно. Скорее всего — нет. Да и жизнь в столицах мало напоминала о военной обстановке. Всеволод Рождественский вспоминает:

«Так же пестрел витринами и дамскими нарядами Невский проспект, в часы традиционного гулянья по солнечной его стороне непрерывно лилась оживленная толпа; по торцовому настилу, глухо цокая копытами, проносились откормленные кони "собственных выездов", бесшумно летели на тугих резиновых шинах "лихачи" (извозчики), порывисто рывкали "моторы" (так назывались тогда автомобили). В белые ночи на бледной заре матово светились шары у входов в загородные сады и рестораны, откуда доносились изматывающие душу тягучие мелодии танго — самого модного танца тех обреченных лет. Типичными фигурами того времени были безусые заносчивые прапорщики и кокетливые сестры милосердия в белых крахмаленных косынках и с широким красным крестом на груди. Но они также мало думали о войне, хотя и попадались им на пути вывески лазаретов и группы раненых в верблюжьего цвета халатах на скамейках городских скверов. Тем летом атмосфера романтического легкомыслия была разлита повсюду. Никогда так легко и бездумно не возникали и не развязывались романы. Никогда обывательской публикой не читалось столько бульварной стряпни... От трагической лирики Блока отворачивались... И как раз в это время стала пользоваться бурным успехом... поэзия Игоря Северянина, делившая славу с кабарежными песенками А.Н. Вертинского и манерными романсами прославленных звезд тогдашней ресторанной эстрады».

Северянина долго не призывали в армию. Может быть, просто не могли найти? В ту пору (1914—1915 годы) поэт ездил с «поэзоконцертами» по всей стране, а в промежутках между гастролями удирал в глушь, в рыбацкий поселок Эст-Тойлу. Но в 1916 году Игоря Васильевича Лотарева все-таки призвали в армию. Никаких усилий, чтобы избежать мобилизации, он не предпринимал, однако на фронт не попал. В строевой части, где новобранцам преподавали азы военного дела, его признали совершенно неспособным нести воинскую службу и быстро отпустили — не подходил ни по здоровью, ни по выправке.

Как вспоминает очевидец, Лотарев-Северянин был «посмешищем полка»:

«Не поддавался никакой муштровке. Фельдфебель из сил выбивался. Никак не мог заставить его не поворачиваться налево при команде направо, до хрипоты орал на него, разбивавшего весь строй: "Эй, ты, деревня! Куда гнешь опять?.."

В конце концов определили его в санитары на самую черную работу — по уборке и мытью полов...»

По мнению Михаила Петрова, от военной службы «его освободил

князь Феликс Феликсович Юсупов, граф Сумароков-Эльстон. Княгиня Ирина была поклонницей поэта, а князь имел обширные связи в армии через своего приятеля Великого князя Дмитрия Павловича. Освободить Игоря-Северянина от армии было несложно, тем более, что у него действительно был порок сердца».

Как следствие чуши и вздора —  
Неистово вверглись в войну.  
Воскресли Содом и Гоморра,  
Покаренные в старину.

*(«Поэза упадка», 1918)*

После Февральской революции Игорь-Северянин пишет убойное сатирическое стихотворение о Керенском:

Посредственному адвокату  
Стать президентом — не удел.  
Он деловито шел к закату,  
И вот дойдя — он не у дел!..  
Напрасно чванилась Самара:  
«Волжанин стал почти царем!»  
Он поднимался, как опара,  
А лопнул мыльным пузырем.

*(«Самарский адвокат», 1918)*

В конце концов он воспел Ленина, настоявшего на заключении Брестского мира 3 марта 1918 года:

Его бесспорная заслуга  
Есть окончание войны.  
Его приветствовать, как друга  
Людей, вы искренне должны.  
Я — вне политики, и, право,  
Мне все равно, кто б ни был он.  
Да будет честь ему и слава,  
Что мир им, первым, заключен!

Когда людская жизнь в загоне,  
И вдруг — ее апологет,  
Не все ль равно мне — как: в вагоне  
Запломбированном иль нет?..  
Не только из вагона — прямо  
Пускай из бездны бы возник!  
Твержу настойчиво-упрямо:  
Он, в смысле мира, мой двойник.

*(«По справедливости»)*

Так что, как ни парадоксально, поэтическая лениниана начинается с Игоря-Северянина. Возможно, современник мог бы поспорить с тем, как Северянин воспринимает обоих, Керенского и Ленина, но не выделить этих стихов, обращенных к самым важным историческим фигурам того времени, было нельзя.

Игорь-Северянин слабо разбирался в том, кто такие большевики, кто такие эсеры, кадеты, но поэт обладал здравым смыслом и судил по делам. В наши дни не кто иной, как Евтушенко, певец всех кремлевских вождей, вдруг обрушился на Северянина за это стихотворение: мол, не разобрался в зле большевизма. А он и не думал разбираться, он приветствовал конец не нужной никому войны.

## Король поэтов

В январе 1918 года поэт уезжает со своей гражданской женой Марией Волнянской в Эстонию, а в феврале возвращается на короткое время в Москву и участвует в «выборах короля поэтов». Это событие не раз упоминалось мною выше, но оно стоит того, чтобы рассказать о нем подробнее.

Как помним, 27 февраля 1918 года на вечере в Политехническом музее в Москве Игорь-Северянин был избран «королем поэтов». Вторым был признан Владимир Маяковский.

Игорь-Северянин попал на выборы «короля поэтов» почти случайно, «проездом» из уже становящейся родной эстонской Тойла. О «состязании поэтов», которое решил устроить известный организатор литературных мероприятий и антрепренер Федор Долидзе, он узнал из афиш, расклеенных по Москве:

«Поэты!

Учредительный трибунал созывает всех вас состязаться на звание короля поэзии. Звание короля будет присуждено публикой всеобщим, прямым, равным и тайным голосованием.

Всех поэтов, желающих принять участие на великом, грандиозном празднике поэтов, просят записываться в кассе Политехнического музея до 12 (25) февраля. Стихотворения не явившихся поэтов будут прочитаны артистами.

Желающих из публики прочесть стихотворения любимых поэтов просят записаться в кассе Политехнического музея до 11 (24) февраля.

Результаты выборов будут объявлены немедленно в аудитории и всенародно на улицах.

Порядок вечера:

- 1) Вступительное слово учредителей трибунала.
- 2) Избрание из публики председателя и выборной комиссии.
- 3) Чтение стихов всех конкурирующих поэтов.
- 4) Баллотировка и избрание короля и кандидата.
- 5) Чествование и увенчание мантией и венком короля и кандидата».

Согласно сведениям, опубликованным Верой Терехиной и Натальей Шубниковой-Гусевой, сохранилась «Программа на избрание Короля поэтов», где четко обозначены все выступающие.

Вечер был разделен на два отделения.

«Отделение первое: Вступительное слово учредителей трибунала, избрание из публики председателя и выборной комиссии. Артистка Наталия Поплавская прочтет стихотворения И.А. Бунина и Валерия Брюсова. Лев Никулин прочтет стихотворения Ф. Сологуба. Артистка Н.А. Нолле прочтет стихотворения Ахматовой и А. Блока. К.Д. Бальмонт. Игорь Северянин. Василий Каменский. Давид Бурлюк. Владимир Маяковский.

Антракт 10 минут.

[Отделение второе:]

Артист Раневский прочтет стихи Королевича. Лев Никулин. Елизавета Панайотти. Стефан Скушко. Морозов Евгений. Василий Федоров. Мария Кларк. Семен Симаков. Михаил Лисин. Елена Ярусова. Скала Дон-Бравино. Поляков. Константин Дуглас. Виктор Мюр. Владимир Никулин. Николай Куршин. Алексей Ефременков.

Антракт 10 минут.

Подача избирательных карточек. Подсчет голосов. Избирание и чествование короля поэтов».

Итак, вначале читались стихи отсутствующих поэтов — Бунина, Брюсова, Сологуба, Ахматовой и Блока. Затем слово предоставили Бальмонту, Северянину, Бурлюку и Маяковскому. Вот как проходили эти, можно сказать, шутовские выборы в самые напряженные революционные дни, по свидетельству присутствующих на них поэтов. Вряд ли общество в тот момент обратило на эти выборы большое внимание.

Поэт Сергей Спасский:

«Зал был набит до отказа. Поэты проходили длинной очередью. На эстраде было тесно, как в трамвае. Теснились выступающие, стояла не поместившаяся в проходе молодежь. Читающим смотрели прямо в рот. Маяковский выдавался над толпой. Он читал "Революцию", едва имея возможность взмахнуть руками. Он заставил себя слушать, перекрыв разговоры и шум. Чем больше было народа, тем он свободней читал, тем полнее был сам захвачен и увлечен. Он швырял слова до верхних рядов, торопясь уложиться в отпущенный ему срок.

Но "королем" оказался не он. Северянин приехал к концу программы. Здесь был он в своем обычном сюртуке. Стоял в артистической, негнувшийся и "отдельный". Прошел на эстраду, спел старые стихи из " <Громокипящего> кубка". Выполнив договор, уехал. Начался подсчет записок. Маяковский выбежал на эстраду и возвращался в артистическую, посверкивая глазами. Не придавая особого значения результату, он все же увлекся игрой. Сказывался его всегдашний азарт, страсть ко всякого рода состязаниям.

— Только мне кладут и Северянину. Мне налево, ему направо.

Северянин собрал записок немного больше, чем Маяковский. Третьим был Василий Каменский.

Часть публики устроила скандал. Футуристы объявили выборы недействительными. Через несколько дней Северянин выпустил сборник, на обложке которого стоял его новый титул. А футуристы устроили вечер под лозунгом "долой всяких королей" ...»

Писатель Лев Никулин:

«После выборов Маяковский довольно едко подшучивал над его "поэтическим величием", однако мне показалось, что успех Северянина был ему неприятен. Я сказал ему, что состав публики был особый, и на эту публику гипнотически действовала манера чтения Северянина, у этой публики он имел бы успех при всех обстоятельствах.

Маяковский ответил не сразу, затем сказал, что нельзя уступать аудиторию противнику, какой бы она ни была. Вообще надо выступать даже перед враждебной аудиторией: всегда в зале найдутся два-три слушателя, по-настоящему понимающие поэзию.

— Можно было еще повоевать...

Тогда я сказал, что устраивал выборы ловкий делец, импресарио, что, как говорили, он пустил в обращение больше ярлычков, чем было продано билетов.

Маяковский явно повеселел:

— А что ж... Так он и сделал. Он возит Северянина по городам; представляете себе, афиша — "Король поэтов Игорь Северянин"!

Однако нельзя сказать, что Маяковский вообще отрицал талант Северянина. Он не выносил его "качалки грезерки" и "бензиновые ландолеты", но не отрицал целиком его поэтического дара».

Рассказывали и такую версию: мол, поклонники Маяковского специально отдавали голоса Северянину, ибо революционному поэту негоже быть каким-то королем.

Впрочем, по мнению Михаила Петрова, «может быть, никакой подтасовки и не было: 9 марта Маяковский пытался сорвать выступление новоизбранного короля русских поэтов. В антракте он пытался декламировать свои стихи, но под громкий свист публики был изгнан с эстрады, о чем не без ехидства сообщила газета "Мысль" в номере за 11 марта 1918 года.

В марте вышел в свет альманах "Поэзоконцерт". На обложке альманаха был помещен портрет Игоря-Северянина с указанием его нового титула. Под обложкой альманаха помещены стихи короля поэтов, Петра

Ларионова, Марии Кларк, Льва Никулина, Елизаветы Панайотти и Кирилла Халафова».

И, наконец, рассказ самого Игоря-Северянина в его «Заметках о Маяковском» (1941):

«В марте 1918 г. в аудитории Политехнического музея меня избрали "Королем поэтов". Маяковский вышел на эстраду: "Долой королей — теперь они не в моде". Мои поклонники протестовали, назревал скандал. Раздраженный, я оттолкнул всех. Маяковский сказал мне: "Не сердись, я их одернул — не тебя обидел. Не такое время, чтобы игрушками заниматься..."».

На самом деле Игорь-Северянин всю жизнь гордился этим титулом, завоеванным в соревновании с достойными соперниками, а Владимир Маяковский очень переживал свое поражение, придумывая даже несуществующие приписки.

Критик Михаил Лезинский пишет: «..."маяковская группа футуристов" объявит выборы незаконными... Футуристы во главе со своим предводителем, бунтарем в желтой кофте Владимиром Маяковским откликнулись на этот сборник со злостью, которая не украшает поэтов ни в какие времена:

"Шесть тусклых строчил, возглавляемые пресловутым 'королем' Северяниным, издали под этим названием сборник ананасных, фиалочных и ликерных отрывков..."».

По мнению Терехиной и Шубниковой-Гусевой, «по всей видимости, Северянин прочитал три поэмы: "Весенний день", "Это было у моря" и "Встречаются, чтоб разлучаться"».

Приведу полностью «Весенний день», посвященный Константину Фофанову. По свидетельству современников, Северянин любил исполнять его со сцены и, вполне вероятно, читал на вечере избрания «короля поэтов»:

Весенний день горяч и золот, —  
Весь город солнцем ослеплен!  
Я снова — я: я снова молод!  
Я снова весел и влюблен!  
Душа поет и рвется в поле,  
Я всех чужих зову на «ты»...  
Какой простор! какая воля!  
Какие песни и цветы!  
Скорей бы — в бричке по ухабам!

Скорей бы — в юные луга!  
Смотреть в лицо румяным бабам,  
Как друга, целовать врага!  
Шумите, вешние дубравы!  
Расти, трава! цветы, сирень!  
Виновных нет: все люди правы  
В такой благословенный день!

Несмотря на то что Северянина многие считали «буржуазным» поэтом, к тому же он не был москвичом, все-таки именно его называли «королем», отодвинув Маяковского на второй план. Победителя увенчали мантией и венком. Посвящение носило скорее шутливый оттенок, но сам Северянин, повторюсь, отнесся к этому действию весьма серьезно. Почему же это произошло? Думается, немалую роль сыграло то обстоятельство, что Северянин сознательно и весьма упорно создавал свой образ изысканного поэта-кумира. Обычно он появлялся на поэтических вечерах с орхидеей в петлице, называл свои стихи «поэзами», читал в напевном ритме, подчеркивая их ярко выраженную музыкальность. На зрителей действовало все одновременно: элегантность поэта, музыкальность его стихов, манера их исполнения и поведения на сцене. Важное место в творчестве Северянина всегда играла тема поэта и его славы.

«Неожиданно сбылись все его мечты: тысячи поклонниц, цветы, автомобили, шампанское, триумфальные поездки по России... Это была самая настоящая, несколько актерская, пожалуй, слава», — вспоминал о стремительно растущей популярности поэта Георгий Иванов в своих «Петербургских зимах».

Интересно, что его первый сборник, «Громокипящий кубок», вышел в год, когда Северянин уже был обозначен «Принцем поэтов». Как известно, Анастасия Чеботаревская, жена Федора Сологуба, подарила ему книгу Оскара Уайльда «Афоризмы» (в переводе князя Д.Л. Вяземского) с дарственной надписью: «Принцу поэтов — Игорю Северянину книгу его гениального брата подарила Ан. Чеботаревская. Одесса, 17/III-1913». Есть строки о высоком титуле и у самого Северянина — «Прощальная поэза», написанная годом ранее, в 1912-м, начиналась словами:

Я так устал от льстивой свиты  
И от мучительных похвал...  
Мне скучен королевский титул,

Которым Бог меня венчал.

Оставалось только законно получить титул «короля поэтов», что и произошло через пять лет. Однако сам «король» весьма трезво оценивал ситуацию. Об этом опять же свидетельствуют его стихи «Самопровозглашение» (1919):

Еще семь дней, и год минует, —  
Срок «царствованья» моего.  
Кого тогда страна взыскует:  
Другого или никого?  
Где состоится перевыбор  
Поэтов русских короля?  
Какое скажет мне спасибо  
Родная русская земля?  
И состоится ли? — едва ли:  
Не до того моей стране, —  
Она в мучительном развале  
И в агоническом огне.  
Да и страна ль меня избрала  
Великой волею своей  
От Ямбурга и до Урала?  
Нет, только кучка москвичей.  
А потому я за неделю  
До истечения срока сам  
Все злые цели обесцелю,  
Вернув «корону» москвичам.  
Я отрекаюсь от порфиры  
И, вдохновляем февралем,  
За струнной изгородью лиры,  
Провозглашаюсь королем.

Спустя год после своего триумфа Игорь-Северянин оставался верен себе, своим убеждениям и внутренней свободе. Благодаря его стихам мы и сегодня различаем напряженную атмосферу того памятного вечера.

Это был последний акт «Царственного паяца». В России 1920-х годов паяцам и комедиантам было делать нечего. Да и самому Игорю

Васильевичу порядком надоела эта роль. Он становился грустнее, задумчивее, лиричнее, на первый план вновь выходил тот самый природный русский патриотизм, которым он был одарен с детства и который никуда не уходил, оставаясь в глубине его души даже в самые «ананасные» времена.

Исчезли принцессы и будуары, остались любимая им северная природа и надежда на будущее:

Мы жили — не жили, пожалуй, слишком долго,

Удобно-тусклой верою греша;  
Огимни, вечер, сокровение восторга —  
Да встрепенется спящая душа!  
Услышим заповедь беззвучного бельканто,  
Омоет светопадом красота, —  
Возьмемся за руки у алтаря заката,  
И тихо скрипнут царские врата...

На место кринолинов и грезерок в поэзию Игоря-Северянина вошла его родная Россия.

Я мечтаю, что Небо от бед  
Избавленье даст русскому краю.  
Оттого, что я — русский поэт,  
Оттого я по-русски мечтаю!

(«Я мечтаю», 1922)

Уезжая с больной матерью в 1918-м от революции в Тойла, поэт думал, что останется там ненадолго, переждать смуту, но оказалось (кроме короткой «королевской» поездки в Москву), что навсегда. В России, особенно в литературной среде, осталось лишь двусмысленное воспоминание о каком-то якобы короле российской пошлости. Да еще скверные цитаты из Маяковского:

Знаете ли вы, бездарные, многие,  
думающие, нажраться лучше как, —  
может быть, сейчас бомбой ноги

выдрало у Петрова поручика?..  
Если б он, приведенный на убой,  
вдруг увидел, израненный,  
как вы измазанной в котлете губой  
похотливо напевае́те Северянина!  
Вам ли, любящим баб да блюда,  
жизнь отдавать в угоду?!  
Я лучше в баре блядям буду  
подавать ананасную воду!

*(«Вам!»)*

Кстати, любители подобных цитат из Маяковского забывают, что стихотворение «Вам!» 1915 года и принадлежит к тем же урапатриотическим стихам периода Первой мировой войны. Поздних стихов Игоря-Северянина, 1920-х — 1940-х годов, в советское время практически не знали. Да и сейчас из школьных учебников и вузовских лекций к читателю в основном приходит все тот же упрощенный эпатажно-фельетонный Северянин. Хотя и такой он ценен и России, и русской культуре.

Игорь-Северянин — легкий поэт с тяжелой жизнью.

## Футурналия Северянина

Думаю, уже во всех учебниках русской литературы в разделе о поэзии XX века есть главка об эгофутуризме. Литературоведы дотошно разбирают и анализируют все его лозунги. Им так положено. Но существовал ли на самом деле эгофутуризм как литературное направление? Даже возникший немного позже кубофутуризм имеет четкие очертания, известных лидеров, свои каноны и свои явные примеры, от крученыховского «Дыр бул щыл...» до хлебниковского «Бобэоби пелись губы...», от бурлюковского «Мне нравится беременный мужчина» до Маяковского «Я люблю смотреть, как умирают дети...».

Ничего этого в эгофутуризме не было, пиши ты хоть сто учебников. В эгофутуризме, придуманном Игорем-Северянином в 1911 году, есть лишь он один, яркий и талантливый поэт. Он сам пишет в стихотворном манифесте «Пролог. "Эгофутуризм"» о создании своей новой поэтической школы: «Природа, Бог и люди — эгоисты: Я — эгоист» («Поэза истины»).

Думаю, не случайно тогда же Николай Гумилев собирал группу единомышленников, в 1911 году оформившуюся в объединение «Цех поэтов», а в 1912-м прозвучало название нового направления — акмеизм. Скоро о своем кубофутуризме заговорили и Маяковский с Бурлюком.

Само время подталкивало к созданию литературных группировок. Хотя к футуризму итальянца Маринетти Игорь-Северянин никакого отношения не имел, ему понравилось это новое иностранное слово. Позже Северянин писал: «В отличие от школы Маринетти я прибавил к этому слову (футуризм) приставку "эго" и в скобках: "вселенский"».

Никакой творческой или организационной программы северянинский эгофутуризм не имел: «...Лозунгами моего эгофутуризма были: 1. Душа — единственная истина. 2. Самоутверждение личности. 3. Поиски нового без отвергания старого. 4. Осмысленные неологизмы. 5. Смелые образы, эпитеты, ассонансы и диссонансы. 6. Борьба со "стереотипами" и "заставками". 7. Разнообразие метров».

Поэт провозглашал ценность каждой личности: «Жизнь человека одного — / Дороже и прекрасней мира», отмечал двойственность мира: «И в зле — добро, и в добром — злоба», выводил иерархию настоящих ценностей: «Любовь! Россия! Солнце! Пушкин! — Могущественные слова!»

Нечто подобное мог бы сказать любой талантливый русский поэт в

любые времена. Будучи в самом деле искренним эгоистом и в жизни, и в творчестве, он чурался разных групп и объединений.

Полагаю, что на мысль о создании эгофутуризма как собственного поэтического направления Северянина натолкнул его младший друг, сын столь любимого им Константина Фофанова — Константин Олимпов. Есть основания считать, что и слово «поэза», и сам кружок «Эго» были предложены Олиповым. Именно Олимпов выдвинул идею написать тезисы «Эгопоэзии Вселенского Футуризма» (каждое слово непременно с большой буквы). «Нервы у нас наполняются трансом, — вспоминал Олимпов. — Восторгаемся чеканкой афоризмов и после написания теории желаем немедленно сдать в типографию».

Позже они и рассорились из-за взаимных претензий на первенство. Закончилось это тем, что Игорь-Северянин назвал в стихах своего бывшего друга, сына обожаемого им Фофанова, Иудой: «Я зрил в Олимпове Иуду, / Но не его отверг, а — месть...»

Вадим Крейд в содержательном жизнеописании Георгия Иванова подтверждает первенство Олипова: «Олимпов обожал творчество своего отца, а себя считал его последователем и в то же время самым первым в России футуристом, оспаривая пальму первенства у Игоря Северянина. Кое в чем приоритет действительно принадлежал ему, а вовсе не лидеру эгофутуристического течения. Слово "поэза" — отличительная этикетка эгофутуризма — придумано было не Северянином, как обычно считают, а Константином Олиповым. На похоронах Фофанова Иванов прочитал надпись на венке, который возложил его сын Константин: "Великому психологу лирической поэзы". Когда Георгий Иванов готовил свое "Отплытье на о. Цитеру" к печати, то написал на титульном листе подзаголовок: "Поэзы. Книга первая". Это слово имело для него свой день рождения, когда он впервые его узнал — 19 мая 1911 года, день похорон Фофанова. Издательская марка Ego, которую видим на титульном листе "Отплытья...", — девиз кружка, написанный от руки и заключенный в равносторонний треугольник. Эта марка изобретена Олиповым».

Вот его характерные стихи:

Тройка в тройке колокольной. Громко, звонко пьяной тройке.  
Колокольни колокольной. Колокольчик бойкой тройки.  
В тройке тройка пой, как тройка. Звонко, громко, пьяно, тройко!  
Колокольчик колокольный. Колокольни, колокольной!!!  
Колокольчик звонче тройки. Колокольная колокольни!

Тройка тройкой колокольней! В тройке тройка пьяной тройки.

(«Тройка в тройке», 1912)

К сожалению, Константина Олимпова никак не назовешь крупным поэтом. Он и его друзья, вольно или невольно, работали на прославление Игоря-Северянина. Никакой не теоретик, даже не организатор, Игорь-Северянин обладал тонкой интуицией и ощущением будущего. Он поддерживал группу своих молодых друзей до тех пор, пока они были ему нужны. Уже в 1912 году он разочаровался в Академии Эгопоэзии и покинул ее, опубликовав свой «Эпилог» — эпилог эгофутуризма, не скрывая: «Я выполнил свою задачу...» Так что путь Игоря-Северянина, как эгофутуриста, был недолог: между «Прологом» и «Эпилогом» прошел всего один год. В своем известнейшем «Эпилоге» он описывает этот период:

Я, гений Игорь-Северянин,  
Своей победой упоен:  
Я повсеградно оэкранен!  
Я повсесердно утвержден!  
От Баязета к Порт-Артуру  
Черту упорную провел.  
Я покори́л Литерату́ру!  
Взорил, гремящий, на престол!  
Я — год назад — сказал: «Я буду!»  
Год отсверкал, и вот — я есть!  
Я зрил в Олимпове Иуду,  
Но не его отверг, а — месть.  
«Я одинок в своей задаче!» —  
Прозренно я провозгласил.  
Они пришли ко мне, кто зрячи,  
И, дав восторг, не дали сил.  
Нас стало четверо, но сила  
Моя, единая, росла.  
Она поддержки не просила  
И не мужала от числа.  
Она росла, в своем единстве  
Самодержавна и горда, —  
И, в чаровом самоубийстве,

Шатнулась в мой шатер орда...  
От снегоскалого гипноза  
Бежали двое в тлен болот;  
У каждого в плече заноза, —  
Зане болезнен беглых взлет.  
Я их приветил: я умею  
Приветить все, — божи, Привет!  
Лети, голубка, смело к змею!  
Змея! обвей орла в ответ!..

Все помнят лишь начало знаменитого «Эпилога» — «Я, гений Игорь-Северянин...», забывая, что в стихотворении подробно описывается вся краткая история эгофутуризма. Помимо Северянина в группу входили поэты Константин Олимпов, Георгий Иванов, Стефан Петров (Грааль-Арельский), Павел Кокорин, Павел Широков, Иван Лукаш, Вадим Баян, Сергей Алымов, Георгий Шенгели, Рюрик Ивнев, Вадим Шершеневич, Василиск Гнедов, Иван Игнатъев и другие. Как и стоило ожидать от Игоря-Северянина, предтечами эгофутуристов были объявлены такие отнюдь не авангардистские поэты «старой школы», как Мирра Лохвицкая и Константин Фофанов.

Скажем пару слов о временных соратниках Игоря-Северянина.

После северянинского отказа от эгофутуризма в 1912 году идею уже ставшего модным течения подхватил двадцатилетний Иван Игнатъев, создав «Интуитивную ассоциацию эгофутуристов», куда вошли П. Широков, В. Гнедов и Д. Крючков. Они выпустили свой манифест «Грамата», где обозначили эгофутуризм как «непрестанное устремление каждого Эгоиста к достижению возможностей Будущего в Настоящем посредством развития эгоизма».

Молодые ребята хулиганили как хотели. Публицист Дмитрий Философов вспоминал: «В. Гнедов, в грязной холщовой рубахе, с цветами на локтях, плюет (в буквальном смысле слова) на публику, кричит с эстрады, что она состоит из "идиотов"...» Жаль, сам Василиск Гнедов, донской казак, доживший до 1978 года, не оставил нам никаких воспоминаний, ему было о чем вспомнить. Пора бы для истории издать сборнички стихов всех эгофутуристов, к примеру, того же Гнедова, который писал: «Выступают жаворонки ладно *Обратив коготья пухирядна* Преподав урок чужих законов *Ковыляют лоном кони* Когтем сжимая солнце *Положив язык на грани*. Может был проездом на Уране *А теперь*

*петля кобыле* Были ноги было сердце /Были...» (1914).

Иван Игнатъев поначалу активно взялся за дело: писал рецензии, стихи, сочинял теорию эгофутуризма. В 1912 году он основал первое эгофутуристическое издательство «Петербургский глашатай», которое выпустило первые книги Рюрика Ивнева, Вадима Шершеневича, Василиска Гнедова, Грааль-Арельского и самого Игнатъева. Эгофутуристы печатались также в газетах «Дачница» и «Нижегородец». Идеологом движения стал художник и поэт Лев Зак, публиковавшийся под псевдонимом Хрисанф.

Встав во главе «Интуитивной ассоциации эгофутуристов», Игнатъев выпустил книгу статей «Эгофутуризм» и стихотворный сборник «Эшафот. Эгофутуры».

Но новый глава эгофутуризма Игнатъев тоже продержался недолго, его последним творческим актом было продуманное самоубийство в 1914 году.

После самоубийства Игнатъева «Петербургский глашатай» прекратил свое существование. Основными эгофутуристическими издательствами становятся московский «Мезонин поэзии» Вадима Шершеневича и петроградский «Очарованный странник» Виктора Ховина.

Начинал среди эгофутуристов, напомним, и такой ныне известный поэт, как Георгий Иванов, вскоре перешедший к акмеистам; позже он стал одним из крупнейших поэтов русской эмиграции. Как он прибил к эгофутуристам, одному Богу известно, тем более что одновременно он сблизился и с гумилевским «Цехом поэтов».

Игорь-Северянин вспоминает о своем знакомстве с Георгием Ивановым:

«В мае 1911 г. пришел со мной познакомиться юный кадетик — начинающий поэт... Был он тоненький, щупленький. Держался скромно и почтительно, выражал свой восторг перед моим творчеством, спрашивал, читая свои стихи, как они мне нравятся. Надо заметить, что месяца за три до его прихода ко мне стали в некоторых Петербургских журналах появляться стихи за его подписью, и так как было в этих стихах что-то свое, свежее и приятное, фамилия, хотя и распространенная слишком, все же запомнилась... Принял молодого человека я по своему обыкновению радушно, и он стал частенько у меня бывать. При ближайшем тщательном ознакомлении с его поэтическими опытами я пришел к заключению, что кадетик, как я и думал, далеко не бездарен, а наоборот, обладатель интересного таланта».

Историк эмигрантской литературы Вадим Крейд размышляет о связи Иванова с Северянином: «"Кадетик" стал бывать на Подьяческой при

каждом удобном случае. Слушал стихи, восхищался, но чувства двоились. Чары ритма, даже какого-то шаманства и при этом опереточный мотивчик из Амбруаза Тома, о котором сам Северянин сказал: "Его мотив для сердца амулет, / А мой сонет — его челу корона"...»

Далее Крейд продолжает: «Возобновились и его встречи с Игорем Северянином. Вместе выступали на "поэзовечерах" в каких-то залах на городских окраинах. По совету Северянина, Жорж повязывал на шее алый бант, перед тем как выйти на эстраду. К броским аксессуарам Игорь Васильевич не был равнодушен, как и многие другие. Подкрашенные губы Гумилева, дендизм Кузмина, бакенбарды Мандельштама, желтая кофта Маяковского, "классическая шаль" Ахматовой, одежда оперного Леля у юного Есенина — все это знаки эпохи, приметы одного порядка. Позднее, уже в эмиграции, Игорь Северянин ответил на "Китайские тени" Георгия Иванова очерком "Шепелявая тень". В нем он обиженно настаивал на том, что Георгий Иванов в своих воспоминаниях допускает неточности ("описывается"), и потому он, Игорь Северянин, берет на себя "роль корректора", который обязан исправить мемуары Г. Иванова. Одна из досадных "опечаток" — красный бант. По словам Северянина, Иванов надевал тогда не бант, а малиновый галстук».

Вадим Крейд иронически добавляет: «Впрочем, здравый смысл ему подсказывал, что литература, "в гуще" которой он оказался, все-таки второсортная. К примеру, среди группировавшихся вокруг Игоря Северянина поэтов был Степан Степанович Петров. По совету главы эгофутуристов он взял себе псевдоним Грааль Арельским Блок его назвал "кощунственным", ибо грааль — это святая чаша, в которую, согласно легенде, была собрана кровь Спасителя. Придумал Игорь Васильевич псевдоним и для Георгия Иванова — он хотел, чтобы тот именовался Жоржем Цитерским. Это звучало бы экзотично и всегда напоминало об авторстве сборника "Отплывье на о. Цитеру". У юного Георгия достало здравого смысла (в отличие от его старшего друга Степана Степановича), чтобы в ответ на предложение Северянина скромно промолчать. Когда Северянин в 1911-м сплотил кружок эгофутуристов, Грааль стал одним из "ректоров" этой группы, провозгласившей себя Академией Эгопоэзии. Название "Академия" в данном случае восходило к кругу Вячеслава Иванова, основавшего в 1909 году при журнале "Аполлон" Поэтическую академию...»

«Башня» Вячеслава Иванова, Цех поэтов Николая Гумилева, Академия Эгопоэзии Игоря-Северянина, а там еще и будетлянская «Ладья»... Было из чего выбрать молодым поэтам.

Завершу рассказ о северянинском кружке цитатой из книги Крейда: «Что думал об "эгопоэзии" Игорь Северянин, ее основатель? Он говорил: "Тайный эгоизм — страшный порок, открытый эгоизм есть истина". Примечательно, что гумилевский Цех поэтов и северянинская Эгоакадемия возникли одновременно. Обе группы не чуждались экзотики, в обеих заметен был элемент игры и ритуала. Во главе Цеха стояли синдики, во главе Академии эгопоэзии — ректоры. Этого титула удостоились четверо: сам основатель, затем Константин Олимпов... <...> Грааль Арельский и самый молодой из всех Георгий Иванов. Присвоение титулов происходило в октябре 1911 года, а в ноябре Грааль выпустил первый сборник стихов под вполне северянинским названием — "Голубой ажур". Книгу он послал Блоку и был ему представлен Георгием Ивановым. Большею частью стихи в книге слабые. Тем более примечателен добрый отзыв Блока в ответном письме Граалю Арельскому: "Давно имею потребность сказать Вам, что книжка Ваша (за исключением частных, особенно псевдонима и заглавия) многим мне близка". Близость объяснялась космической темой в стихах Грааля, астронома по профессии. Вас также "мучат звездные миры, как и меня, — писал ему Блок, — и особенно хорошо Вы говорите о звездах". В сборнике много наивных строк, и там, где говорится не о "звездных мирах", книгу населяют инфанты, маркизы, египетские жрицы, демонические личности. Неожиданный вывод сделал Гумилев в опубликованной в "Аполлоне" рецензии: хотя у Грааля Арельского нет своей темы, его "Голубой ажур" написан со вкусом. Вывод тем более странный, что "вкус" — высшая категория в шкале оценок Гумилева...»

Вскоре Георгий Иванов из Академии Эгопоэзии перешел в гумилевский Цех поэтов и предложил Северянину последовать его примеру. Он даже привел на встречу с Северянином Николая Гумилева. Николай Степанович сказал Северянину, что дверь в Цех поэтов для него открыта, чем смертельно его обидел: «Вводить меня — самостоятельного и независимого — в Цех, где кувыркались жалкие посредственности, было действительно нелепостью, и приглашение меня в Цех Гумилевым положительно оскорбило меня. Гумилев был большим поэтом, но ничто не давало ему право брать меня в ученики».

Думаю, Игорь-Северянин обиделся напрасно, в ученики Гумилев его не собирался брать, но и в общее гумилевское братство самолюбивый и эгоистичный Северянин идти не собирался.

Уже в октябре 1912 года Георгий Иванов вместе с Граалем Арельским опубликовали в «Аполлоне» письмо-отречение от эгофутуризма и сообщили о своем переходе в гумилевский Цех поэтов.

Да и другие эгофутуристы после ухода от них Игоря-Северянина быстро выдохлись — или сменили направление, или перестали вовсе писать. Правда, Константин Олимпов пытался записывать историю их движения: «16 января 1912 года выработали устав Академии Эгопоэзии. В выработке пунктов принимали участие: Игорь, я и Георгий Иванов. Альманахи, сборники в издании Академии Эгопоэзии приняли называть нервниками по взаимному соглашению, накануне, меня с Игорем».

Этот свой устав с разъяснениями напечатали в количестве 510 экземпляров и разослали по московским и петербургским изданиям. Но когда вскоре после этого Вадим Шершеневич из Москвы обратился к Северянину за разъяснением слова «эгофутуризм», он уже получил следующий ответ:

«Любезный почитатель!

Издательство "Эго" ликвидировано и книги распроданы. Был бы рад исполнить ваш заказ, но уввы!

Пишите, я оботвечу все вопросы.

Ликвидатор "Эго" — Лотарев».

Сергей Кречетов («Гриф») писал о соратниках Северянина: «Если в Игоре Северянине, с его подлинным небом данным талантом, можно еще откуда-то принять его самовосхваления, не прибавляющие, впрочем, ровно ничего к его поэтической ценности, то из этого вовсе не следует, что объявлять себя великим вправе любое ничтожество. Северянин один, Вадимов Шершеневичей меряют гарнцами, как овес».

Литературоведы Вера Терехина и Наталья Шубникова-Гусева в научной биографии Игоря-Северянина пишут: «Северянин складывается как поэт со своей собственной программой уже в 1908—1912 гг. Создавая школу эгофутуризма, он заботился об обновлении поэтического языка. В письме от 2 июля 1911 г. Богомолу поэт излагает свою теорию рифмы. "'Непредвиденность' доказывает жизненность, а потому надобность ассонанса. Возьмем народную пословицу, притом — первую пришедшую на ум: 'Жизнь пережить — не поле перейти' — 'жить' и 'ти', что ни говорите, ассонансы, хотя и плоские. Основываясь на 'народном слухе', как наиболее непосредственном, мы можем — и, может статься, должны?.. — ввести в поэзию новую форму дисгармонической рифмы, а именно диссонанс. Пословица блестяще это подтверждает: Тише едешь — дальше будешь'. Спрашивается, как же назвать — 'едешь' = 'удешь', если не диссо? Найдите в моих 'Электр<ических> стих<ах>' 'Пятицвет'; — Вы найдете целый цикл подобных стихотворений. Надо иметь в виду, что ухо шокировано этим новшеством только сначала; затем оно привыкает. Отчего

можно произвести пословицу на диссо без предвзятого чувства, и отчего нельзя прочесть стихи в диссо, не смущаясь?"

Северянин называл себя в стихах "самоучкой-интуитом", но с первых сборников проявлял интерес к вопросам стихотворного мастерства. В "Автопредисловии" к 8-му изданию "Громокипящего кубка" поэт писал: "Работаю над стихом много, руководствуясь не только интуицией..."

Не желая писать "примитивно", он сознательно экспериментировал со словом, стихом и рифмой. Особый интерес представляют десять придуманных Северянином новых строфических форм: миньонет, дизель, кэнзель, секста, рондолет, перекаат, квадрат квадратов, квинтина, перелив, переплеск, которые поэт использовал в своем творчестве и описал в "Теории версификации" (1933 <...>).

Эта работа дает интересный материал авторского самоосмысления, но не достаточно изучена исследователями стиха. Серьезное внимание привлекают и лексические неологизмы Северянина. Их анализ позволяет сделать вывод о единстве творческого мира поэта, для которого возвращение к классической традиции в эстонский период не означало отказа от словотворческих экспериментов 1910-х гг.».

Собраны в этой научной биографии и все известные высказывания эгофутуристов друг о друге. Вадим Шершеневич писал о Северянине: «Одет Северянин был в черный сюртук, довольно вытертый и бедный, но держался в нем так, будто сознательно копировал Джорджа Браммеля, впавшего в бедность. Говорил он немного. От всех теоретических вопросов отмалчивался, иронически ругая Москву и восхваляя Петербург. Лицо было стылое и невыразительное, а глаза выцветшие, как у курицы... Эти глаза оживлялись только тогда, когда Северянин хвалил себя, значит, глаза оживлялись часто...»

Приведу довольно резкие, но справедливые высказывания Корнея Чуковского об эгофутуристах и их лидере («Футурист»):

«Странно. Неужели и он футурист? Вот никогда не подумал бы. В чем же его футуризм? Может быть, в этих кексах и журфиксах? Или в русско-французском жаргоне? Но тогда ведь и мадам Курдюкова, которой уже скоро сто лет ("Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границей дан л'этранже" появились впервые в 1840 г.), такая же футуристка, как он. Однако мадам Курдюкова никогда не говорила о себе: "Я литературный Мессия... Моя интуитивная школа — вселенский эгофутуризм".

Это говорил о себе господин Северянин. В "Громокипящем кубке" мы беспрестанно читали, что он триумфатор-новатор:

Я, гений Игорь-Северянин,  
Своей победой упоен, —

и когда любимая женщина усомнилась в его победе, он чуть не задушил ее за это:

Немею в бешенстве, — затем, чтоб не убить!

Так твердо он был уверен, что победа за ним. "Новатор в глазах современников — клоун, в глазах же потомков — святой!" У него были ученики и апостолы, был даже, как увидим, Иуда; в разных газетах и журналах возглашали о нем: "Отец Российской эгопоэзии. Ядро Отечественного футуризма! Ее Первосвященник, Верховный Жрец!"

А мы перелистали его книгу, — и где же были наши глаза? — никакого футуризма не увидели. В книге были откровения грядущих веков, а мы только и слышали — романсы! Пред нами был пророк, а мы думали: тенор. Мы думали, что он романтик, продолжатель Бальмонта и Виктора Гофмана, а он, оказывается, стоял на Синае с какими-то скрижалями в руках. И на этих скрижалях начертано:

"Вселенский эгофутуризм... Грядущее осознание жизни... Интуиция... Теософия... Призма стиля — реставрация спектра мысли... Признание эгобога... Обет вселенской души", — и так дальше, в таком же роде. Почему же мы, несколько раз перечтя его книгу, ни в одной строке не нашли футуризма? О, критики, слепые кроты! Недаром Северянин и вся его свита ругают нас последними словами. "Нечистоплотная дрянь, стоящая у кормила оценки!" — так пишут они о нас.

— "Вурдалаки, гробокопатели... паразиты!"

Вникнем же как можно почтительнее в эти их катехизисы, заповеди, декларации, манифесты, доктрины, скрижали, постараемся без желчи, без хихиканья понять эту загадочную секту».

Корней Чуковский не видел ни в Северянине, ни в его окружении новаторов и футуристов, и он был, на мой взгляд, абсолютно прав, при этом критик не отрицал сам талант Северянина:

«Только по недоразумению его можно считать футуристом. В сокрушители старого он не годится. Футуристическое буйство не по нем. Он консерватор, бережливый охранитель былого; в своих стихах он воспекает и Карамзина, и Гончарова, и Тургенева, и даже Жемчужникова.

Он чтит своих духовных предков — Фофанова, Мирру Лохвицкую, Ростана, Амбруаза Тома — и счел бы кощунством отречься от них. Всякое глумление над прошлым кажется ему преступлением:

Позор стране, встречавшей "ржаньем"  
Глумленье надо всем святым,  
Былым своим очарованьем  
И над величием своим!

*("Поэза истребления")*

Если бы он был футурист, он никогда не написал бы этих строк. Правда, незадолго до того он попробовал было замахнуться на Пушкина, но сейчас же спохватившись, благоговейно поклонился ему:

Да, Пушкин стар для современья,  
Но Пушкин Пушкински велик.

Иначе и быть не могло. Мог ли Петербург, — Санкт-Петербург, — с его традиционным историзмом, с его Сомовым, Блоком, Эрмитажем и Царским Селом, взрастить на своих строгих гранитах хоть одного футуриста! Милые эгопоэты: Дмитрий Крючков, Вадим Шершеневич, Павел Широков, Рюрик Ивнев, Константин Олимпов и другие, подобно своему вождю Северянину, были просто модернисты-эклектики, разве что немного подсахарившие наш приевшийся пресный модерн. Они и сами не скрывали этого и любили игриво указывать, кто из них подражает Бальмонту, кто З. Гиппиус, кто Александру Блоку... Футуризм, в сущности, был их игрой, и почему же в восемнадцать лет не сочинять манифестов!

Игра оказалась во благо; мы видели, сколь плодотворны были их словесные новшества. Года за два до войны все они разбрелись кто куда, но долго еще в покинутых руинах озер замка бродил Василиск Гнедов, личность хмурая и безнадежная, несколько не эгопоэт, в сущности, переодетый москвич, кубофутурист, бурлюкист, ничем не связанный с догматами петербургской эгопоэзии. Но вскоре исчез и он, и от эгофутуризма ничего не осталось».

Впрочем, какие-то их совместные выступления, встречи, издания продолжались до 1916 года. Они все-таки нуждались друг в друге. Первые

годы существования эгофутуристы поддерживали отношения и с московскими кубофутуристами, эта дружба-противостояние продолжалась и в совместных гастролях по Крыму, в подписании общих манифестов. Продолжал вплоть до 1916 года выходить журнал эгофутуристов «Очарованный странник», всего вышло десять выпусков, где были опубликованы среди прочих стихи и Игоря-Северянина, и Владимира Маяковского. О кратковременной дружбе московских «будетлян», кубофутуристов и питерских более утонченных эгофутуристов позже написал самый крутой кубофутурист Алексей Крученых:

«В начале 1914 года мы резко заявили об этом в сборнике "Рыкающий Парнас", в манифесте "Идите к черту!". Он малоизвестен, так как книга была конфискована за "кощунство".

В ней впервые выступил Игорь Северянин совместно с кубофутуристами. Пригласили его туда с целью разделить и посорить эгофутуристов — что и было достигнуто (здесь Крученых лихо фантазирует; разошлись эгофутуристы задолго до этого, в 1912 году. — В.Б.), а затем его "ушли" и из компании "кубо". Манифест подписал и Северянин — влип, бедняга!»

На самом деле «влип» Игорь-Северянин не случайно, а осознанно, и в хорошую компанию подписантов манифеста: Давид Бурлюк, Алексей Крученых, Бенедикт Лившиц, Владимир Маяковский, Велимир Хлебников. По крайней мере трое из них — наши русские гении: Маяковский, Северянин, Хлебников. Жаль, что Сергея Есенина не включили в свою компанию.

В результате этого «влипания» в 1914 году Игорь-Северянин вместе с Маяковским, Каменским и Бурлюком поехали в турне по России, но об этой поездке — уже в следующей главе.

## Два великана: Северянин и Маяковский

Они на самом деле выделялись среди поэтов ростом, оба под два метра, рядом с ними все другие казались карликами. Великанами, но по-разному и в разное время, они были и в поэзии.

Когда они познакомились в 1913 году, один — Игорь-Северянин — был на гребне славы, другой — Владимир Маяковский — только начинал свой поэтический путь. Маяковский, не скрывая, ревниво подсматривал за поведением Северянина на эстраде, перенимал приемы. Как вспоминал сам Игорь-Северянин: «Странно: теперь я не помню, как мы познакомились с Володей; не то кто-то привел его ко мне, не то мы встретились на одном из бесчисленных вечеров-диспутов в СПб. Потом-то он часто заходил ко мне запросто. Бывал он всегда со мною ласков, очень внимателен сердцем и благожелателен ко мне. И это было всегда. В глаза умел говорить правду не оскорбляя; без лести хвалил. С первых же дней знакомства вышло само собой так, что мы стали говорить друг другу "ты". Должен признаться, что я мало с кем был на "ты"...»

Общие знакомые позже уточнили место и время их первой встречи. Познакомила их общая подружка Софья Шамордина (Сонка): «После моего знакомства с Маяковским Северянин признал и Маяковского. Я уж не помню, как я их познакомила. Маяковский стал иногда напевать стихи Северянина. Звучало хорошо. Кажется, были у них общие вечера и на Бестужевских курсах...» Вспоминал об их первых встречах и Корней Чуковский.

Надо отдать должное художественному чутью Северянина: он очень быстро оценил гениальность своего молодого друга. Когда эгофутуристы готовились к гастрольной поездке по югу России с проведением «Первой олимпиады российского футуризма», Игорь-Северянин писал меценату поездки Вадиму Сидорову, тоже баловавшемуся стихами под псевдонимом Вадим Баян: «Я на днях познакомился с поэтом Владимиром Маяковским, и он — гений. Если он выступит на наших встречах, это будет нечто грандиозное. Предлагаю включить в нашу группу».

Включили, и эта поездка навсегда осталась в истории литературы. Позже, в 1923 году, уже в Эстонии, Северянин вспоминает об их встречах:

Мой друг, Владимир Маяковский,  
В былые годы озорник,

Дразнить толпу любил чертовски,  
Показывая ей язык.

.....

Его раскатный, трибунальный,  
Толпу клонящий долу бас  
Гремел по всей отчизне сальной,  
Где поп, жандарм и свинопас.  
В те годы черного режима  
Мы подняли в искусстве смерч.  
Володя! Помнишь горы Крыма  
И скукой скорченную Керчь?

.....

Ты помнишь нашу Валентину,  
Что чуть не стала лишь моей?!  
Благодаря тебе я вынул  
Из сердца «девушку из фей»...  
И, наконец, ты помнишь Сонку,  
Почти мою, совсем твою,  
Такую шалую девчонку,  
Такую нежную змею?..  
О, если ты, Владимир, помнишь  
Все эти беглые штрихи,  
Ты мне побольше, погромней  
Швырни ответные стихи!

*(«Владимиру Маяковскому»)*

Конечно, были между поэтами и ссоры, была и взаимная зависть, сначала Маяковского к Северянину, затем по мере роста популярности Маяковского и забывания Северянина уже Игорь-Северянин с завистью следил за мировой известностью младшего друга. Но и в ссорах их, и в обоюдных поэтических колкостях никогда не было ненависти и злости.

Еще во время их первых гастролей по югу России Северянин якобы вдруг почувствовал неталантливость Маяковского. А может быть, Северянину надоели его вечные остроты и подшучивания. К примеру, читает Северянин со сцены свою поэму: «олазорим, легко олазорим...», и тут же за сценой бас Маяковского: опозорим, опозорим... Так когда-то Михаил Лермонтов иронизировал над своими приятелями,

доиронизировавшись до дуэли. К счастью, Северянин, преисполненный величия, редко злился, но отношения на время портились. Однако и Маяковского понять можно, поэты ревнивы к славе собратьев. Компании эго-и кубофутуристов то объединялись и подписывали общие манифесты, то расходились и пикировались друг с другом.

Читаем в заметках Северянина: «Полному объединению "Эго" и "Кубо" всегда мешали и внешние признаки вроде цветных одежд и белизны на щеках. Если бы не эта деталь, мыслили бы футуризм воедино под девизом воистину "вселенского". (Мой "Эго" назывался "вселенским".) Никаких ссор между мною и Володей не бывало: бывали лишь временные расхождения. Никто из нас не желал уступить друг другу: "Молодо-зелено" — Жаль!»

Впрочем, литературная среда одинакова во все времена. Игорь-Северянин писал про желтые кофты футуристов:

Позор стране, поднявшей шуму  
Вкруг шарлатанов и шутов!  
И похлеще:  
Они — возможники событий,  
Где символом всех прав — кастет...

Это был завуалированный ответ Маяковскому на его насмешку над сотоварищем:

Как вы смеее называться поэтом  
И, серенький, чирикать, как перепел!  
Сегодня  
Надо  
Кастетом  
Кроиться миру в черепе!

Игорь-Северянин в нежных чувствительных романсах воспевал свою избранницу Тиану. Так — «Тиана» — называлось одно из «романсовых» стихотворений Игоря-Северянина. По звукописи самое имя девушки, рефреном повторяющееся в стихотворении — Тианы-снегурки, нимфеи, лианы, пришедшей на Поэзоконцерт и воскресившей юные чувства, напоминало стоны гитары.

Тиана, как больно! Мне больно, Тиана!

В ответ на эту тонкую лирику Маяковский откликнулся в «Облаке в штанах»:

Поэт сонеты поет Тиане,  
А я —  
Весь из мяса,  
Человек весь —  
Тело твое просто прошу,  
Как просят христиане —  
«хлеб наш насущный даждь нам днесь»...

В противовес изысканной поэзии Серебряного века, уютной домашней лирике, от Бальмонта до Северянина, Маяковский бросает пулеметные очереди своих резких слов:

«...Мы пять лет орали вам, что у искусства есть задачи выше, чем облегчение выбора ликеров по прейскурантам Северянина или щекотание отходящего ко сну буржуа романами Вербицкой... Конечно, каждому приятно в розовенькой квартирке пудрой Бальмонта надушить дочку, заучить пару стихов Брюсова для гражданского разговора после обеда, иметь жену с подведенными глазами, светящимися грустью Ахматовой, но кому нужен я, неуклюжий, как дредноут, орущий, как ободранный шрапнелью!..»

Время показало, что противопоставление мнимое, миру и человеку нужны и северянинские романсы, и лирика Анны Ахматовой, и созидание нового поэтического пространства Маяковским. Понял это и сам Маяковский.

Впрочем, и по поводу серенького перепела Игорь-Северянин уточнил:

Я — соловей, я — сероптичка,  
Но песня радужна моя.  
Есть у меня одна привычка:  
Влечь всех в нездешние края.  
.....  
...Я — соловей, и, кроме песен,  
Нет пользы от меня иной.

Я так бессмысленно чудесен,  
Что Смысл склонился предо мной!

(«Интродукция», 1918)

Если честно, то sereneким его никак не назовешь. Но эти взаимные выпады и усмешки продолжались, пока шло их поэтическое соревнование друг с другом. Поводы находились самые разные. Скажем, во время совместных гастролей по Крыму, в Керчи Северянина возмутили цветные жилетки и оранжевые кофты кубофутуристов: «Маяковский и Бурлюк дали мне слово выступать в обыкновенном костюме — лица не раскрашивать. Однако в Керчи не выдержали. Маяковский облачился в оранжевую кофту, а Бурлюк в вишневый фрак при зеленой бархатной жилетке. Это явилось для меня полной неожиданностью. Я вспылал, меня с трудом уговорили выступить...»

«...<Маяковский>, — вспоминал Вадим Баян о поэтическом вечере в Симферополе, — истер в порошок крупнейших представителей символизма — Бальмонта и Брюсова, виртуозно перемешивая их стихи со стихами Пушкина и Державина и издевательски преподнося эту мешанину растерявшейся публике; он до крови исхлестал "лысеющий талант" Сологуба, который "выступлениями Северянина украшал свои вечера, как гарниром украшают протухшие блюда"; он искромсал длинный ряд корифеев поэзии и других направлений, противопоставляя им галерею футуристов. <...> Заряженный полнейшим отрицанием старого, поэт буквально истоптал самолюбие эстетической аудитории, но люди, подмятые ступнею мастодонта, засыпанные остроумием, израненные парадоксами, прощали оратору самые резкие издевательства... Словом, казалось, что пришел какой-то титан, который ухватил за шею нашу приземистую литературу и до хруста сдавил ей дряблое горло».

Я не совсем согласен с этими поздними и во многом субъективными воспоминаниями Вадима Баяна. В период этих гастролей имя Северянина было куда как более популярно, нежели имя Маяковского, что подтвердило и избрание именно Северянина уже в 1918 году «королем поэтов» в Москве. Стоит учитывать сложное отношение Вадима Баяна к Маяковскому, его к тому времени всемирную славу.

А вот как излагает их отношения критик Алла Марченко:

«Из скоропалительного альянса двух лидеров отечественного футуризма прочного творческого союза не получилось, Маяковский и

Северянин разочаровались друг в друге еще до окончания первой олимпиады футуристов. В Питер Игорь Васильевич вернулся печальным и внутренне одиноким, несмотря на громоподобный успех "Громокипящего кубка". О том, каково ему было во время этой, казалось бы, молодой и веселой крымской зимы, свидетельствует стихотворение "В гостинице", написанное в Симферополе в январе 1914 года:

И плачется, бесслезно плачется в номерной тиши кромешной  
О музыке, о девушках, обо всем, что способно цвести...

Северянин не случайно упоминает о музыке и девушках: черной кошкой, пробежавшей между ним и Маяковским, была девушка. Девятнадцатилетняя Софья Сергеевна Шамардина. С этой прелестной блондинкой Игорь Васильевич познакомился в Минске (Минск был отправной точкой рекламного турне, организованного Сологубом), встречались молодые люди и в Петербурге (Софья Сергеевна училась на Бестужевских курсах).

Софья Шамардина была не просто красива, она была не по возрасту смела и раскованна. И когда устроители поэтической олимпиады сообразили, что их "футуриаде" необходим "женский элемент", Северянин отправил в Петербург С.С. Шамардиной срочную телеграмму. Сонка тут же приехала и сразу же получила роль: артистки-футуристки Эсклармонды Орлеанской. Костюм для Эсклармонды сочинялся так: "Кусок черного шелка, серебряный шнур, черные шелковые туфли-сандалии были куплены в Гостином дворе. Примерка этого одеяния состоялась в присутствии Северянина и Ховина. 'Платье' перед концертом из целого куска накальвалось английскими булавками..." (из воспоминаний С.С. Шамардиной).

Для выступления в Екатеринославе Северянин сочинил специально для Софьи Сергеевны "Коляску Эсклармонды", тут же ставшую шлягером 1914 года. Зал, в основном молодежный, пришел в неистовство! Запеленутая в кусок черного шелка, "златоблондная" Сонка выглядела потрясающе!

В той же самой обстановке — возбужденной и театрализованной — родилась и первая строфа самого знаменитого стихотворения Северянина про ананасы в шампанском. История его возникновения — в воспоминаниях Вадима Баяна...»

Прерву цитирование, чтобы уточнить для читателя. Речь идет о

стихотворении «Увертюра» (1915), которое начинается строфой: «Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском! *Удивительно вкусно, искристо, остро?!* Весь я в чем-то норвежском! весь я в чем-то испанском! / Вдохновляюсь порывно! и берусь за перо!»

Итак, воспоминания Вадима Баяна:

«Чтобы развлечь товарищей... я устроил у себя на квартире "суаре"... В центре внимания были, конечно, Маяковский и Северянин. Маяковский был одет в розовый муаровый пиджак с черными атласными отворотами, только что сшитый у лучшего портного в Симферополе, и черные брюки. Поэт был во всеоружии остроумия. Твердость и острота его как-то не гармонировали с мягкой атмосферой музыки, пения и чтения стихов. В среде обычных людей он так же диссонировал, как... нож в киселе. Владимир Владимирович почти не садился, величаво переходил из комнаты в комнату, собирая вокруг себя цветники женского общества. Надо сказать, что дамы сильно смущались, когда он подходил к ним на расстояние одного вершка и опускал на них свои тяжелые глаза, но быть в обществе этого исключительного человека им было приятно... За столом Маяковский сидел рядом с моей сестрой — поэтессой Марией Калмыковой. По левую сторону у него был Северянин с дамой. Маяковский был весел и много острил... Когда на бокал сестры упал с цветочной вазы лепесток розы и повис на нем кудряшкой, Маяковский сказал ей:

— Ваш бокал с моим был бы точен, если бы не был олепесточен.

Варьируя и комбинируя кушанья, он надел на фруктовый ножичек кусочек ананаса и, окунув его в шампанское, попробовал. Комбинация пришлась ему по вкусу. Он немедленно предложил своей даме повторить его опыт и восторженно обратился к Северянину:

— Игорь Васильевич, попробуйте ананасы в шампанском, удивительно вкусно!

Северянин тут же сымпровизировал четыре строчки, игриво напевая их своей даме:

Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!  
Удивительно вкусно, искристо и остро!..»

О дальнейших событиях Игорь-Северянин рассказал в «Заметках о

Маяковском»: «Софья Сергеевна Шамардина (Сонка)... нравилась и мне, и Маяковскому. О своем "романе" с ней я говорю в "Колоколах собора чувств". О ее связи с В.В. я узнал от нее самой впоследствии. В пояснение оборванных глав "Колоколов собора чувств" замечу, что мы... вернулись вместе из Одессы в Питер. С вокзала я увез ее полубольную к себе на Среднюю Подъяческую, где она сразу же слегла, попросив вызвать к себе А.В. Романова (петербургского представителя "Русского слова"). Когда он приехал, переговорив с ней наедине, она, после визита присланного им врача, была отправлена в лечебницу на Вознесенском проспекте (против церкви). Официальное название болезни — воспаление почек. Выписавшись из больницы, Сонка пришла ко мне и чистосердечно призналась, что у нее должен был быть ребенок от В.В.».

«"Заметки о Маяковском" писались в сороковом году, четверть века спустя после неудавшегося романа с Сонкой, "Колокола..." — через десять (в 1925-м), — пишет далее Алла Марченко. — Время утишило и боль, и обиду. Но не настолько, чтобы мы ее не чувствовали между строк. Отвергнутый Северянин и спустя двадцать пять лет не забыл, в какой именно больнице сделала аборт изменившая ему женщина — на Вознесенском проспекте, напротив церкви! Маяковского он не осуждает и не обвиняет. Ни в том, что "отбил", прямо из-под носа увел любимую. Ни в том, что "поматросил и бросил", да еще и в интересном положении. Ибо — и сам не без греха. Со Златой и он поступил не лучше. Урок, однако, учел. И от "демона в желтой кофте" отодвинулся подальше, тем более что Софья Шамардина — не единственная женщина, которая в открытую предпочла ему Маяковского. В тех же "Заметках..." Игорь Северянин рассказывает и еще одну свою любовную историю, к крушению которой его великолепный друг, что называется, руку приложил. Речь идет о Валентине Ивановне Гадзевич, ей посвящено знаменитое его стихотворение "Валентина"».

По мнению Марченко, вопрос был не в женщинах или отношении к культуре. Важнее было то, что Маяковский во время выступлений в Крыму увидел в Северянине опасного соперника. «Нам это кажется невероятным, современники судили иначе и вернее, ибо внезапное превращение соратников и союзников в непримиримых антагонистов произошло у них на глазах и без видимых причин. Анна Ахматова, к примеру, Северянина не любила, но даже она утверждала, что именно этот "выскачка" был самым сильным и опасным соперником Маяковского. Того же мнения придерживался и Борис Пастернак: "Был (среди конкурентов Маяковского. — А.М.) также Северянин, лирик, изливавшийся непосредственно строфически, готовыми, как у Лермонтова, формами, и при всей

неряшливой пошлости поражавший именно этим редким устройством своего открытого, разомкнутого дара".

Все эти ситуации тем сильнее уязвляли самолюбие Северянина, что Маяковский был младше его на целых пять лет. Правда, внешне они выглядели ровесниками, Владимиру Владимировичу никто не давал его двадцати лет». Марченко приводит свидетельство Баяна: «Личная сила Маяковского затушевывала недостатки его скромного туалета. Он был похож на Одиссея в рубище. По ту сторону лица таились пороховые погреба новых идей и арсенал невиданного поэтического оружия. Его тяжелые, как гири, глаза... дымились гневом отрицания старого мира, и весь он был чрезвычайно колоритен и самоцветен, вернее — был похож на рисунок, который закончен во всех отношениях...»

Алла Марченко продолжает: «По крымским воспоминаниям о Маяковском в 1914 году, двенадцать лет спустя, для цикла "Медальоны" Северянин написал его портрет — в костюме "пресненского апаша", решительно не совпадающий с расхожими представлениями о лучшем и талантливейшем поэте советской эпохи. Особенно неожиданна концовка:

В нем слишком много удали и мощи,  
Какой полны издревле наши роци,  
Уж слишком он весь русский, слишком наш!

Защищая Маяковского от обвинений в "космополитизме", Северянин защищал и себя: несмотря на обилие иностранных словечек, его стихи — не просто русские, а, может быть, "слишком" русские!

Война 1914 года почти не изменила ни образ мыслей Северянина, ни тематику его стихов — и даже манеру поведения на эстраде, и это вызвало резкий выпад Маяковского. Предлогом послужил "поэзовечер" Северянина в Политехническом музее (21 декабря 1914 г.).

Меньше года прошло с той поры, как Маяковский утверждал, что "крем де виолетт" глубже, чем Достоевский, и вот что он пишет теперь: "О поэзии Игоря Северянина вообще сказано много. У нее много поклонников... Но зачем ко всему этому притянута война? Впечатление такое: люди объяты героизмом, роют траншеи, правят полетами ядер, и вдруг из толпы этих 'деловых' людей хорошенький голос: 'Крем де виолетт', 'ликер из банана', 'устрицы', 'пудра'! Ах да, это в серые ряды солдат пришла маркитантка. Игорь Северянин — такая самая маркитантка русской поэзии. Вот почему для выжженной Бельгии, для страдальца Остенде у него только

такие 'кулинарные' образы:

О, город прославленных устриц!

Поэтому и публика на лекции особенная, мужчины котируются как редкость: прямо дамская кофейная комната у Мюра и Мерилиза"...»

Самый пик взаимного соревнования Игоря-Северянина и Владимира Маяковского выпал на 1918 год — выборы в Москве в Политехническом музее «короля поэтов». Они оба пережили временный милитаристский угар в начале Первой мировой войны, оба достаточно быстро вернулись к своему пацифизму. Оба воспели Февральскую революцию и стали республиканцами. Критик М. Фридлянд писал в «Журнале журналов»: «Игорь, вы ли это?! Где принцессы ваши, где лимузины и ананасы? Он стал республиканцем, наш великий футурист. Воспевает Временное правительство и Совет Рабочих депутатов».

Игорь-Северянин и впрямь в ту пору проводил «Первые республиканские поэзовечера» и в Петрограде, и в Москве.

Независимо от него примерно так же эволюционировал и Владимир Маяковский. И вот они встретились 27 февраля 1918 года в переполненном зале Политехнического музея, где опытный организатор Долидзе устроил «Избрание короля поэтов», о котором я уже подробно рассказал.

Этот вечер и впрямь стал переломным в жизни и того, и другого. Вскоре Северянин уедет в эстонскую деревушку Тойла, увезет с собой только что изданный сборник стихов «Поэзоконцерт» со своей фотографией на обложке и надписью «Король поэтов Игорь Северянин» и постепенно будет успокаиваться после своих былых успехов и триумфов. Маяковский же, круто воспарив после этого поражения, скоро и впрямь станет первым поэтом в революционной стране и это место уже никому не уступит до конца дней своих, ревнуя разве что к народной славе Сергея Есенина.

Критик Михаил Лезинский рассказывает о последующих событиях: «В Москве в Настасьинском переулке с конца 1917 года около полугода существовало кафе поэтов. Однажды там появился Игорь Северянин. Об этом посещении остались воспоминания поэта Сергея Спасского...

Сергей Спасский пишет: "Однажды кафе посетил Северянин. В тот недолгий период он 'сочувствовал' революции и разразился антивоенными стихами. Это не помешало ему вскоре перекочевать за границу и навсегда порвать с российской действительностью. Но тогда пожинал он здесь последние лавры, призывая к братанию и миру. В военной гимнастерке, в солдатских сапогах, он прибыл обрюзглый и надменный. Его сопровождала жена — 'тринадцатая' и, значит последняя. Заикающийся, взлохмаченный

ученик, именованный почему-то 'Перунчиком'. И еще какие-то персонажи. Всю компанию усадили за столиком на эстраде. Маяковский поглядывал на них искоса. Он попросил Северянина почитать. Северянин пустил вперед 'Перунчика'. Тот долго представлялся публике. Читал стихи Фофанова и Северянина, посвященные ему самому. <...> Опустившийся, дикий и нетрезвый, читал он неинтересно и вяло. Был пьян и сам Северянин. Мутно смотря поверх присутствующих в пространство, выпевал въевшийся в уши мотив. Казалось, он не воспринимает ничего, механически выбрасывая хлесткие фразы. Вдруг покачивался, будто вот упадет. Нет, кончил. И, не сказав ни слова прозой, выбрался из кафе со всей компанией"».

В 1922 году поэты встретились в Берлине, и Маяковский горячо уговаривал Северянина вернуться в Москву. Обещал ему огромные тиражи, новые публикации. Может быть, так и было бы.

Северянин в «Заметках о Маяковском» вспоминает свои последние встречи с ним в Берлине:

«Осень. Октябрь на исходе. Сияет солнышко. Свежо. Идем в сторону...

— Или ты не узнаешь меня, Игорь Васильевич? — останавливает меня радостный бас Маяковского. Обнимаемся. Оба очень довольны встрече. С ним Б. Пастернак. Сворачиваем в ближайшую улицу, заходим в ближайший бар. Заказываем что-то легонькое, болтаем.

Маяковский говорит:

— Проехал Нарву. Вспоминаю: где-то близ нее живешь ты. Спрашиваю: "Где тут Тойла?" Говорят: "От ст. Меве в сторону моря". Дождлся Меве, снял шляпу и сказал вслух, смотря в сторону моря: "Приветствую тебя, Игорь Васильевич".

В день пятой годовщины советской власти в каком-то большом зале Берлина — торжество. Полный зал. А. Толстой читает отрывки из "Аэлиты". Читает стихи Маяковский, Кусиков. Читаю и я "Весенний день", "Восторгаюсь тобой, молодежь". Овации. Мое окружение негодует.

— Дай мне несколько стихотворений для "Известий", — говорит Маяковский, — получишь гонорар по 1000 марок за строку (времена инфляции).

Я так рад, что и без денег дал бы, но мое окружение препятствует. Довод: если почему-либо не вернетесь на родину сразу же, зарубежье с голоду уморит. <...>

В Берлине я, уговариваемый друзьями, хотел, не заезжая в Эстонию, вернуться в СССР. Но Ф.М. ни за что не соглашалась, хотя вся ее семья была крайне левых взглядов. Брат ее, Георгий, ушел в январе 1919 г. вместе

с отступившей из Эстонии Красной Армией и ныне заведует колхозом в Саратовском районе. Сестры (Линда и Ольга) были посажены в том же январе белой сворой в тюрьму, где и просидели два месяца. Ф. М. мотивировала свое нежелание ехать причинами личного свойства: "В Москве Вас окружают русские экспансивные женщины и отнимут у меня. Кроме того, меня могут заставить работать, а я желаю быть праздной".

Я, сошедшийся с нею всего год назад, каюсь, не хотел ее тогда терять. Шли большие споры.

Накануне отъезда в Эстонию, когда билеты на поезд и пароход до Таллина были уже куплены и лежали у нее в сумочке, мы сидели вечером в ресторане: друзья устроили отвальную. Были Толстой, проф. А.Н. Чумаков, Кусиков и др. (Володя уехал уже в Париж). Поезд на Штеттин уходил около 6 часов утра. Спутница моя боялась, что мы засидимся и билеты потеряют свою силу. Об этом она заявила вслух. Друзья ей заметили, что это, может быть, будет и к лучшему, так как билеты до Москвы они всегда нам предоставят. Тогда она, совершенно перепуганная, вскочила и бросилась в гардеробную, схватив на ходу пальто, и выскочила на улицу. Очень взволнованный ее поступком, я кинулся вслед за ней, крикнув оставшимся, что поймаю ее и тотчас же вернусь. Однако, когда я выбежал на улицу, я увидел спутницу, буквально несущуюся по пустому городу и надевавшую на ходу пальто. Было около трех часов ночи. Мы бежали таким образом через весь громадный город до нашего отдаленного района. Было жутко, позорно и возмутительно. Я все боялся ее оставить: мне казалось, или она покончит с собою, или возвратится одна на родину. А потом было уже поздно возвращаться в ресторан. Уехали, не попрощавшись с собутыльниками. Жаль, что не нашел тогда в себе силы с нею расстаться: этим шагом я обрек себя на то глупое положение, в котором находился все годы, без вины виноватый перед Союзом...»

Конечно же, этим поздним признаниям Северянина полностью доверять нельзя, к этому времени он уже ушел от своей верной Фелиссы и надеялся на возвращение в Советский Союз, и Владимир Маяковский был для него как маяк на поэтическом горизонте, который мог бы осветить и его дальнейший творческий путь.

По воспоминаниям последней подруги Маяковского Вероники Полонской, Владимир Владимирович «ценил Северянина, которого он считал талантливым словотворцем»:

«Маяковскому, например, нравилось придуманное Северянином слово — "вмолниться".

Моя дежурная адъютантесса  
Принцесса...  
Вмолнилась в комнату быстрее экспресса...

У Северянина, — говорил Владимир Владимирович, — стоит поучиться этому искусству многим современным поэтам. Владимир Владимирович говорил, что он в молодости многое заимствовал у Северянина».

Игорь-Северянин также высоко оценивал талант Маяковского и сожалел, что иногда конфликтовал с ним: «...Я теперь жалею, что в свое время недооценил его глубинности и хорошести: мы совместно, очевидно, могли бы сделать больше, чем каждый врозь. Мешали мне моя строптивость и заносчивость юношеская, самовлюбленность глуповатая и какое-то общее скольжение по окружающему. В значительной степени это относится и к женщинам. В последнем случае последствия иногда бывали непоправимыми и коверкали жизнь, болезненно и отрицательно отражаясь на творчестве...»

## Так жили поэты

Время начала XX века, войны и революции, которые резко меняли судьбы и жизнь не только отдельных людей, но и народа в целом, — все это породило необыкновенную эпоху русской литературы и культуры, названную Серебряным веком. В прозе продолжали творить признанные мастера — Чехов, Горький, Куприн, Бунин, в поэзии — Сологуб, Анненский, Блок, Брюсов, Гумилев, Волошин, Бальмонт, Ходасевич, Андрей Белый, Игорь-Северянин...

К блестящей когорте Серебряного века принадлежат прозаики и поэты, которые родились в последнее десятилетие XIX века. Среди них — Ахматова, Пастернак, Мандельштам, Цветаева, Есенин, Маяковский, Набоков, Шенгели... Это был подлинный расцвет культуры — по силе талантов и разнообразию дарований.

Выражение было впервые употреблено в 1929 году Николаем Бердяевым, соотнесено с выражением «золотой век», которым часто называли пушкинскую эпоху, первую треть XIX века.

Игорь-Северянин — один из лидеров Серебряного века — был хорошо знаком со многими из его представителей. Кто-то был наставником Северянина, кто-то учителем, кто-то и учеником. Вот и поговорим о них.

Зинаида Гиппиус, откровенно ненавидевшая Игоря-Северянина, тем не менее писала о нем:

«Это мое стихотворение — письмо, ниже печатаемое, имеет свою маленькую историю.

Да ведь и относится оно ко временам историческим, — чуть не доисторическим для нас, — довоенным!

В апреле 1913 года Ф.К. Сологуб прислал мне в Ментону (где мы тогда находились) письмо, со вложением стихов Игоря Северянина, о Балтийском море и посвященных мне. Письмо было откуда-то из Крыма, там Сологуб жил тогда вместе с И. Северянином, а, может быть, попали они туда, совершая одно из совместных своих турне по России.

Мы часто переписывались с Сологубом. Бывало, и в стихах. Ничего не сохранилось из этой переписки. Но сегодняшний приезд Игоря Северянина в Париж заставил меня порыться в старых бумагах и в моей памяти. Клочок бумаги с ответом Сологубу "для передачи Игорю Северянину" — нашелся...

Кое-что нашлось и в памяти. Ф.К. Сологуб с особенной горячностью,

даже как будто с увлечением, относился к юному тогда "эго-футуристу", поэту Игорю Северянину. Говорю "как будто", потому что Сологуб был человек с тройным, если не пятерным, дном и, даже увлекаясь, никогда на "увлекающегося" похож не был. Во всяком случае, это в квартире Сологуба положено было первое начало "поэзовечеров", у Сологуба мы, тогдашние петербургские писатели, познакомились с новым поэтом и с напевным чтением его молодых стихов. Это были стихи, впоследствии такие известные, из "Громокипящего кубка": первая книга И. Северянина, скоро потом вышедшая с интересным сологубовским предисловием.

Я очень помню эти вечера в квартире Сологуба. Он, вместе с заботливой, всегда взволнованной А.Н. Чеботаревской, нежно баловал Игоря Северянина. После долгих "поэз" — мы шли веселой гурьбой в столовую. Нам не подавали, правда, "мороженого из сирени", но "ананасы в шампанском" — случалось, и, уж непременно удивительный ликер, где-то специально добываемый, — "Crème de Violette".

Дела давно минувших дней! Игорь Северянин их, я думаю, помнит. Вспомнят и другие, кто остался жив.

Письмо Сологуба со стихами И. Северянина и мой ответ стихотворный — относятся к периоду более позднему. Как будто странный ответ: почему говорится в нем столько о "Ледовитом Океане"? Но я вспоминаю, почему: тогда, в Ментоне, мы жили вместе со старыми, "царскими", эмигрантами. И были как раз заняты чтением интереснейших писем с крайнего севера, от политических ссыльных (тоже "царских").

Самое странное, — теперь! — что письма эти, с кучей фотографических снимков, спокойно посылались из России по почте и спокойно эмигрантами получались.

Другие времена. Другие эмигранты. Другая ссылка. Все другое!  
Но Ледовитый Океан остался.

*Ф.К. Сологубу (Ответ)  
Ментона, апрель, 1913 г.*

...Я вижу, Игорь Северянин  
Тремя морями сразу ранен.  
Зане  
Он грезит Балтикой на Черном берегу  
Сюда, ко мне  
На Méditerranée.  
Ну что ж, скажите — я благодарю,

Хотя морями вовсе не горю.  
Когда над средиземной простынею  
Жужжу, ветрюсь на гидроплане,  
И то я занят думою одною:  
О Ледовитом Океане.

.....

Там вешний день криклив и хмурен,  
Там льдист апрель, июнь обурен,  
И наст бесталый, вековой,  
Звенит под летнею травой.

.....

Ночного солнца белый глаз,  
Седые воды Индигирки...  
О, мокротяжкие плащи тумана!  
О, стужное кипенье Океана!..»

В ту пору их противостояние не достигло еще крайней точки, со временем Зинаида Гиппиус начала писать о своем коллеге более ядовито, но при этом с блеском и с долей правды. Вот, к примеру, как пишет она о взаимоотношениях Северянина с Брюсовым:

«У очень многих людей есть "обезьяны". Возможно даже, что есть своя у каждого мало-мальски недюжинного, только не часто их наблюдаешь вместе. Я говорю об "обезьяне" отнюдь не в смысле подражателя. Нет, но о явлении другой личности, вдруг повторяющей первую, отражающей ее в исковерканном зеркале. Это исковерканное повторение, карикатура страшная, схожесть — не всем видны. Не грубая схожесть. На больших глубинах ее истоки. "На мою обезьяну смеюсь", — говорит в "Бесах" Ставрогин Верховенскому. И действительно, Верховенский, маленький, суетливый, презренно мелкий и гнусный, — "обезьяна" Иван-Царевича, Ставрогина. Как будто и не похожи? Нет, похожи. Обезьяна — уличает и объясняет.

Для Брюсова черт выдумал (а черт забавник тонкий!) очень интересную обезьяну. Брюсов — не Ставрогин, не Иван-Царевич, и обезьяна его не Верховенский. Да и жизнь смягчает резкости.

Брюсовская обезьяна народилась в виде Игоря Северянина.

Можно бы сделать целую игру, подбирая к чертам Брюсова, самым основным, соответственные черточки Северянина, соответственно умельченные, окарикатуренные. Черт даже перестарался, слишком их

сблизил, слишком похоже вылепил обличительную фигурку. Сделал ее тоже "поэтом". И тоже "новатором", "создателем школы" и "течения"... через 25 лет после Брюсова.

Что у Брюсова запрятано, умно и тщательно заперто за семью замками, то Игорь Северянин во все стороны как раз и расшлепывает. Он ведь специально и создан для раскрытия брюсовских тайн. Огулом презирает современников, но так это начистоту и выкладывает, не боясь, да и не подозревая смешного своего при этом вида. Нисколько не любит и не признает "никаких Пушкиных", но не упускает случая погромче об этом заявить, даже надоедает с заявлениями. Однако от гримасы на Брюсова и тут вполне воздержаться не может: если Брюсов "считал нужным" любить Пушкина и Тютчева, то Игорь "признает"...

Мирру Лохвицкую (благо, и она умерла). Но верен себе и опять выдает некую тайну: Брюсов мог бы, но ни разу не сказал: "Хороши вы, не признающие меня и Тютчева" или "меня и Пушкина". Игорь же, ругая на чем свет стоит "публику", читающую и почитающую каких-то поэтов, поясняет:

А я и Мирра — в стороне!

"Европеизм" Брюсова отразился в Игоре, перекривившись, в виде коммивояжерства. Так прирожденный коммивояжер, еще не успевший побывать в людях, пробавляется пока что "заграничными" словцами: "Они свою образованность показать хотят", — сказала чеховская мещаночка.

Игорь, как Брюсов, знает, что "эротика" всегда годится, всегда нужна и важна. "Вы такая экстазная, вы такая вуальная..." — старается он, — тоже с большим внутренним равнодушием, только надрыв Брюсова и страшный покойницкий холод его "эротики" — у Игора переходит в обыкновенную температуру, ни теплую, ни холодную, "конфетки леденистой".

Главное же, центральное брюсовское, страсть, душу его сжегшую, Игорь Северянин не преминул вынести на свет Божий и определить так наивно-точно, что лучше и выдумать нельзя:

Я гений, Игорь-Северянин,  
Своей победой упоен:  
Я повсеместно оэкрашен,  
Я повсесердно утвержден...

Брюсовское "воздыхание" всей жизни преломилось в игоревское "достижение". <...>

Обезьяна Брюсова, конечно, нетерпелива. Где-то, чуть не в том же стихотворении "я гений", она объявляет, что дала себе для "повсесердного утверждения" гениальности годичный срок:

...сказал: я буду!

Год отсверкал, и вот — я есть!

Ужели что-нибудь изменится, если мы докажем бытие Игоря Северянина и в этом году сомнительным, а в сверкании последующих — превратившимся в полное небытие?

Игорь Северянин сразу произвел на меня беспокойное впечатление. Так беспокоишься, когда что-то вспоминается, но знаешь, что не вспомнишь все равно.

У Сологуба (он тогда очень возился с новоявленным поэтом) было в этот вечер всего два-три человека, кроме нас. Длинный бледный нос Игоря, большая фигура — чуть-чуть сутулая — черный сюртук, плотно застегнутый. Он не хулиганил — эта мода едва нарождалась, да и был он только эгофутурист. Он, напротив, жаждал "изящества", как всякий прирожденный коммивояжер. Но несло от него, увы, стоеросовым захолустьем; он, должно быть, в тот вечер и сам это чувствовал и после каждого "смелого" стихотворения — оседал.

Может быть, первое, в чем для меня смутно просквозил Брюсов, — это манера читать стихи. Она у обоих поэтов совершенно разная. Игорь Северянин — поет; не то что напевно декламирует, а поет, ну, как певец, не имеющий голоса, поет с эстрады романс, притом все один и тот же. Брюсов читает обыкновенно. Лишь тонкий тенорок его, загибая все выше, надрывно переходит иной раз во вскрик — и во вскрике нота, грубо повторяемая Игорем Северянином. С этой ноты Игорь прямо и начинает свое:

Я гений...

У Брюсова есть трагическая строчка:

Мне надоело быть "Валерий Брюсов"...

Игорь Северянин мог бы ответить ему: мало что надоело; ты все равно есть, ибо

вот — я есть!

Игру с обезьяньими параллелями можно продолжать без конца. О некоторых еще придется упомянуть. Но пока укажу, что Игорь Северянин, подобно Верховенскому, невольню лънувшему к Ставрогину, и сам ощущал нитку, которая с Брюсовым его связывала. Он о ней не раз говорит, бесцеремонно и бездумно, как обо всем говорит. Вспоминаю лишь строки насчет всеобщей, кажется, ничтожности перед ним, Игорем Северянином:

...кругом бездарь;  
И только вы, Валерий Брюсов,  
Как некий равный государь...

Кто не загремел о будущих победах наших, едва началась война? И беллетристы, и драматурги; про стихотворцев и говорить нечего. Напрасны были все тихие уговоры:

Поэты, не пишите слишком рано,  
Победа еще в руке Господней;  
Сегодня еще дымятся раны,  
Никакие слова не нужны сегодня...

[7]

Через год, впрочем, эта волна несколько схлынула. Но некоторые остались. Между ними — Валерий Брюсов (и, конечно, Игорь Северянин).

Никто так упрямо и так "дерзновенно" не прославлял войну год за годом, как Брюсов. Никто не писал таких грубо шовинистических стихов во время войны, как Брюсов (Иг. Северянин сделал эту грубость грубостью словесной, срифмовав: "Бисмарк — солдату русскому на высморк").

Константинополь и Св. София в свое время вдохновили Брюсова на целый ряд стихотворений, где славилась будущая мощь Руси. Мы всех прославлений, конечно, не читали, и перечислить их я не могу. Отчасти благодаря настроениям этим, между нами и Брюсовым сообщение во время войны прекратилось. Мы слышали, что он постоянно в автомобиле ездит на фронт с какой-то не то гражданской, не то военной организацией; или, по знакомству, с военным агентом... не знаю, боюсь неточностей. Ему до нас и нам до него в это время дела было мало.

Игорь Северянин шатался в Петербурге. Вдруг его взяли да и мобилизовали. Заперли в казармы. Поклонники и поклонницы бросились во все канцелярии — освобождать; хотя бы из казарм; успели. Иг. Сев<ерянин> вернулся к Невскому проспекту. Это не уменьшило его военного жара. Написал, что гулять по Невскому "еще не значит быть изменником", а что когда все другие дрогнут, о, знайте —

Тогда ваш нежный, ваш единственный,  
Я поведу вас на Берлин!

Упоминание о "поклонницах" да не будет истолковано превратно: Игорь Северянин, несмотря на всех экстазных и вуалевых дам, на кокаин, на эскапады, даже на обещание вести полки в Берлин — по существу добрый муж своей жены, любящий отец.

Революция. Краткие, бурные месяцы керенщины, — февраль— октябрь. О Брюсове за этот период мы мало слышали, а что до Игоря Северянина — то он положительно растаял в туман, будто ветром его сдуло. Не было его и после октября нигде, ни в октябристах, ни в контр-октябристах. Я до поразительности ничего о нем не знаю; стараюсь вспомнить — и мерещатся какие-то глухие вести, а может быть, и не было их. Превратился в призрак...»

Почему Зинаида Гиппиус так привязывала Брюсова к Северянину? Да потому, что Игорь-Северянин и впрямь, выйдя из ученической зависимости от Лохвицкой и Фофанова, сразу же попал в такую же зависимость от Сологуба и Брюсова. Да и польщен был Игорь, что ведущий в те времена поэт Брюсов так много говорит о нем, а поэт Сологуб написал предисловие к его книге стихов. Но стоило Брюсову покритиковать за что-то молодого поэта, Северянин резко обиделся.

Вот что писал Брюсов в статье «Игорь Северянин» (1915):

«"Когда возникает поэт, душа бывает взволнована", — писал Ф. Сологуб в предисловии к "Громокипящему кубку". Конечно, певец звезды Майр, обычно скупой на похвалы, не мог ошибиться, произнося приговор столь решительный. Чуткость не изменила Ф. Сологубу, когда он приветствовал Игоря Северянина высоким именем Поэта. Да, Игорь Северянин — поэт, в прекрасном, в лучшем смысле слова, и это в свое время побудило пишущего эти строки, одного из первых, в печати обратить на него внимание читателей и в жизни искать с ним встречи. Автор этой статьи гордится тем, что он, вместе с Ф. Сологубом и Н. Гумилевым, был в числе тех, кто много раньше других оценили подлинное дарование Игоря Северянина.

Однако самое название "поэт", в каждом отдельном случае, требует пояснений и определений. Конечно, "не тот поэт, кто рифмы плесть умеет". С другой стороны, мы только условно называем "поэтом" того, кто совсем не умеет "плесть рифмы". В одной эпиграмме Баратынский шутил: "И ты — поэт, и он — поэт, но разницу меж вас находят"... Даже между великими поэтами "разница" несомненна. Может быть, по силе непосредственного стихийного дарования Тютчев не уступал Пушкину. И все же Пушкин стал родоначальником всей новой русской литературы, а роль Тютчева в истории нашей поэзии гораздо менее значительна. Это происходит оттого, что один талант еще не определяет всего значения поэта и писателя.

Мы знаем, что гений иногда "озаряет голову безумца, гуляки праздного". Хорошо, если таким гулякою оказывается Моцарт, да и то Сальери сказал не всю правду: из биографии Моцарта мы знаем, как много

он учился и как много работал. <...> Томы сочинений Пушкина, его глубокие суждения о разнообразнейших вопросах истории, политики, науки, искусства, его черновые рукописи, свидетельствующие о кропотливой работе, опровергают то представление о нашем великом поэте, какое готов был поддерживать он сам: как о "повесе, вечно праздном". Разносторонность познаний и интересов Гете достаточно известна. Когда же поэтический дар не сочетается ни с исключительным умом, ни с неодолимым терпением, в лучшем случае выходит русский Фофанов или французский Верлен.

"Душа бывает взволнована, когда возникает поэт". Но после первого радостного волнения наступает время анализа. <...> "...открыв" нового поэта, пережив радостное "волнение души", читатель невольно начинает относиться критически к новому знакомцу, старается определить его удельный вес. Хочется узнать, принадлежит ли новый поэт к числу редких "посланников провидения", благословенных гостей мира, как Пушкин и Гете, или к числу второстепенных светил, как Фофанов и Верлен, или, наконец, к тем мимолетным огням, которые, как падающие звезды, порою озаряют на миг небосвод литературы.

<...> Первая большая книга, изданная им <Северянином> (он сам именуется ее "первой" книгой, как бы отрекаясь от своих предыдущих изданий), "Громокипящий кубок" — книга истинной поэзии.

О ее стихах справедливо сказал Ф. Сологуб: "Пусть в них то или другое неверно с правилами пиитики, что мне до того!" Но после первой появилась "вторая", "Златолира", огорчившая всех, кто успел полюбить нового поэта, — так много в ней появилось стихов безнадежно плохих, а главное, безнадежно скучных. Не лучше оказалась и "третья" книга, "Ананасы в шампанском". Сторонники поэта объясняли это тем, что в обеих книгах были собраны, преимущественно, прежние, юношеские стихи Игоря Северянина. Мы ждали "четвертой" книги; она вышла под заглавием "Victoria Regia", с пометами под стихами 1914 и 1915 г. Увы! и она не оправдала добрых ожиданий: в ней много подражаний поэта самому себе и много стихотворений неудачных и слабых; ни в какое сравнение с "Громокипящим кубком" идти она не может.

Что же остается делать читателям Игоря Северянина? Отбросить три его книги и перечитывать "Громокипящий кубок", опять и опять радуясь на свежесть бьющей в нем струи? Или — вдуматься в странное явление и решить, наконец, что же за поэт Игорь Северянин: суждено ли ему остаться "автором одной книги" (каких мы немало встречаем в истории литературы), или возможны для него развитие, движение вперед, новые счастливые

создания? Последнее — прямое дело критики, и ее дело также, если она серьезно относится к своей задаче, указать, по мере своих сил и разумения, поэту, какие причины мешают ему развивать свой дар и идти к новым художественным завоеваниям. <...>

Подойдем же к поэзии Игоря Северянина со всем доброжелательством читателя, благодарного ему за "Громокипящий кубок", и постараемся уяснить для самих себя и для него, почему нас и, сколько мы знаем, так многих, любящих поэзию, не удовлетворяют его последние книги...»

В ответ Игорь-Северянин упрекнул Брюсова в зависти. Тот ответил<sup>[8]</sup>: «Любопытно, в чем бы я мог "завидовать" Игорю Северянину. Мне было бы стыдно, если бы я оказался автором "Ананасов", и мне было бы обидно, если бы я сделался объектом эстрадных успехов, выпавших на долю Игоря-Северянина. Поэту, немного очадевавшему, должно быть, оттого, что "идут шестым изданием иных ненужные стихи", следует усвоить себе простую разницу между критической оценкой и завистью. Не нужно непременно завидовать и можно не переставать любить, судя критически и иногда строго осуждая те или другие страницы прозы и стихов. Неужели Игорю-Северянину непонятна благородная любовь к литературе, побуждающая нас, критиков, оценивать создания поэзии, а понимает он только "кумовство" или "зависть"?»

Но вернусь к статье Брюсова и приведу из нее еще несколько суждений о творчестве Северянина:

«Особенность Игоря Северянина составляет ироническое отношение к жизни. Он очень верно сказал о себе (IV, 31)<sup>[9]</sup>: "Я — лирик, но я — и ироник". В наши дни это — редкий дар; сатира в стихах вымирает, и приходится дорожить поэтом, способным ее воскресить. А что у Игоря Северянина есть все данные для того, может доказать одна "Диссона" (I, 77), стихотворение, прекрасное от начала до конца:

Ваше Сиятельство к тридцатилетнему — модному — возрасту  
Тело имеете универсальное... как барельеф...  
Душу душистую, тщательно скрытую в шелковом шелесте,  
Очень удобную для проституток и для королев...

Много такой злой иронии рассеяно по "Мороженому из сирени". Целый ряд отдельных выражений прямо поражает своей меткостью и универсальностью: "дамы туалеты пригодны для витрин" (I, 70), "женоклуб... где глупый вправе слыть не глупым, но умный непременно

глуп" (I, 71), "под пудрой молитвенник, а на ней Поль де Кок" (I, 70), "грумики, окукленные для эффекта" (1,100) и т. д.

Ирония спасает Игоря Северянина в его "рассудительных" стихотворениях. Поэтому хороши его стихотворные характеристики Оскара Уайльда (I, 101), с прекрасным начальным стихом: "Его душа — заплеванный Грааль", а также Гюи де Мопассана (I, 101), с удачным сравнением: "Спускался ли в Разврат, дышал, как водолаз". <...> В последних книгах поэта, может быть, удачнее всего те стихи, где воскресает эта ирония. Так, например, хотя и с некоторыми оговорками, мы охотно "принимаем" стихи "В блестящей тьме" (III, 14).

Как подлинный художник, Игорь Северянин обладает даром перевоплощения. Он умеет писать и в иных стилях, нежели свой, конечно, если чужой стиль ему знаком. <...> Порукою в том стихи Игоря Северянина, написанные "в русском стиле", в которых он сумел остаться самим собой, удачно переняв то склад нашей народной песни, то особенности народного говора. Таковы стихотворения: "Идиллия" (I, 15), "Chanson Russe" (I, 37), "Пляска мая" (I, 36), "Русская" (I, 37), некоторые пьесы из "Victoria Regia". Напротив, когда Игорь Северянин пытается перенять стили ему незнакомые, например, — античный или писать стихи "экзотические", попытки кончаются горестной неудачей.

<...> Среди новых словообразований, введенных Игорем Северянином, есть несколько удачных, которые могут сохраниться в языке, например глагол "олунить". Наконец, и ассонансы, на которые Игорь Северянин очень щедр, иногда у него звучат хорошо и действительно заменяют рифму; интересны его попытки использовать, вместо рифмы, диссонанс, — слова, имеющие различные ударные гласные, но одинаковые согласные (например, III, 39: "кедр — эскадр — бодр — мудр — выдр").

Таков Игорь Северянин, как он представляется в своих лучших созданиях. Это — лирик, тонко воспринимающий природу и весь мир и умеющий несколькими характерными чертами заставить видеть то, что он рисует. Это — истинный поэт, глубоко переживающий жизнь и своими ритмами заставляющий читателя страдать и радоваться вместе с собой. Это — ироник, остро подмечающий вокруг себя смешное и низкое и клеймящий это в меткой сатире. Это — художник, которому открылись тайны стиха и который сознательно стремится усовершенствовать свой инструмент, "свою лиру", говоря по-старинному. При таких данных, казалось бы, можно ли желать большего? Чего же недостает Игорю Северянину, чтобы не только быть поэтом, но и стать поэтом "значительным", а может быть, и "великим?"».

Я считаю, что Валерий Брюсов в целом верно отмечает и минусы поэзии Северянина:

«... "святой простотой" поэта, его "неискушенностью" в истории литературы объясняется, вероятно, и его самомнение, весьма близко подходящее, в стихах по крайней мере, к "мании величия". Тому, кто не знает всего, что сделали поэты прошлого, конечно, кажется, что он-то сам сделал очень много. Каждая мысль, каждый образ кажутся ему найденными в первый раз. Очень может быть, Игорь Северянин, заявляя, например, "Я не лгал никогда никому, оттого я страдать обречен" (II, 42), уверен, что впервые высказывает такую мысль и впервые в таком тоне говорит в стихах (но вспомним хотя бы добролюбовское "Милый друг, я умираю оттого, что был я честен..."). Понятно после этого, что Игорю Северянину совершенное им (т. е. то, что он написал книгу недурных стихов) представляется "колоссальным", "великим" и т. п. Он объявляет, что "покорил литературу" (1,141), хотя весьма трудно определить, что это, собственно, значит, что его "отронит Марсельезия" (II, 11), что он "президентский царь"... и т. п. Отсутствие знаний и неумение мыслить принижают поэзию Игоря Северянина и крайне суживают ее горизонт.

Говорят, что Игорь Северянин — новатор. Одно время он считался главою футуристов, именно фракции "эгофутуристов". Однако для роли maître<sup>[10]</sup> у Игоря Северянина не оказалось нужных данных. Ему нечего было сказать своим последователям; у него не было никакой программы. Этим внутренним сознанием своего бессилия и должно объяснить выход Игоря Северянина из круга футуристов, хотя бы сам он, даже для самого себя, объяснял это иначе. "Учитель", которому учить нечему, — положение почти трагическое! <...> Кое-какие права на звание новатора дают Игорю Северянину лишь его неологизмы. Среди них есть много глаголов, образованных с помощью приставки "о", например, удачное "олунить" и безобразное "озабветь"; есть слова составные, большею частью построенные несогласно с духом языка, как какая-то "лунопаль"; есть просто иностранные слова, написанные русскими буквами и с русским окончанием, как "игнорирно"; есть, наконец, просто исковерканные слова, большею частью ради рифмы или размера, как "глазы", вместо "глаза", "норк" вместо "норок", "царий" вместо "царский". Громадное большинство этих новшеств показывает, что Игорь Северянин лишен чутья языка и не имеет понятия о законах словообразований. На то же отсутствие чутья языка указывают неприятные, вычурные рифмы, вроде: "акварель сам — рельсам", "воздух — грез дух", "ветошь — свет уж", "алчен — генерал чин" и т. п. В этом отношении Игорь Северянин мог бы многому поучиться у

поэтов-юмористов.

Нет, в новаторы Игорь Северянин попал случайно, да, кажется, сам тяготится этим званием и всячески старается сбросить с себя чуждый ему ярлык футуриста.

Вывод из всего сказанного нами напрашивается сам собою. Игорю Северянину недостает вкуса, недостает знаний. То и другое можно приобрести, — первое труднее, второе легче. Внимательное изучение великих созданий искусства прошлого облагораживает вкус. Широкое и вдумчивое ознакомление с завоеваниями современной мысли раскрывает необъятные перспективы. То и другое делает поэта истинным учителем человечества».

Зинаида Гиппиус в воспоминаниях называла Северянина «обезьяной Брюсова». Однако же Брюсов и сам, наблюдая популярность Северянина, пытался понять причины его успеха, о чем свидетельствует брюсовская книга-мистификация «Стихи Нелли» (1913), написанная якобы поэтессой, но полностью в поэтике Северянина; попытка освоить его ритмы и образную систему очевидна. То есть уже сам Брюсов начинает подражать Северянину.

Константин Мочульский в своей монографии «Валерий Брюсов» из этой истории сделал парадоксальный и неожиданный вывод: «Стоит почитать стихи Нелли, чтобы убедиться, с какой неизбежностью "поэзы" Северянина вырастают из лирики Брюсова».

Все наоборот. Признав Игоря-Северянина «настоящим поэтом, поэзия которого все более и более приобретает законченные и строгие очертания», Брюсов заставил свою «Нелли» даже овладеть северянинскими интонациями и новациями, в том числе и неологизмами в духе Игоря-Северянина: «Легкий жизни силуэт / Встал еще обороленней», «Пусть твоя тень туманит» и др. Зависимость от этой стилистики для придуманной Брюсовым ультрасовременной, «городской», эпикурейски настроенной и отзывающейся на все «модное» поэтессы была едва ли не неизбежной.

Дополнительный аргумент этой зависимости — выбор Брюсовым для своей мистификации имени, которое он заимствовал из стихотворения Северянина «Нелли». Одно из стихотворений «Нелли» — «Катанье с подругой» из цикла «Листки дневника» — представляет собой откровенную ироническую стилизацию «под Северянина»:

Плачущие перья зыблются на шляпах,  
Страстно-бледны лица, губы — словно кровь.  
Обжигает нервы Lenthéric'a запах,

Мы — само желанье, мы — сама любовь.

.....

Кучер остановит ход у «Эльдорадо»,  
Прошуршит по залам шелк, мелькнет перо.  
«Нелли! Что за встреча!» — «Граф, я очень рада...»  
Шоколад и рюмка трипель-сек-куантро.

После полемики с Северянином дружеские отношения между поэтами прерываются. Оскорбленный Северянин вступает в диалог в «Поэзе для Брюсова». Ущемлено его самовлюбленное «Я». Северянин вновь обвиняет Брюсова в зависти: «Валерий Яковлевич! Вы — / Завистник, выраженный явно...» Северянин наделяет Брюсова такими эпитетами, как: «бронзовый версификатор», «терпеливый эрудит», о себе же говорит как о «вдохновенном» певце. Общее между поэтами, по мнению Северянина, — их общая гениальность: «Мы с Вами оба гениальны». Северянин не злопамятен, он помнит о дружественной руке мастера.

Я Вам признателен всегда,  
Но зависть Вашу не приемлю...

Вскоре в отношениях поэтов наступил мир. В сборнике поэм «Соловей» (1923) Северянин так описывает встречу с Брюсовым:

Походкой быстрой и скользящей,  
Мне улыбаясь, в кабинет  
Вошли Вы — тот же все блестящий  
Стилист, философ и поэт.  
И вдохновенно Вам навстречу  
Я встал, взволнованный, и вот —  
Мы обнялись: для новой речи,  
Для новых красок, новых нот!

Северянин счастлив, что Поэт его не осудил «за дерзкие слова», и просит у Брюсова прощения за «вспыльчивость свою», восклицая: «И мне подвластными стихами / Я Вас по-прежнему пою!»

Северянин до конца своей жизни находился под гипнозом его

личности. В книге «Медальоны» он поместил сонет «Брюсов», написанный в 1926 году. Если в ранних стихотворениях Северянин рисовал портрет Брюсова только на собственном фоне, сравнивая мэтра с собой, отождествляя себя с мэтром: «гениальцы», то в этом сонете Брюсов представлен «самолюбивцем» и «бунтарем», «самоуверенным» и «страстным».

Не менее сложными были отношения Игоря-Северянина и с другим мэтром — Федором Сологубом. Сергей Спасский в своих воспоминаниях пишет о встречах с поэтами:

«После Бальмонта приезжал Федор Сологуб с лекцией "Искусство наших дней". Внешне он выглядел проще. Лысая голова, малоподвижное бритое лицо, плотная невысокая фигура. Что-то почтенное, чиновное, размеренное было в этом проповеднике смерти. Он говорил, слегка растягивая слова, мягким, обволакивающим тенором. Читал стихи почти без распева с искусно выработанной, преподносящей каждую букву простотой. Он смаковал гласные, словно наслаждаясь их вкусом. Это чтение, даже вынесенное на эстраду, оставалось чтением для небольшого круга почитателей. Утомленность, как бы многоопытная пресыщенность присутствовали во всем облике поэта. Казалось, сейчас закроет он глаза, остановится, забудет обо всех. Грезящий чиновник, предающийся мечтаньям петербуржец, вежливый и невозмутимый. "Этика родная сестра эстетике", — поучал он плавно и равнодушно. Он рассказывал о пробуждении волевого начала в поэзии. Цитировал Городецкого: "Древний хаос потревожим, мы ведь можем, можем, можем". Затем прочел он свои стихи о России. Плыли фразы медленные и прохладные. "Твержу все те ж четыре слова: какой простор, какая грусть". Застывшая мозаика из гладких камней. Буддийски спокойное лицо поэта.

Но этот вечер заключал в себе острую приправу в виде выводимого в свет Сологубом Игоря Северянина. Северянину предшествовала некоторая молва. Впрочем, радиус ее действия был ограничен. До широкой публики совсем не доходили маленькие сборники, настойчиво публикуемые Северянином. Нужно было появиться ему на эстраде, чтоб сразу расшевелить обывателей. И нужно было, чтоб издательство "Гриф" выпустило первую его книгу, которой Федор Сологуб предпослал любезное предисловие. Сологуб оказался первым мэтром символизма, оценившим Северянина. Он написал в своем триолете:

Все мы, сияющие, выгорим,  
Но встанет новая звезда,

И засияет навсегда.  
Все мы, сияющие, выгорим, —  
Пред возникающим, пред Игорем  
Зарукопещут города.  
Все мы, сияющие, выгорим,  
Но встанет новая звезда.

Познакомились они в Гатчине, где жил Сологуб, потом повстречались и в Тойле, где Сологуб снимал дачу. Маститый поэт предложил Северянину написать предисловие к его книге стихов. Так началась слава Северянина...»

Приведу к месту еще несколько отрывков из предисловия Федора Сологуба к «Громокипящему кубку» (часть уже приводилась выше):

«Одно из сладчайших утешений жизни — поэзия свободная, легкий, радостный дар небес. <...>

Люблю стихи Игоря Северянина. <...>

Я люблю их за их легкое, улыбчивое, вдохновенное происхождение. Люблю их потому, что они рождены в недрах дерзающей, пламенной волей упоенной души поэта. <...> Воля к свободному творчеству составляет ненарочную и неотъемлемую стихию души его, и потому явление его — воистину нечаянная радость в серой мгле северного дня. Стихи его, такие капризные, легкие, сверкающие и звенящие, льются потому, что переполнен громокипящий кубок в легких руках нечаянно наклонившей его ветреной Гебы, небожительницы смеющейся и щедрой. Засмотрелась на Зевесова орла, которого кормила, и льются из кубка вскипающие струи, и смеется резвая, беспечно слушая, как "весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом".

О, резвая! О, милая!»

В автобиографической поэме «Колокола собора чувств» Северянин вспоминал облик Сологуба, вышедшего навстречу ему, молодому поэту.

И вдруг, бесшумно, предо мной,  
Внезапно, как бы из провала,  
Возник, весь в сером, небольшой  
Проворный старец блестяще-лысый  
С седую дымчатой каймой  
Волос вокруг головы. Взор рысий  
Из-под блистающих очков

Впился в меня. Писатель бритый,  
Такой насмешливый и сытый,  
Был непохож на старичков  
Обыкновенных; разве Тютчев  
Слегка припомнился на миг...

Как помним, сразу после выхода «Громокипящего кубка», в марте 1913-го, было организовано литературное турне Сологуба — от Минска через Крым до Кавказа. Его сопровождали Чеботаревская и Северянин. В Крыму к ним присоединился местный эгофутурист Вадим Баян. Это были первые выступления Северянина на широкой публике.

«Не соглашайтесь с ними, — говорил о футуристах Сологуб в интервью "Одесским новостям" 12 марта 1913 года, — ругайте их, но пусть они будут. Они заставят нас посмотреть на себя, спорить, бурлить, задуматься над новыми формами и течениями».

И хотя Северянин под самый конец гастролей бросил Сологуба, отношения между поэтами не прекратились. Летом 1913 года по приглашению Северянина Сологубы сняли дачу в Тойла. Поэты продолжали обмениваться книгами, стихотворными посвящениями, пока Северянин опять не омрачил дружбу нелепой выходкой.

Поддавшись влиянию своих приятелей, московских кубофутуристов Маяковского, Бурлюка и других, он подписался под их манифестом «Идите к черту!» (опубликованным в начале 1914 года в альманахе «Рыкающий Парнас»), где среди прочего были следующие строчки: «Ф. Сологуб схватил шапку И. Северянина, чтобы прикрыть свой облысевший талантик».

После этого из переизданий «Громокипящего кубка», ставшего невероятно популярным, исчезло предисловие Сологуба. Он исключил триолет о Северянине «Все мы сияющие выгорим...» из подготавливаемой им тогда же книги «Очарования земли» (отдел «Поэты»). Позже их отношения вновь восстановились, и лето 1914 года Сологубы провели рядом с Северянином в Тойла.

В начале XX века почти все известные поэты зарабатывали деньги, выступая с чтением своих стихов по городам России. Вот и Федор Сологуб вместе со своей любимой женой Анастасией Чеботаревской и Игорем-Северянином в 1913 году объехали множество российских городов с лекциями и чтением своих произведений.

Писатель Александр Казакевич восстановил колоритность этих

вечеров:

«Представьте себе такую картинку. Примерно полтора часа от начала концерта Федор Кузьмич читает собравшейся публике своим заунывным голосом лекцию "о новых горизонтах в искусстве". Публика откровенно зевает... Затем выходит Игорь Северянин и начинает... нет, не читать — завывать: "Я, гений Игорь-Северянин, *Своей победой упоен*: Я повсеградно оэкраен! Я повседневно утвержден!" Публика переглядывается, перешептывается, пересмеивается, не понимая — хорошо это или плохо. Северянин, закончив одно стихотворение, начинает другое: "Как мечтать хорошо вам *В гамаке камышовом*, Над мистическим оком — *Над безтинным прудом!* Как мечты сюрпризерки *Над качалкой грезерки* Истомленно лунятся: *То — Верлен, то — Прюдом...*" Публика покатывается со смеху... Вот выходит госпожа Чеботаревская и, страшно шепелявя (у нее получают не "сестры", а "шиошры"), полчаса читает какую-то скучную новеллу собственного сочинения. Публика уже вот-вот начнет свистеть. Но вот снова на сцене Сологуб. Мрачно оглядывая зло усмехающиеся лица, он, чуть громче обычного, начинает вещать: "Не тужи, что людям непонятна Речь твоя. Люди — только тени, только пятна На стене. Расплетая, заплетая Бреды бытия, Эта стая неживая Мечется во сне..." Публика замирает... Еще несколько стихотворений — и уже раздаются аплодисменты, слышатся восторженные крики — "Браво!" Завершает концерт Северянин. На этот раз — Сологуб все продумал — никаких "сюрпризерок". На этот раз — настоящая поэзия: "Весенней яблони в нетающем снегу *Без содрогания я видеть не могу*: Горбатой девушкой — прекрасной, но немой — *Трепещет дерево, туманя гений мой...* Как будто в зеркало — смотрясь в широкий плес, Она старается смахнуть росинки слез, И ужасается, и стонет, как арба, *Вняв отражению зловещего горба*. Когда на озеро слетает сон стальной, *Бываю с яблоней, как с девушкой больной*, И, полный нежности и ласковой тоски, *Благоуханные целую лепестки*. Тогда доверчиво, не сдерживая слез, Она касается слегка моих волос, Потом берет меня в ветвистое кольцо, —/Ия целую ей цветущее лицо..." Публика зачарована! Завоевана! Побеждена! "Колыбельная Насте"».

Из близких Северянину поэтов необходимо назвать и Константина Бальмонта, которому Северянин посвятил не одно стихотворение, среди них такое:

Мы обокрадены своей эпохой,  
Искусство променявшей на фокстрот.

Но как бы ни было с тобой нам плохо,  
В нас то, чего другим недостает.  
Талантов наших время не украло.  
Не смело. Не сумело. Не смогло.  
Мы — голоса надземного хорала.  
Нам радостно. Нам гордо. Нам светло.  
С презреньем благодушным на двуногих  
Взираем, справедливо свысока,  
Довольствуясь сочувствием немногих,  
Кто золото отсеял от песка.  
Поэт и брат! Мы двое многих стоим  
И вправе каждому сказать в лицо:  
— Во всей стране нас только двое-трое  
Последних Божьей милостью певцов!

(«Бальмонту»)

Они были близки друг другу своим чисто поэтическим видением мира.  
Цветаева писала о Бальмонте:

«Если бы мне дали определить Бальмонта одним словом, я бы не задумываясь сказала: — Поэт.

Не улыбайтесь, господа, этого бы я не сказала ни о Есенине, ни о Мандельштаме, ни о Маяковском, ни о Гумилеве, ни даже о Блоке, ибо у всех названных было еще что-то, кроме поэта в них... На Бальмонте — в каждом его жесте, шаге, слове — клеймо — печать — звезда — поэта. Если эмиграция считает себя представителем старого мира и прежней Великой России — то Бальмонт одно из лучших, что напоследок дал этот старый мир. Последний наследник. Бальмонтом и ему подобными, которых не много, мы можем уравновесить того старого мира грехи и промахи».

Но ведь подобное можно сказать и о Северянине.

Летом 1920 года из Советской России через Эстонию на Запад проезжал Константин Бальмонт с семьей. Поэты встретились в Таллине. Северянина, конечно, интересовали московские новости и планы Бальмонта.

Капризничало сизо-голубою  
Своей волною море. Серпантин  
Поэт окутал нас. Твой «карантин»

Мы развлекли веселою гульбою...

.....

Так ты воскрес. Так ты покинул склеп,  
Чтоб пить вино, курить табак, есть хлеб,  
Чтоб петь, творить и мыслить бесконтрольно.  
Ты снова весь пылаешь, весь паришь  
И едешь, как на родину, в Париж,  
Забыв свой плен, опять зажить корольно.

(«Сонет Бальмонту»)

Понятно, ничего утешительного сказать о Москве периода военного коммунизма Бальмонт не мог. Отсюда — «...покинул склеп, чтоб... творить и мыслить бесконтрольно».

Северянин приглашал Бальмонта посетить Тойла, но получил письмо: «Дорогой Игорь, завтра мы уезжаем в Штеттин и дальше, в Париж. Я очень жалею, что так и не удалось нам поехать к Вам. Поистине, ни одного дня здесь не было без хлопот, и лишь вчера я окончил все необходимые дела. Я не писал Вам раньше, ибо каждый день надеялся, что мне все-таки удастся вырваться к Вам. Все мои шлют приветы Вам и Марии Васильевне (Волнянской. — В.Б.). Хочу думать, что мы встретимся снова — в более счастливых условиях, и будем петь, и будем светло-веселыми. Нежно целую руки Марии Васильевны. Обнимаю Вас, поэт. Ваш К. Бальмонт» (30 июля 1920 года).

Кроме поэтов, с которыми Игорь-Северянин был долгое время близок — Сологуб, Брюсов, Бальмонт, Маяковский, Шенгели, — он встречался, переписывался или отзывался и о других ведущих поэтах России, как и они отзывались о нем. Я уже приводил отзывы Александра Блока, Николая Гумилева, Марины Цветаевой. Продолжим эту тему.

Вот как литературовед Вячеслав Кошелев оценивает отношения Гумилева и Северянина:

«Первоначальное априорное сопоставление фигур Николая Гумилева и Игоря-Северянина кажется вполне однозначным: это безусловные антагонисты. Один — героический "конквистадор в панцире железном", отважный путешественник и храбрый военный; другой — "ваш нежный, ваш единственный" поклонник "ананасов в шампанском", способный путешествовать "из Москвы — в Нагасаки", как и "из Нью-Йорка — на Марс", разве что "в грезах"... Один — аристократ и подлинный знаток

изысканной культуры; другой — полубразованный "оскандальный герой", символ литературного мещанства, взявшегося "популярить изыски"... Один — признанный глава "акмеизма" (термин этот самим Гумилевым переводится не иначе как "высшая степень чего-либо"), руководитель весьма продуктивного "Цеха поэтов"; другой — сам себе "гений, Игорь-Северянин" и сам себе "Цех", сумевший за три года (1913—1916) издать огромным по тому времени тиражом шесть объемистых стихотворных книг... Один в 1918 году вернулся из-за границы в Россию<sup>[11]</sup> и три года спустя был расстрелян за участие в заговоре, к которому не принадлежал и которого не было; другой в 1918 году выехал из России за границу, а 22 года спустя все последние усилия таланта употребил на то, чтобы Советской власти понравиться...»

Тем не менее, продолжает Кошелев, было между поэтами и общее: «Гумилев и Северянин — ровесники (последний — на год моложе), детство обоих связано с Петербургом и его пригородами, а также с родовыми именными (у Гумилева в Тверской, у Северянина в Новгородской губернии). Писать и публиковать стихи стали почти одновременно; начало активной поэтической работы их связано опять-таки с петербургскими окрестностями (у Гумилева с Царским Селом, у Северянина с Гатчиной). Обоих в свое время "приветил" Валерий Брюсов: Гумилева в ноябре 1905 года, Северянина в октябре 1911 года, и дальнейшее развитие поэтов шло в тесной связи с ним: вначале под влиянием мэтра, в подражании ему, а затем в несогласии с ним и разъединении. Оба поэта, наконец, благоговейно относились к версификации, придавая огромное значение форме стиха, стихосложению, словесным неожиданностям (в этом отношении оба преуспели больше, чем остальные поэты-современники)...»

Кошелев пишет, что прямых контактов между поэтами не было, за исключением одного эпизода осени 1912 года, который отразился в двух стихотворениях Северянина. «Первое из них — стихотворение "Слава", написанное в январе 1918 года, накануне избрания Северянина "королем поэтов":

Мильоны женских поцелуев —  
Ничто пред почестью богам:  
И целовал мне руку Клюев,  
И падал Фофанов к ногам!  
Мне первым написал Валерий,  
Спросил, как нравится мне он;  
И Гумилев стоял у двери,

## Заманивая в "Аполлон"...

Гумилеву не довелось видеть этого стихотворения (оно было опубликовано в 1923 году в Берлине, в составе сборника "Соловей"), но если б довелось, он бы непременно разозлился. Тем более что в этом хвастливом перечислении — все правда: и в том, что касается Клюева, Фофанова, Брюсова, и в том, что касается Гумилева. Р.Д. Тименчик опубликовал письмо Северянина к Гумилеву от 20 ноября 1912 года, из которого вполне разъясняется ситуация "стояния у двери": "Дорогой Николай Степанович, только третьего дня я встал с постели, перенеся в ней инфлуэнцу. Недели две я буду безвыходно дома. Я очень сожалею, что не мог принять Вас, когда Вы, — это так любезно с Вашей стороны, — меня посетили; болезнь из передающихся и полусознание..." Ситуация, как видим, для Гумилева весьма обидная: поди узнай, была ли "инфлуэнца", нет ли... Пикантность ее усиливалась тем, что Гумилев "заманивал" Северянина не в "Аполлон", а в "Цех поэтов". Инициатором этого "заманивания" выступил Г.В. Иванов, незадолго перед тем перешедший из группы эгофутуристов в "Цех поэтов" (вместе с Грааль-Арельским; Северянин не преминул тут же заклеить "предателей" в стихах: "Бежали двое в тлен болот..."). Позже Г. Иванов заметил (в мемуарной книге "Петербургские зимы"): "Но лично с Северянином мне было жалко расставаться. Я даже пытался сблизить его с Гумилевым и ввести в Цех, что, конечно, было нелепостью". Эта "нелепость" дала возможность Северянину впоследствии многократно поиздеваться и в стихах ("Уж возникает 'цех поэтов' / (Куда бездари, как не в цех!)") — поэма "Рояль Леандра"), и в газетных интервью. <...> Ответный "визит" Северянина описан им десятилетием спустя в стихотворении с символическим заглавием "Перед войной":

Я Гумилеву отдавал визит,  
Когда он жил с Ахматовою в Царском,  
В большом прохладном тихом доме барском,  
Хранившем свой патриархальный быт...

Обстоятельства этого, на сей раз состоявшегося, визита неясны; поэтические формулировки Северянина крайне туманны: "И долго он, душою конквистадор, / Мне говорил, о чем сказать отрада. / Ахматова

устала у стола..." Но далее отношения двух поэтов никак не продолжились, да и не могли продолжиться: любое развитие подобного рода связей предполагает появление некоей зависимости одной творческой индивидуальности от другой, что применительно к Гумилеву и Северянину, конечно же, "было нелепостью"..."»

Игорь-Северянин никогда не был близок с «крестьянскими поэтами», — замечает Кошелев, — ни с Сергеем Есениным, ни с Николаем Клюевым, но их отзывы друг о друге встречаются.

К примеру, после выхода своих первых сборников Клюев вспоминал, как его корили за них и «в поучение дали мне Игоря Северянина пудренный том», иронически подчеркивая их полярность. Тем не менее в творчестве Клюева некоторые исследователи находили отзвуки Северянина. Так, Софья Полякова пишет:

«Разве не напоминают Северянина следующие стихи из "Четвертого Рима"?

Связую думы и сны суслона  
С многоязычным маховиком...  
Я — Кит Напевов, у небосклона  
Моря играют моим хвостом...  
.....  
Как дед внучонка, качает весны  
Паучьей лапой запечный мрак.  
И зреют весны: блины, драчены,  
Рогатый сырник, пузан-кулич...  
"Для варки песен — всех стран Матрены  
Соединяйтесь!" — несется клич.

Еще более по-северянински звучит стихотворение "Товарищ":

Ура, Осанна — два ветра-брата  
В плащах багряных трубят, поют...  
Завод железный, степная хата  
Из ураганов знамена ткут...»

Отмечает Полякова, что и клюевская «Погорельщина» в значительной части тоже написана в этом размере и «ассоциируется с Северяниным».

«Очень по-северянински звучит, — полагает исследовательница, — и самоопределение Клюева:

Я поэт — одалиска восточная  
На пирушке бесстыдно языческой...»

Также можно найти близкие примеры и у Сергея Есенина, которого не случайно же ненавидящий и Северянина, и Есенина Алексей Крученых называл подражателем Северянина.

У Алексея Крученых даже есть статья «Второе пришествие Северянина, или: зубами в рот» (1926), где он подробно доказывает, что Есенин — это лишь повторяющийся Северянин:

«Новая "кокаинеточка" в костюме рязанского пастушка. Картинка!.. Неспециалисты, пожалуй, скажут: ну, и что за беда, что размер чужой, что рифмы встречаются у кого-то там 10 раз! Рифмы, мол, вроде блох ("Вы, любители песенных блох" — у Есенина) — маленькие, кончики строк только... Мудрено ли, что перепрыгивают, а пользы все равно в них нет. Но все-таки надо быть чище. До чего небрежен порой, например, Маяковский, а и тот однажды заявил с гордостью: — "Вот как я честно работал: во 'Всем сочиненном Маяковским', нет двух одинаковых рифм!" Подражания, заимствования, перепевы и самоперепевы у Есенина так явственны, что даже критика, которая вообще-то к Есенину не в меру благосклонна, и та их отметила.

<...> Никого, все-таки, так убедительно, добросовестно и многократно не перепевает Есенин, как печальной памяти Игоря Северянина. Вот вам примерчик: "И тебя блаженством ошаф-ранит". Живой Игорь!

Вся есенинская "тяга к деревне", захваленная критиками системы "Львов-Рогачевский", не что иное, как "милый", детский, северянинский "стиль рюсс". Угадайте, например, кто это:

"Выйду на дорогу, выйду под откосы, —  
Сколько там нарядных мужиков и баб.  
Что-то шепчут грабли, что-то свищут косы.  
Эй, поэт, послушай, слаб ты иль не слаб?"

Ну, конечно, слаб, совсем слаб, несчастный, так что даже "лица на нем нет": мы привели самые что ни на есть последние стихи Есенина, а

читателю, наверное, показалось, что это самый что ни на есть последний Северянин. Судите сами, можно ли писать сильное стихотворение о покосе северянинским ленивым размером:

"Солнце любит море, море любит солнце", да еще утверждая, что "пейзане", по случаю полевых работ, видите ли, поднарядились. И свою "деревню" и "природу" раскрашивает Есенин в мармеладно-северянинские тона:

"Голубого покоя нити...  
О, Русь, малиновое поле,  
И синь, упавшая в реку".  
Сочетание цветов-то какое!  
"Словно я весенней гулкой ранью  
Проскакал на розовом коне".

Розовая лошадка — очень замечательно! Вообще, к животным у Есенина до тошноты сладенькая нежность:

"Не обижу ни козы, ни зайца...  
...Лишь бы видеть, как мыши от радости прыгают в поле,  
Лишь бы видеть, как лягушки от восторга прыгают в колодце".

Так, ведь, и у давно вымершего Северянина все эти деточкины розовые лягушечки в книжечках водились:

"Кружевеет, розовеет утром лес,  
Паучок по паутинке вверх полез  
Хорошо гулять утрами по овсу,  
Видеть птичку, лягушонка и осу".

Все "приобщение к деревне" и у Игоря, и у Есенина выражается в том, что оба они только чуть-чуть переодеваются:

"Останови мотор, сними манто"... (Северянин).  
"К черту я снимаю свой костюм английский,  
Чо же, дайте косу, я вам покажу!" (Есенин).  
И вот, пожалуйста — показал, готово! К земле приобщаются:

"Я с первобытным неразлучен"... (Северянин).

"Я ли вам не советский, я ли вам не близкий?" (Есенин).

Этакая лимонадная идиллия! Этакое скоропостижное перевоплощение в эфемерного пейзажа... А теперь довольно о заимствованиях, — заметим только в скобках, что заимствования эти, конечно, невольны и бессознательны: просто язык ворочается по проторенным дорожкам, в сторону наименьшего сопротивления. <...>

<...> Недаром Ю. Тынянов ("Русский Современник", № 4) замечает, что Есенин "кажется порою хрестоматией от Пушкина до наших дней". Добавим от себя: хрестоматией банальностей. Зато "гражданской доблести" и у него хоть отбавляй. <...>

"...ту весну,  
Которую люблю,  
Я революцией великой Называю,  
И лишь о ней Страдаю и скорблю,  
Ее одну  
Я жду и призываю!"

Ждать и призывать великую революцию, конечно, почтенно (особенно в ее VIII годовщину!). Еще лучше было бы на нее своевременно работать. Но вот скорбеть о ней — решительно незачем. Что она — погибла, что ли? И сколько ни старается Есенин убедить читателя:

"Я выйду сам,  
Когда настанет срок,  
Когда пальнуть  
Придется по планете".

Иначе это называется: "горохом об стенку" или "из воробья по пушкам". Читатель невольно вспоминает, как единожды "сам" Северянин "в поход собрался".

"Когда настанет час убийственный  
И в прах падет последний исполин,

Тогда — ваш нежный, ваш единственный,  
Я поведу вас на Берлин".

Подвел Северянин, не поверят и Есенину. Читатель остается совершенно равнодушным и это понятно: сам Есенин в квасной своей революционности совершенно холоден, внутренне неправдив и неестествен; слова и фразы у него с чужого рта, зажеванные, как хлебная соска, которую он круглый год читателю "зубами в рот сует". Вот, например:

"Там в России —  
Дворянский бич,  
Был наш строгий отец — Ильич".

*(Из "сильно революционной" "Баллады о 26-ти").*

<...> Самое печальное то, что плохого слесаря к станку не подпускают, а Есенину — три печатных станка к услугам, и в результате, оказывается, что он "покорил" если не "литературочку", как бывало Игорь Северянин, то многих барышень и "марксистских критиков", во всяком случае».

Думаю, ни Северянину, ни Есенину от этой мертвяцкой псевдокритики Крученых хуже не стало, и не такое бывало. Но в самом призыве Крученых сравнить поэтику Есенина с поэтикой Северянина я вижу нечто живое, ведь и в самом деле, кроме Есенина с Северянином таких поэтичных, если можно так сказать, поэтов в России не было, нет и не видно.

Сергей Есенин, входя в большую литературу и рискуя впасть в соблазн оглушительного, но скоротечного успеха, словно бы сердцем услышал мудрое наставление Николая Клюева, которое тот дал в письме молодому поэту в августе 1915 года: «...мы с тобой козлы в литературном огороде и только по милости нас терпят в нем... Особенно я боюсь за тебя: ты, как куст лесной щипицы, который чем больше шумит, тем больше осыпается. Твоими рыхлыми драченами<sup>[12]</sup> объелись все поэты, но ведь должно быть тебе понятно, что это после ананасов в шампанском. <...> Быть в траве зеленым, а на камне серым — вот наша с тобой программа, чтобы не погибнуть. Знай, свет мой, что лавры Игоря Северянина никогда не дадут нам удовлетворения и радости твердой. Между тем как любой петроградский поэт чувствует себя божеством, если ему похлопают в

ладоши в какой-нибудь "Бродячей собаке", где хлопали без конца и мне и где я чувствовал себя наименее счастливым существом. <...> Так что радоваться тому, что мы этой публике заменили на каких-либо полчаса дозу морфия — нам должно быть горько и для нас унижительно. Я холодею от воспоминаний о тех унижениях и покровительственных ласках, которые я вынес от собачьей публики».

В продолжение клюевского письма приведем еще одну цитату. Максимилиан Волошин, никогда не симпатизировавший ни Северянину, ни Есенину, оставил одно весьма важное для начатого нами разговора свидетельство. Составляя во второй половине 1916 года развернутый план статьи «Голоса поэтов», он запишет: «Северянин. Теноровые фиоритуры и томные ариозо, переходящие в лакейский пафос смердяковских романсов, перед которыми не могло устоять ни одно сердце российской модистки. <...> Клюев. Есенин. Деланно-залихватское треньканье на балалайке, игра на гармошке и подлинно русские захватывающие голоса». Здесь дело уже не в технике стиха и не в аллитерациях, а в самой простоте напевности.

Я был бы рад убедиться в их — Северянина и Есенина — искренней расположенности друг к другу. Но, хорошо зная литературную среду и понимая, сколь чужды были окружение Есенина и окружение Северянина, убежден был в том, что ничего кроме резких выражений не встречу. К сожалению, знакомы поэты не были, да и не старались познакомиться, хотя и доводилось выступать на одних вечерах. Чужие были во всем, что не мешало печататься в одном и том же журнале «Млечный Путь». Однако, занимаясь много лет Северянином в Эстонии, я, естественно, нашел высказывания Юрия Шумакова о дружбе двух поэтов и... не поверил этим высказываниям.

К сожалению, как мне кажется, среди эстонских знатоков Северянина — от его последней сожительницы Веры Коренди до Юрия Шумакова — эти близко знавшие поэта люди, не знаю уж почему, то и дело искажают действительность даже в очевидном. Вот и о его дружбе с Есениным Юрий Шумаков пишет:

«С неподдельным восторгом говорил Северянин о Есенине. Он знал наизусть "Анну Снегину" и многие его стихотворения, особенно позднейших лет..."Недаром, — утверждал Игорь Северянин, — имя у него Есенин. Есенин — весенний гений — так хорошо рифмуется. В нем есть, действительно, что-то гениально-весеннее. Сергей — гордость русского народа. Его стих — живой родник. Нет у Есенина притянутых за волосы строк! И как все искренне! Искренность чувствуется у него во всем, даже в ритмах, таких сердечных и простых. Кажется, в них пульсирует сама

жизнь, сама русская стихия. Да, его стихи рождены русской стихией"...

Смерть Есенина просто потрясла Игоря Северянина... Помню, Игорь Васильевич читал мне стихи "На смерть Есенина", они начинались строкой: "Как свежий ветер, дорог ты России..." Опубликованными я их не видел...»

Все бы прекрасно, хоть диссертацию начинай писать о великой дружбе. Но есть же и другие высказывания поэтов друг о друге, какие-то записи, заметки. И в них все выглядит не так однозначно.

Из доброго назову сонет «Есенин» (1925), вошедший в книгу «Медальоны». Подводя предварительные итоги своей жизни в литературе, Северянин даже о врагах писал уважительно.

Он в жизнь вбежал рязанским простаком,  
Голубоглазым, кудреватым, русым,  
С задорным носом и веселым вкусом,  
К уладам жизни солнышком влеком.  
Но вскоре бунт швырнул свой грязный ком  
В сиянье глаз. Отравленный укусом  
Змей мятежа, злословил над Иисусом,  
Сдружиться постарался с кабаком...  
В кругу разбойников и проституток,  
Томясь от богохульных прибауток,  
Он понял, что кабак ему поган...  
И Богу вновь раскрыл, раскаясь, сени  
Неистойой души своей Есенин,  
Благочестивый русский хулиган...

Этакий и правдивый, и хрестоматийный образ крестьянского поэта. Текст сонета написан, по-видимому, при жизни Есенина, иначе Северянин как-то отметил бы факт самоубийства.

А теперь несколько конкретных высказываний и заметок поэтов друг о друге. Всеволод Рождественский вспоминает весну 1917 года: «Мы <с Есениным> подошли к прилавку (в книжном магазине Вольфа в Петрограде. — В.Б.). У нас в глазах зарябило от множества цветных обложек.

— Нет, ты только послушай, как заливается этот индейский петух!

И, раскрыв пухлый том Бальмонта, громко и высокопарно, давясь подступавшим смехом, Есенин прочитал нараспев и в нос какую-то

необычайно звонкую и трескучую строфу, подчеркивая внутренние созвучия. И тут же схватился за лежавший рядом сборник Игоря Северянина.

— А этот еще хлестче! Парикмахер на свадьбе!»

И уж совсем нелепый отзыв Сергея Есенина о его заграничной поездке можно прочесть в письме Мариенгофу от 9 июля 1922 года: «Милый мой, самый близкий, родной и хороший, хочется мне отсюда, из этой кошмарной Европы, обратно в Россию, к прежнему молодому нашему хулиганству и всему нашему задору. Здесь такая тоска, такая бездарнейшая "северянинщина" жизни, что просто хочется послать это все к этой матери».

Какую «северянинщину» разглядел Сергей Есенин в эмигрантском Париже? От Северянина люди впадали в «северянинщину», от Есенина в «есенинщину». Было и то, было и другое. Но отъезд Северянина не в Париж—Берлин—Прагу, а в эстонскую деревушку пагубно отразился на его популярности. В Париже царили Мережковский и Гиппиус, презиравшие поэта. Если до революции то или иное влияние северянинских стихов сказывалось почти у всех поэтов России, от Маяковского до Клюева, от Брюсова до Гумилева, то в эмиграции это влияние стало малозаметным.

Игорь-Северянин, кроме сонета в «Медальонах», вспоминал о своем поэтическом собрате еще и в поэме «Рояль Леандра» в самом насмешливом тоне:

И, сопли утерев, Есенин  
Уже созрел пасти стада...

То есть созрел для роли лидера и вождя поэтического. Впрочем, так и было. Так же иронично в поэме упоминаются Мережковский, Блок, Кузмин, Бердяев, Розанов, Врубель... — и сам Северянин. По крайней мере, для Северянина в первый ряд поэтов Сергей Есенин уже вошел.

А вот противовес шумаковскому псевдовоспоминанию — письмо Северянина его близкой знакомой Софье Карузо от 12 июня 1931 года: «Есенина лично не знал. Творчество его нахожу слабым, беспомощным. Одаренье было. Терпеть не могу Есенина, никогда книг в рук не беру после неоднократных попыток вчитаться. Он несомненно раздут. Убийственны вкусы публики! Да и в моих книгах выискивалось всегда самое неудачное. Все "тонкости" проходили — и проходят — незамеченными. Нравится ли

Вам Гумилев, Гиппиус, Бунин, Брюсов, Сологуб — как поэты? Это мои любимейшие».

Игорь-Северянин часто бывал резок в своих оценках коллег. Вспомним его эпиграмму на Бориса Пастернака (который, кстати, неплохо отзывался о самом Северянине):

Когда б споткнулся пастор на ком,  
И если бы был пастырь наг,  
Он выглядел бы Пастернаком:  
Наг и комичен Пастернак.

Не менее жестко прошелся он и по Зинаиде Гиппиус:

Всю жизнь жеманился дух полый,  
Но ткнул мятеж его ногой, —  
И тот, кто был всегда двуполой,  
Стал бабой, да еще Ягой.

И уж совсем несправедливо о Цветаевой, так замечательно отозвавшейся о его вечере в Париже. Но дело даже не в оценке вечера, сама эпиграмма оказалась ни о чем:

Она цветет не Божьим даром,  
Не совокупностью красот.  
Она цветет почти что даром:  
Одной фамилией цветет.

Но ведь и сам поэт, любой поэт — цветет «почти что даром», поэтическим даром. Кстати, может и поэтому, узнав об эпиграмме, Марина Цветаева свое замечательное письмо так и не отослала Северянину.

Но вернемся к северянинской оценке Есенина. Недостоверность высказывания Шумакова подтверждается и современниками Северянина, что делает неправдоподобной роль Ю. Шумакова (бывшего всего лишь мальчиком-иконодержцем на венчании Игоря-Северянина с Фелиссой Круут) как единоличного хранителя сокровенных тайн «короля поэтов» в поздний советский период. Даже если не касаться эпизода с угнанной

машиной в 1941 году.

Известный филолог Сергей Пяткин так трактует эту неточность:

«Думается, что Ю. Шумаков, готовя публикацию своих мемуаров о Северяnine в 1965 году, сознательно включил в них "есенинский фрагмент", которого на самом деле у автора "Медальонов" не было.

Шумаков "подправляет" биографию Северянина для того, чтобы практически забытый поэт в Советской республике на волне и за счет "есенинского бума" вернулся к читателю. В начале <19>90-х годов, когда были переизданы произведения Северянина и биографические материалы о нем, а также частично была опубликована его переписка, где обнаружилось "неудобное" в известном смысле высказывание Северянина о Есенине, Шумаков расчетливо изъясил из воспоминаний "есенинские фрагменты".

Заслуживает внимания тот факт, что календарь событий в "Заметках о Маяковском" (1941) Игоря-Северянина включает в себя такую любопытную дату: "Это было в ту осень, когда Есенин с Айседорой только что уехали перед нашим приездом в Америку"».

Значит, готов был встретиться с поэтом Северянин?

«Не встреча» Северянина с Есениным очевидно воспринимается в данном случае как событие значительное и — с учетом перипетий заочных взаимоотношений поэтов — символическое.

Чередой идут поэтические переключки с поэтами. Вот Василий Каменский пишет свою «Карусель» в 1917 году, посвящая ее Игорю-Северянину:

*(Игорю Северянину — твоему песнеянству)*

Карусель — улица — кружаль — блестинки  
Блестель — улица — сажаль — конинки  
Цветель — улица — бежаль — летинки  
Вертель — улица — смежаль — свистинки  
Весель — улица — нажаль — путинки.

А уже в следующем, 1918 году Игорь-Северянин признается в поэтической любви к своему собрату.

*Василию Каменскому*

Да, я люблю тебя, мой Вася,

Мой друг, мой истинный собрат,  
Когда, толпу обананася,  
Идешь с распятия эстрад!  
Тогда в твоих глазах дитяти —  
Улыбчивая доброта  
И утомленье от «распятый»  
И, если хочешь, красота...  
Во многом расходясь с тобою,  
Но ничего не осудя,  
Твоею юнью голубою  
Любуюсь, взрослое дитя!  
За то, что любишь ты природу,  
За то, что веет жизнь от щек  
Твоих, тебе слагаю оду,  
Мой звонкострунный Журчеек!

И таких перекрестных поэтических встреч у Игоря-Северянина в те годы было много. Во-первых, он был обязательным и деликатным человеком; во-вторых, такие поэтические диалоги и составляли литературную жизнь.

Отдельно я хотел бы написать о самом верном и достойном ученике Игоря-Северянина — о Георгии Шенгели и его роли в жизни поэта. Тем более что понаписано о нем много неправды.

## Учитель, воспитай ученика... Игорь-Северянин и Георгий Шенгели

Молодое поколение Серебряного века почти все, за редким исключением, прошло через влияние Игоря-Северянина. Кто больше, кто меньше, но молодые поэты — от Юрия Олеши до Павла Антокольского — перед тем, как погрузиться в холод подступающих 1930-х годов, покружились на балу у «короля поэтов».

Из них самым преданным и учеником, и другом Игоря-Северянина оказался сегодня уже полузабытый поэт Георгий Шенгели. Может быть, ныне его учитель и вытасчит этого поэта из литературного забвения?

Родился Георгий Аркадьевич Шенгели 20 апреля 1894 года в казачьей станице Темрюк в семье адвоката. Он был внуком грузинского священника. Учился в Керченской гимназии. Еще гимназистом стал пописывать в газетах статьи о поэзии, театральные рецензии. С семнадцати лет появились и стихи, кстати, весьма изысканные. В 1913 году во время гастролей футуристов по Крыму познакомился лично с Игорем-Северянином, Владимиром Маяковским, Давидом Бурлюком. Так получилось, что сблизился он с Северянином. В поэтических сборниках Шенгели заметно было влияние Северянина, чем последний откровенно гордился.

В декабре 1913 года на улицах Керчи появилась афиша: «ОЛИМПИАДА ФУТУРИЗМА. Состязаются: Игорь-Северянин, Владимир Маяковский, Давид Бурлюк, Вадим Баян». Посетил эту Олимпиаду и даже гостиницу «Приморская», где остановились поэты, и гимназист выпускного класса Георгий Шенгели. Читал уже прославившимся футуристам свои стихи. Северянин его похвалил: «Вы правильно читаете, только нужно больше петь». Маяковский сказал снисходительно: «Есть места. Вот у вас "голос хриплый, как тюремная дверь"; это ничего; это образ». Не чуя под собой ног, взволнованный Шенгели покинул гостиницу: он будет поэтом!..

Окончив гимназию, в 1914 году Георгий Шенгели выпускает в свет первую книгу стихов «Розы с кладбища». Помня похвалу Северянина, начинающий поэт также именуется эгофутуристом, а стихи свои —

поэтами. На вторую и третью книги Шенгели — «Лебеди закатные» и «Зеркала потускневшие» (обе 1915 года) — харьковская газета «Южный край» поместила пронизательный отклик: «Хотя поэт связывает себя с футуристами, — он ясен, кладет мысль в основу каждого стихотворения, дает много красивых образов, безусловно талантлив».

В 1916 году у него вышел сборник «Гонг», замеченный критикой, похвалил его и сам Валерий Брюсов. С того же года Шенгели уже наравне с Северянином ездил в поэтические турне, читал реферат о творчестве Игоря-Северянина «Поэт Вселенчества». Нимало не смущаясь, Шенгели ставил Северянина вровень с... Пушкиным.

Сохранились отзывы в газетах на гастрольные поездки друзей. Приведу их для полноты картины.

«1-й вечер Игоря Северянина» (Тифлисский листок. 1917. № 23. 28 января):

«Вечер открылся чтением лекции г. Шенгели, ознакомившим обширную аудиторию с разными течениями современной русской поэзии и с основными мотивами творчества Игоря Северянина, ярким апологетом которого является лектор.

Как содержание лекции, так и изложение ее вполне положительно, красиво, обстоятельно. Единственным дефектом этой лекции надо считать некоторую тенденцию г. Шенгели возвысить своего любимца, Игоря Северянина, не только за счет современных писателей, как, например, Валерия Брюсова, на которого он поминутно замахивался, но и за счет Некрасова. Это, по нашему мнению, не этично, тем более, что г. Шенгели разъезжает с г. Северяниным вместе и в данном случае как бы говорят в один голос.

После маленького антракта г-жа Балькис-Савская прочла несколько стихотворений Северянина: "Зизи", "В шумном платье муаровом" и др. на "бис", очень понравившиеся публике.

Затем г. Шенгели прочел свои стихи, из которых особенно хороши: "В аметистовом сумраке", "Мне было пять лет" и много других на бесконечные "бис" публики.

Стихи г. Шенгели красивы, поэтичны, полны чувств и создают желанное автору настроение. Поэта наградили аплодисментами и цветами. Кроме того, г. Шенгели, кстати сказать, прекрасный декламатор, прочел с большим подъемом чувств несколько прекрасных стихотворений Игоря

Северянина, из которых особенно красивы: "Двенадцать принцесс", "Весенний день" и др.

Вечер закончился декламацией поэта Игоря Северянина, встреченного публикой овациями.

Поэт прочел лучшие свои стихотворения, после чего ему от публики был поднесен роскошный лавровый венок со следующей надписью: "Игорю Северянину, певцу весны и жизни от внемлющих ему в Тифлисе".

Поэта вызывали бесконечное число раз, заставляли бисировать стихи и, засыпав его цветами, проводили овациями.

Зал был переполнен публикой».

Ю. Гик «На поэзовечере Игоря Северянина, 29 января» (Кавказское слово. Тифлис, 1917. № 25. 31 января):

«Можно сказать, что Игорь Северянин создает обаятельные, полные силы и страсти, легенды из маленьких кусочков жизни, такой бледной, такой обыденной. И много этих дивных легенд было пропето поэтом на втором своем поэзовечере, оставившем не менее благоприятное впечатление, чем первый. Поэт был на этот раз щедрее, не так замкнут и холоден, и музыка слов его, таких неожиданных, таких гибких и стальных, вызывала бурю восторга. Большой успех имел другой поэт, Г. Шенгели, прочитавший поэтическую чудную сказку о старике-моряке и его маленьком домике. Эта сказка — лучшее, что дал Г. Шенгели в своем "Гонге", сборнике стихов. Краткий сжатый доклад "Самураи духа", прочитанный на этот раз Г. Шенгели, был очень интересен. Самураи, каковое имя несут представители старого японского дворянства, поразившие мир своим героизмом во время Русско-японской войны, по определению Г. Шенгели, есть люди, сочетающие в себе все стороны человеческой души, самураи духа — это символ слияния всех качаний жизненного маятника; таков Генрих Гейне, таков Пушкин, горячим поклонником коего является докладчик, Пушкин, сочетавший в себе и Шекспира, и Байрона, предвосхитивший идеи Верхарна и Верлена, Пушкин, один из тех поэтов, кто является равнодействующей между мирозерцанием и мироощущением. Третьим самураем Г. Шенгели считает принесшего "новое пушкинство"... Игоря Северянина».

Ю. Гик «На поэзовечере Игоря Северянина 30 января» (Кавказское слово. Тифлис, 1917. № 27. 2 февраля):

«Лучшее, что было на третьем и последнем поэзовечере Игоря

Северянина, это стильный, яркий доклад Г. Шенгели о Верхарне, так трагически, по железной воле рока, недавно погибшем. Ярко и цветисто говорил докладчик о совершенной форме стихов Верхарна, о его ослепительных образах, волнующих и манящих, о смелых антитезах — темах верхарновских стихов, о сочетании в душе Верхарна Испании и Фландрии, о гимнах его могучему, здоровому началу, которое поэт находил и в тучных желтеющих полях, и в хлебе, и в винограде, и в мускулистом крестьянине, и в рослой крестьянке, и в диких стадах быков, и во всем, во всем живущем, дышащем, пьющем воздух, вдыхающем аромат цветов и яркого солнца. Верхарн — поэт культуры, — и, <как> говорит Игорь Северянин, погиб от воспеваемой им великой силы — культуры, но докладчик не согласен с этим утверждением и считает причиной гибели Верхарна не культуру, сотворившую поезд, чьи могучие колеса искромсали тело поэта, а запредельную волю, некую таинственную сущность, умертвляющую и великого поэта, и последнего нищего духом, ибо и тот и другой "бренен". Эта запредельная воля, эта таинственная сущность... <...> беспредельно и властно царит над бренным миром, мятущимся, ищущим смятенно и в отчаянии не находящим смысла и оправдания жизни, и в железных объятиях своих эта неведомая и таинственная воля душит все живое, все культурное и осмысленное. <...>

Глубокие мысли, яркие, фантастические слова, в кои облек молодой человек свой доклад, блестящие каскады блестяще построенных фраз, глубокое преклонение перед воспеваемым гением, редкая проникновенность в идеи делают честь докладчику, сумевшему на протяжении трех вечеров, в течение 2—3 часов, блеснуть своим запасом знания, глубиной чувства и искренностью тона. С удовольствием отмечаю блестящий успех у многочисленной аудитории. Тепло принимали и Балькис-Савскую и редкого гостя нашего, Игоря Северянина...»

Ю-рий. «Поэзовечер» (Баку, 1917. № 29. 5 февраля):

«Выступлению Игоря Северянина предпослан был краткий доклад г. Георгия Шенгели, характеризующий литературные течения, предшествовавшие поэзии г. Северянина, и основные мотивы его творчества. <...> И вот — на смену одинокому, замкнутому индивидуализму выдвигается космическое сознание общности и связи всего сущего. Индивидуалистическая концепция миропонимания не противопоставляется больше соборности, как ее антитеза, и находит свое синтетическое примирение с нею в положении: я — индивид, но ты — брат мой, такой же, как и я. Это космическое сознание общности всего сущего и лежит в основе поэзии Игоря Северянина. Каждый момент непрерывного

потока жизни представляет для поэта особую, лишь ему — этому моменту — присущую ценность, и поэт стремится изжить всю полноту его, изжить его "монументально". В этом смысле глубокое выражение поэта — "Монументальные моменты". Соответственно определившись еще в символизме двум направлениям творческих переживаний — экзотике и урбанизму намечаются и основные мотивы "вселенчества", проникнутого солнечной влюбленностью в предметы реального мира. Вульгарная критика определила Игоря Северянина как поэта "ресторанных поэм", но глубина этих поэм не была замечена ею. Георгий Шенгели останавливается в дальнейшем на отдельных поэмах Игоря Северянина и метко, красиво их характеризует. В заключение своего доклада, скорее вступительного слова к последующему, лектор обращает внимание на современную ритмику стиха, опирающуюся на чередование второстепенных ударений и цезур. Школьный канон знает пять основных размеров; между тем только один пятистопный ямб дает 128 возможных вариантов в одной строке. Это богатство языка широко использовано Игорем Северяниным, и его стихи чрезвычайно богаты певучими ритмами. Дабы выявить эту многозвучную ритмику стиха, и в чтении своих поэм поэт придерживается своеобразной манеры, чуждой той, какая принята на сцене. Там стараются читать стихи так, как говорят, между тем в чтении их должна чувствоваться не разговорная речь, а именно стих. <...>

После краткого перерыва, последовавшего за речью г. Шенгели, г-жа Балькис-Савская и Игорь Северянин читали стихи последнего, а Г. Шенгели — свои».

Проходили и собственные вечера Шенгели.

4 февраля 1917 года, Армавир, театр «Марс».

Поэзовечер.

Доклад Г. Шенгели «Поэт вселенчества».

Чтение стихов: Г. Шенгели, М.В. Волнянская.

Я.В. Перович «Об Игоре Северянине» (Отклики Кавказа. Армавир, 1917. № 31. 8 февраля):

«Вчера я видал сухощавого и будто уже немолодого человека, вышел он на эстраду небрежно — неуклюжей походкой, поднял кверху голову и нараспев начал читать свои стихи.

Как быстро иногда старится молодость! И как часто ее открытия и дерзновения остаются сзади через несколько всего лет.

Еще недавно вокруг Иг. Северянина кипели ожесточенные споры, его ругали все, кому не лень было ругаться.

Теперь ему аплодируют, требуют от него повторений.

И теперь он читает о Бельгии, немного вспоминая только о своих ананасах в шампанском.

Чичероне по вертограду северянинских цветов поэзии г. Георгий Шенгели неумолимо доказывал полчаса, что Иг. Северянина не надо бояться, что новые его слова апробированы академиками-профессорами, что он благонамеренный новатор, пойти за которым не представляет опасности.

Напрасны были эти слова: новаторство Иг. Северянина быстро перестало быть новаторством. Он мил, изящен, немного эксцентричен, — этот изысканный аматер новых слов и лексики общепотребительных франко-английских слов, которые вы все найдете в любом романе Марселя Прево или г-жи Жан.

Г. Шенгели много говорил о новом кадансе стихов Иг. Северянина. Нам продемонстрировали его для очевидности. Каданс обычного вальса и даже мелодия его.

Пикантно звучит это, когда идет речь о "грезерках", о лорнете, кларете, ландолете и т. д., но как утомителен и неинтересен этот вальс, когда под аккомпанемент его говорятся слова, претендующие на космичность, на художественное, творческое слияние предмета с миром. <...>

Прошел поэзовечер, еще звучит напев вальса, еще мерещится серое лицо поэта, кукольное личико декламаторши и оскаленные, как у задорного волчонка, зубы докладчика.

Еще слышится хихиканье публики, которая по существу умнее, чем это кажется по ее внешнему поведению.

Все поглощено аплодисментами и требованиями новых декламаций. Игорь Северянин признан, ему аплодируют, его более не боятся».

14 февраля 1917 года, Ростов-на-Дону, Ростовский театр.

Поэзовечер.

Доклад Г. Шенгели «Поэт вселенчества».

Чтение стихов: Г. Шенгели, М.В. Волнянская.

К. Треплев «Поэзовечер» (Ростовская речь. 1917. № 144. 17 февраля):

«Георгий Шенгели — тень "великого" Игоря. <...> "Тень" поэта, как всякая тень, безобразно преувеличивает размеры "хозяина".

— Поэт городской культуры.

— Провидец.

— Предтеча нового "пушкинства".

Так кривляется Игорева "тень", с детской небрежностью развенчивая наших символистов, и играет, как кубиками, громкими фразами о "космическом сознании", о "монументальных моментах". <...>

Если Георгий Шенгели — тень Игоря Северянина, то г-жа Балькис-Савская — кривое зеркало Игоря Северянина. Дешевая граммофонная пластинка, которую неудачно "напел" Игорь Северянин. Как попугай, твердит г-жа Балькис-Савская заученные "на одной ноте" Поэзы Игоря Северянина, разные "ананасы в шампанском", приводя в неописуемый восторг публику.

Весело и искренне, от всего сердца публика потешалась над несчастной жертвой этого "поэзовечера". <...>

И упоенная двусмысленными аплодисментами "поэзосолистка" продолжала заученно щебетать разные "вирелэ" и "изыски".

Игорь Северянин — на ампула "несравненной" — приберег себя к концу вечера. <...> И с обычной своей наивностью, которая некогда чаровала нас, стал читать прелестное:

— Погиб бирюзовый Лувен...

Снисходительным кивком головы отвечал на приветствия — и снова читал.

Одна "поэза" следовала за другой.

Публика неистовствовала. Собственно, неистовствовала молодежь.

"Несравненной" от поэзии кричали:

— "Шампанское в лилию"...

— "Молодежь"...

— "Русскую"... <...>

Игорь Северянин ожидал, когда наступит тишина, и бросал в толпу:

— "Обожаю тебя, молодежь"».

И так они ездили по всей России, вплоть до Февральской революции 1917 года.

Февральская революция застала их в Харькове. Затем поэты оказались в разных странах, казалось бы, конец и дружбе.

Но Игорь-Северянин напишет стихотворение «Геorgию Шенгели»: *«Ты, кто в плаще и в шляпе мягкой, / Вставай за дирижерский пульт! Я славлю культ помпезный Вакха, Ты — Аполлона строгий культ!.. Ты — завсегда тай мудрых келий, Поющий смерть, и я, моряк, Пребудем в дружбе: нам, Шенгели, Сужден везде один маяк».*

В начале 1919 года Шенгели появляется в Одессе и оказывается в кругу местных литераторов, но во взаимоотношениях с ними нет полного созвучия. Казалось бы, ровесники: Шенгели на два года моложе

Паустовского, всего на год старше Багрицкого, на три — Катаева. С остальными разрыв, правда, побольше. Но Шенгели, условно говоря, классик и эстет, окруженный поэтическими бунтарями. «Я работаю напряженно», — пишет он Волошину в Коктебель. За полтора одесских года он издает сборники «Изразец», «Еврейские поэмы», драматические сцены «1871», драматическую поэму «Нечаев», сотрудничает в газете «Моряк», участвует в поэтических вечерах. В изысканном издательстве «Омфалос» выходит первый сборник поэтических переводов — сорок сонетов Эредиа с посвящением: «Максимилиану Волошину с любовью и преданностью этот малый труд посвящаю».

В марте 1922 года Георгий Шенгели из Харькова переезжает в Москву. За «Трактат о русском стихе» он был удостоен звания действительного члена Государственной академии художественных наук. Валерий Брюсов пригласил его в качестве профессора вести курс стиха во ВЛХИ1. В 1925—1927 годах Шенгели избирают председателем Всероссийского союза поэтов.

Побывавший уже в руководстве Союза поэтов, избранный в академики художественных наук, Шенгели наладил переписку и с эмигрантской Эстонией. Активно сотрудничал в советской печати. В основном в качестве переводчика. Пожалуй, он контролировал чуть ли не все поэтические переводы тех лет.

В относительно недавних перестроечных статьях из блестящего переводчика лепили некоего диссидента, внутреннего эмигранта, стихи которого чуть ли не запрещали печатать в Москве. Но именно в 1937 году Георгий Шенгели публикует одну из своих поэм в «Новом мире», и концовка ее полностью о Сталине. Вряд ли за Шенгели поэму писал кто-то другой. Позже Шенгели сочинил целых 15 поэм о вожде и переслал их в Кремль. Сталин в печати их видеть не пожелал, но дал переводчику зеленую улицу. Теперь уже такие мастера перевода, как Арсений Тарковский, Семен Липкин, Анна Ахматова, Павел Антокольский, Осип Мандельштам, приходили к Шенгели с просьбой о переводах каких-нибудь туркменских или других национальных поэтов. Не забывал Шенгели и о своем первом учителе.

Собственные стихи Георгия Шенгели после 1939 года вышли лишь в 1988-м. Строжайший к любым нюансам в литературе Вадим Кожинов, который любил поэзию Шенгели, восхищался естественностью его поэтической строки, называл ее «не смятой», подчеркивал, что это является вершиной мастерства поэта. Вот одно из его стихотворений:

Здравствуй, год шестидесятый!  
Здравствуй! Ты ль — убийца мой?  
Чем удавишь? Гнойной ватой?  
Тромбом? Сепсисом? Чумой?  
Разом свалишь? Или болью  
Изгрызешь хребет и грудь,  
Не дозволив своеволью  
Шнур на шее затянуть?  
Но ведь я — из тех, кто вышел  
В жизнь в двенадцатом году,  
Кто в четырнадцатом слышал  
Мессу демонов в аду;  
Кто в семнадцатом, в тридцатом  
Пел громам наперебой,  
Не сдаваясь их раскатам,  
Оставаясь сам собой;  
Кто на крыше в сорок первом  
Строчкам вел — не бомбам — счет...  
Так моим ли старым нервам  
С дрожью твой встречать приход?  
Подползай с удавкой, с ядом,  
Дай работу лезвию, —  
Не боюсь! Со смертью рядом  
Я шагал всю жизнь мою!

Стихотворение интересное, написанное Георгием Шенгели 2 мая 1953 года к собственному 59-летию. Сейчас многие литературоведы утверждают: мол, Шенгели могли отомстить за травлю Маяковского. Но кто только Маяковского не травил в 1920-е годы, и ничего — дожили до седых волос.

К тому же явным зачинщиком конфликта был Маяковский. Он писал: «...молотобойцев анапестам учит профессор Шенгели. Тут не поймете просто-напросто, в гимназии вы, в шинке ли?»<sup>2</sup> Даже не понять, за что набросился наш Маяк на молодого и талантливого поэта, поэта большой литературной культуры? Разве он был прав, утверждая, что «...среди ученых шеренг еле-еле в русском стихе разбирался Шенгели»? Вот и получил в ответ от Шенгели книгу-памфлет «Маяковский во весь рост». Но и Сталин, признав величие Маяковского, не собирался бороться со всеми

критиками поэта.

А я хотел бы обратить внимание совсем на другое, ни в чем не укоряя известного поэта и переводчика. Когда-то Игорь-Северянин в стихотворении «Георгию Шенгели» писал: «Ты — завсегда́тай мудрых келий, / Поющий смерть, и я, моряк, *Пребудем в дружбе: нам, Шенгели, Сужден везде один маяк*». Северянин уловил в своем ученике и собрате по перу тягу к высокому искусству, уловил и пристрастие к авантюризму. Уже после присоединения Эстонии в 1940 году к Советскому Союзу Георгий Шенгели первым ринулся помогать нищему и больному эмигранту.

Я не думаю, что Шенгели без каких-либо контактов со спецслужбами вышел на Северянина, отобрал из написанного его новые стихи и опубликовал в ведущих литературных журналах Советского Союза, в «Красной нови» и в «Огоньке». Наверняка добро от органов было получено. Не случайно же поэта Шенгели готовили к подпольной работе в Москве на случай ее оккупации немцами, значит, для режима он проверенный был человек. Да и советы Северянину он давал не случайные: и о письме Сталину, и о других делах. Он был уверен, что в советской поэзии для Северянина найдется достойное место. Кстати, уверен в этом и я.

Как пишет Михаил Шаповалов: «Опубликована переписка Северянина с Георгием Шенгели, где в письмах 1940—1941 гг., времени, когда по пакту Молотова-Риббентропа СССР аннексировал Эстонию, о переводах идет речь на каждой странице: "Не пригодится ли перевод 'Моего завещания' Ю. Словацкого? Есть еще два перевода из Евгении Масеевской. Есть с румынского, болгарского, сербского, еврейского. Есть еще вся 'Меланхолия' (5 стихов) Верлэна". Шенгели неистово принялся доставать работу для друга молодости, присылал подстрочники Мицкевича — Северянин послушно работал, потом писал: "Жду с упоением французских поэтов. Но теперь буду работать чуть медленнее: прошлый раз повлияло на голову, а мне врачи запретили перегрузку еще в апреле прошлого года. Эстонского языка совсем не знаю. (Вообще на языки тупица!) От фольклора, к сожалению, категорически уклоняюсь: не моя это сфера". Шенгели предполагал, что Союз эстонских писателей может помочь бедствующему Северянину, тот отвечал: "Терпеть меня не могут: я не усвоил языка и т. д. Вообще за все 23 года я был в стороне от них, а они от меня". "Французские поэты", упомянутые выше, в одном из писем

расшифровываются: "Умышленно подзадержал отправку этого письма, ежедневно ожидая французских коммунаров": речь идет о медленно готовившейся антологии "Поэзия Парижской коммуны", вышедшей в Москве только в 1947 году. Но год был 1941-й, скоро стало не до коммунаров (переводов Северянина в книге нет), дошло до "переводов с туркменского", упомянутых в письме от 15 июня 1941 года, — Шенгели пытался помочь Северянину хотя бы так. Но это письмо было последним, напрасно Северянин писал о туркменских поэтах: "Работа, конечно, очень трудная и нудная, но она может дать деньги, и я энергично (понемногу!) работаю"...»

Ничего не известно и о переводах туркменских поэтов, где они, сохранились ли? Может быть, стоит поискать в архивах Союза писателей Туркмении?

Остается неразгаданным и то, откуда Георгий Шенгели так быстро узнал о смерти Северянина в оккупированном немцами Таллине в конце 1941 года. Ссылка на писателей маловероятна. Наверняка сообщили по спецканалам и дали добро Шенгели на сочинение стиха памяти поэта. Значит, удостоверились и в достойном поведении Игоря-Северянина при немцах. По крайней мере, стихотворение Георгия Шенгели — единственный прощальный отклик советского поэта:

*На смерть Игоря Северянина*

*Милый Вы мой и добрый!*

*Ведь Вы так измучились...*

*И. Северянин*

Милый Вы мой и добрый!  
Мою Вы пригрели молодость  
Сначала просто любезностью,  
Там — дружбою и признанием;  
И ныне, седой и сторбленный,  
Сквозь трезвость и сквозь измолотость,  
Я теплою Вашей памятью  
С полночным делюсь рыданием.  
Вы не были, милый, гением,  
Вы не были провозвестником,

Но были Вы просто Игорем,  
Горячим до самозабвения,  
Влюбленным в громокипящее,  
Озонных слов кудесником, —  
И Вашим дышало воздухом  
Погибшее мое поколение!  
Я помню Вас под Гатчиной  
На Вашей реке форелевой  
В смешной коричневой курточке  
С бронзовыми якоречками;  
Я помню Вас перед рампами,  
Где бурно поэты пели Вы,  
В старомодный сюртук закованы  
И шампанскими брызжа строчками.  
И всюду — за рыбной ловлею,  
В сиянье поэзоконцертовом —  
Вы были наивно уверены,  
Что Ваша жена — королевочка,  
Что друг Ваш будет профессором,  
Что все на почте конверты — Вам,  
Что самое в мире грустное —  
Как в парке плакала девочка.  
Вы — каплей чистейшей радости,  
Вы — лентой яснейшей радуги,  
Играя с Гебою ветреной,  
Над юностью плыли нашею, —  
И нет никого от Каспия,  
И нет никого до Ладоги,  
Кто, слыша Вас, не принес бы Вам  
Любовь свою полной чашею...

*15.III.1942*

## Среди эстов

Игорь-Северянин впервые посетил Тойла, насколько известно, в 1912 году. В следующем, 1913 году, напомним, он навестил снимавшего там дачу Федора Сологуба. В годы Первой мировой войны Северянин уже подолгу жил в Тойла.

В «Письме из Эстонии» он так характеризовал этот край:

Ты, край святого примитива,  
Благословенная страна.  
Пусть варварские времена  
Тебя минуют. Лейтмотива  
Твоей души не заглушит  
Бедлам всемирных какофоний.  
Ты светлое пятно на фоне  
Хаосных ужасов.

Писатель из Эстонии Юрий Шумаков вспоминает:

«Это имя — Игорь Северянин, а затем и сам поэт были знакомы мне с детства. Наша семья жила в Тарту. Мой отец, Дмитрий Львович, литератор, педагог, актер, знакомый Игоря Северянина еще по Петербургу, часто гастролировал в летние месяцы в Нарва-Йыэсуу (Усть-Нарва, Гунгербург). Как-то, гуляя с отцом у реки, там, где Россонь впадает в своенравную Нарову, я увидел лодку, а в ней рыболова. Он, словно священнодействуя, весь отдался своему занятию. Внезапно человек в лодке резким движением выхватил из кармана какую-то книжицу и принялся с лихорадочностью что-то записывать. Перехватив мой взгляд, отец сказал: "Это — поэт Игорь Северянин".

Через несколько дней после прогулки у реки сижу как-то на крыльце. Из проулка показался человек. Лицо его, изрезанное глубокими морщинами, чем-то напоминало индейского вождя. Не хватало лишь пера в черных, как смоль, волосах. Я узнал его...»

На фотографиях и портретах эстонского периода Игорь-Северянин и впрямь напоминает какого-нибудь Чингачгука. К Эстонии Игоря приохотили еще родители. Отец будущего поэта Василий Петрович Лотарев, его брат Михаил и сестра Елисавета обучались в ревельском

(таллинском) пансионе. Мать, Наталья Степановна, проводила с Игорем летние месяцы на эстонском курорте в Гунгербурге (Усть-Нарве).

Позже поэт снимал уже сам дачу в приглянувшейся ему Тойла. Этот небольшой приморский поселок с 1918 года стал для него вторым домом. Здесь он написал свои лучшие произведения эстонского периода. Отсюда пешком, с ночевкой на берегу озера, он частенько ходил в Пюхтицкий Успенский монастырь.

Об этом вспоминает Юрий Шумаков:

«Начиная с 1918 года Тойла становится постоянным местопребыванием поэта, и с тех пор учащаются его "походы" в Пюхтицкую обитель. Он направляется туда то один, то в сопровождении своих знакомых. В Тойле до наших дней сохранился небольшой домик и в нем — кабинет поэта. На стенах — изображения близких и дорогих Игорю Васильевичу деятелей русской культуры, в углу — икона небесного покровителя Северянина, одного из первомучеников Руси, святого князя Игоря из рода Ольговичей. Игорь Васильевич хорошо знал житие своего одноименника. В судьбе этого мученика он видел прообраз трагедийных событий, которые выпали на его долю.

Кроме этой иконы, у Игоря Северянина был образок-талисман. С ним поэт никогда не расставался, веря в силу иконки. Он носил образок в нагрудном кармане, у сердца. В стихотворениях "В долине Неретвы" и, в особенности, в "Сперате" повествуется о преследовавших поэта несчастьях. Избавление от напастей он приписывал заветной иконке.

Автор этих строк в 30-е годы не раз сопутствовал Игорю Северянину во время его прогулок к девичьей обители. Выходили мы ни свет ни заря. Путь был прямым, и поэтому нам приходилось переправляться через весьма широкие протоки на челнах, припрятанных в густых зарослях. Останавливались на уютных озерах, рыбачили. Поэт делился воспоминаниями о давних днях. <...> Вот так, с бесчисленными рассказами о Петербурге, о выступлениях, о встречах с известными писателями, певцами, художниками, с неизменной удочкой в руках Игорь Васильевич приводил спутника в Пюхтицы. Улов по обыкновению дарил инокиням. Не считал излишним каждый раз восторгаться способом, которым в монастыре укладывались дрова, на эдакий старинный Северорусский манер. Но прежде чем войти в обитель, мы сворачивали с дороги к монастырскому источнику. Осенив себя широкого размаха крестным знаменем, Северянин входил в обжигающую стужу родника. Неожиданное ощущение дарило это купание, после которого по телу буквально токами расходилась знойная теплота.

Воспитанный в православных традициях, Игорь Северянин уже в раннем творчестве затрагивал церковные мотивы. Например, в "Пасхальном гимне" или в "Каноне св. Иосафу". Искренне чтит он Пресвятую Деву.

Как-то по пути в Куремяэ Игорь Васильевич читал мне написанное в 1923 году стихотворение "Мария":

Серебристое имя Марии  
Окариной звучит под горой.  
Серебристое имя Марии  
Как жемчужин летающий рой.  
Серебристое имя Марии  
Говорит о Христе, о кресте...  
Серебристое имя Марии  
О благой говорит красоте.  
Серебристое имя Марии  
Мне бессмертной звездой горит.  
Серебристое имя Марии  
Мой висок сединой серебрит.

Одним из любимейших церковных праздников поэта было Успение. Двадцать восьмое августа настраивало его на особый лад, ему хотелось провести этот день в Пюхтицком Успенском монастыре. Преображению Игорь Васильевич также придавал особую значимость и об этом празднике писал во многих своих произведениях. Пасха же навевала ему дорогие воспоминания. Северянин был ностальгической натурой, он любил, бывая у нас, в беседах с моим отцом, Дмитрием Львовичем, вспоминать родной Петербург...»

Между русским периодом жизни поэта до 1918 года и его эстонским бытием была и резкая черта, связанная не столько с революцией, сколько с поэзией. Игорь-Северянин отправился в уже привычную для себя и своих близких Тойла, как помним, вместе с больной мамой и двумя своими женщинами. Уехал не столько от революции, сколько от бытовых неудобств, думал отсидеться в эстонской глуши <sup>[13]</sup>. К самим революциям, Февральской и Октябрьской, Северянин поначалу отнесся благожелательно. Написал «Гимн Российской республике», затем «Моему народу» (март 1917 года). Но он ненавидел Керенского, считая его «паяцем трагичным на канате». Зато высоко оценил Ленина за его призывы к

окончанию войны.

Однако вскоре была образована Эстонская республика, и Северянин оказался эмигрантом. Или, как он сам себя называл, — «дачником». Дальше, вплоть до смерти поэта в Таллине в декабре 1941 года, 23 года будет длиться эстонский «дачный период».

Из голодного и холодного Петрограда поэт приехал в январе 1918-го в Эстонию не случайно. Еще в 1914 году он писал в «Балтийских кэнзелях»:

В пресветлой Эстляндии, у моря Балтийского,  
Лилитного, блеклого и неуловимого,  
Где вьются кузнечики скользяще-налимово,  
Для сердца усталого — так много любимого,  
Святого, желанного, родного и близкого!

С Эстимаа был до революции связан отец поэта. Да и сам стихотворец любил наезды в это селение. Эст-Тойла стоит на берегу моря, можно и порыбачить, и предаться уединению. Он не скрывал, что живет в Эстонии «как в норке крот». Любил он Тойла и щедро вводил в свою поэзию.

### *Тойла*

За двести верст от Петрограда,  
От станции в семи верстах,  
Тебе душа поэта рада,  
Селенье в еловых лесах!  
Там блекнут северные зори,  
Чьи тоны близки к жемчугам,  
И ласково подходит море  
К головокружным берегам.  
Как обольстительное пойло, —  
Колдуйный нектар морефей, —  
Влечет к себе меня Эст-Тойла  
Волнами моря и ветвей.  
Привет вам, шпроты и лососи,  
И ракушки, и голоса,  
Звучащие мне на откосе, —  
Вы, милые мои леса!  
Давно я местность эту знаю,  
Ее я вижу часто в снах...  
О, сердце! к солнцу! к морю! к маю!  
К Эст-Тойле в еловых лесах!

### *Toila. 1918*

Я проехал на машине от Таллина до Тойла, от Тойла до Пюхтицкого монастыря и обратно, обошел все старые улицы, осмотрел и дом, где жил поэт. Дом 58 на улице Пикк обозначен памятной доской, посвященной русскому поэту Игорю-Северянину, который жил и работал в Тойла с 1918 по 1936 год. В Тойла, повторю, подолгу жил поэт Федор Сологуб, снимавший дачу на краю селения. По примеру Федора Кузьмича Игорь-Северянин, как помним, стал снимать дачу у тойлаского плотника Михкеля Круута, в семье которого подрастала дочь Фелисса, увлекавшаяся поэзией. Здесь же, на площади, со стороны моря, находится памятник общественному деятелю Абраму Сиймону, который в 1882 году построил первое здание сельского театра на улице Пикк, 73. Интересно, что здание Тойлаского театра было уменьшенной копией Мариинского театра в Петербурге. К сожалению, к нашему времени постройка не сохранилась, сгорела. Приезжал на отдых в Тойла и писатель Александр Куприн вместе с женой.

Истинным украшением Тойла традиционно называют парк Ору. Парк Тойла — Ору оформили в конце прошлого века и постепенно дополняли многими видами деревьев. На центральной аллее посажены липы. Это липы-«медведи», искусно выращенные тогда же, в конце прошлого века, Купфольдом. А всего насчитывают 270 разновидностей кустов и деревьев. Зеленые насаждения привозились из Европы, Северной Америки, Дальнего Востока.

Поэт искренне восхищался тихой и спокойной, трудовой и чистенькой Эстонией, что отразилось в его «Поэзе об Эстонии»:

Как Феникс, возникший из пепла,  
Возникла из смуты страна.  
И если еще не окрепла,  
Я верю, окрепнет она:  
Такая она трудолюбка,  
Что сможет остаться собой.  
Она — голубая голубка,  
И воздух она голубой.  
Всегда я подвержен надежде  
На этих утесах, поверь, —

В Эстляндской губернии прежде,  
В республике Эсти теперь.

После публикации в эстонской прессе «Поэзы об Эстонии» Северянин получил письмо от некоего Эд. М-р, который писал:

«Глубокое и сердечное спасибо Вам, поэт, за поэзу о Эстонии, напечатанную в "Свободе России". Каждый эстонец, проживший много лет в России и нашедший там уют, но вынужденный теперь покинуть ее по смутам и волнениям, с особенной приятностью читает теперь Ваш милый стишок об Эстонии. Жаль, что я не поэт, а то бы его непременно перевел на эстонский язык. Желая от души видеть побольше таких произведений — этим будет достигнута крепкая духовная связь между Эстонией и Россией.

О, милые Русские поэты, как вы нам, эстонцам — жившим в течение долгих лет на берегах Невы — чрезвычайно дороги. Разверните свои могучие мысли для создания крепкого духовного союза».

В 1921 году, 13 ноября, тихо скончалась мать поэта, Наталья Степановна Лотарева. Не помогли и моления самого поэта:

Боже! Господи! Великий и милостивый!  
Дай пожить ей и смерть отсрочь!  
Не отнимай у меня моей матери, —  
Не превращай моего дня в ночь...

Нину Степановну похоронили на тойласком кладбище. Не знаю, как дальше распорядился бы Игорь-Северянин своей жизнью, где бы он жил. Ведь в Эстонской республике русских эмигрантов, даже белых, не привечали. Вовремя встретила его юная эстоночка Фелисса, влюбленная и в него, и в его стихи, да и жившая в том же доме, где обитал поэт.

О его верной жене, «принцессе с эстонской мызы», хорошо написал все тот же Михаил Петров: «К осени 1921 года назрел конфликт в отношениях Игоря-Северянина с Марией Волнянской, причиной которого была юная Фелисса. С ее появлением в жизни поэта надолго прервалась череда "узнаваний"».

Фелисса Круут и правда занимает в жизни и в творчестве Игоря-Северянина особое место. Их брак продлился без малого 15 лет. Семья Круут надолго оградила поэта от большинства бытовых проблем. Фелисса умела быть мягкой и требовательной одновременно. Она понимала, что

жизнь с поэтом требует от нее постоянной готовности к самопожертвованию. Ради мужа Фелисса пожертвовала собственным поэтическим даром. Посвященные ей стихи поэта, по сути своей, являются настоящим гимном эстонской женщине.

Василий Витальевич Шульгин, который познакомился с супружеской четой Лотаревых в Югославии, оставил нам любопытные наблюдения:

«Ее звали Фелисса, что значит счастливая. Не знаю, можно ли было назвать их союз счастливым. Для него она, действительно, была солнцем. Но он казался ли ей звездой? <...> Несомненно только было то, что сейчас он смотрел на нее с любовью. И при том с любовью, отвечавшей его общему облику; с любовью и детской, и умудренной. <...>

Она была младше его и, вместе с тем, очень старше. Она относилась к нему так, как относится мать к ребенку; ребенку хорошему, но испорченному. Она, как мне кажется, не смогла его разлюбить; но научилась его не уважать. <...>

Да, она была поэтесса; изысканна в чувствах и совершенно не "мещанка". Но все же у нее был какой-то маленький домик, где-то там, на Балтийском море; и была она, хоть и писала русские стихи, телом и душой эстонка. Это значит, что в ней были какие-то твердые основы; какой-то компас; какая-то северная звезда указывала ей некий путь. А Игорь Васильевич? Он был совершенно непутевый; стопроцентная богема; и на чисто русском расколе.

Она была от балтийской воды; он — от российской водки. Он, по видимому, пил запоем, когда она стала его женой. Но у нее был характер, у этой принцессы с эстонской мызы. Она не отступила перед задачей более трудной, чем выучиться писать русские стихи; а именно: она решила вырвать русскую душу у боярина Петра Смирнова. Ей это удалось, в общем. Когда я с ними познакомился, он не пил ничего; ни рюмки! И в нем не было никаких внешних признаков алкоголика; кроме разве вот этой полупечали. Это, как мне показалось, не была печаль простая, низменная по сладостям "казенного вина". Тут что-то другое. Сколько раз ей казалось, что одержана окончательная победа; и вдруг он запивал так, как будто хотел проглотить всю "Балтийскую лужу". Сколько "честных слов" оказались бесчестными? Она его все же не бросила; она не могла бросить дело своей жизни; она была и тверда, и упряма; но она была бессильна удержать в своем собственном сердце уважение к своему собственному мужу; мужчине бесконечно спасаемому; и вечно падающему. Ее чувство существенно переродилось; из первоначального восхищения, вызванного талантом, оно перешло в нечто педагогическое. Из принцессы ей пришлось

стать гувернанткой. А потребность восхищения все же в ней осталась; ведь она была поэтесса! И он это понял, он это чувствовал. Он не мог наполнить поэтических зал в ее душевных апартаментах. Но ведь он был поэт! Поэзия, можно сказать, была его специальность; это было то, зачем он пришел в мир. И вот, можно сказать, родная жена... Это было горько. Тем более горько, что справедливо. Разве он этого не заслужил? Но именно заслуженное, справедливое оно-то и печалит. Наоборот, несправедливость таит в себе природное утешение...»

Для спокойной жизни в Эстонии поэту потребовалось скорейшее венчание, тем более что по любви. В том же 1921 году, 21 декабря Игорь-Северянин женился на дочери крестьянина Михкеля Круута, Фелиссе. Венчание состоялось в Успенском соборе города Тарту. Лютеранка по вероисповеданию, Фелисса приняла православие.

Поэт не забудет то счастливое время:

#### *Фелиссике*

Мы вернемся к месту нашей встречи,  
Где возникли ласковые речи,  
Где возникли чистые мечты,  
Я, увидев нашей встречи место,  
Вспоминаю дни, когда была невеста  
Ты, моя возлюбленная, ты!

Юрий Шумаков вспоминает: «Накануне венчания поэт зашел к нам пригласить моих родителей в Успенский собор. А в отношении меня Игорь Васильевич сказал: "А Юра пусть будет мальчиком с иконой". Об этом венчании у меня сохранилось одно забавное воспоминание. Невеста была под стать высокому жениху. Шафер Фелиссы, поэт-сатирик Аугуст Алле, был человек среднего роста, и, утомясь держать венец над невестой, он, недолго думая, надел венец на голову Фелиссы Михайловны». Шафером со стороны жениха был Борис Правдин.

После венчания поэт оформил эстонское гражданство. Так, женившись на эстонке, Игорь-Северянин из «петербургского дачника» превращался в полноправного жителя Тойла.

Здесь поэт и рыбачил, и любил, и писал, на мой взгляд, свои лучшие стихи.

Несмотря на все свои веселые романы и жизнерадостные стихи,

выглядел поэт часто грустным, денег не было, сборники стихов выходили редко. Революционной России было не до него, а проигравший Северянину корону «короля поэтов» Владимир Маяковский явно опережал тойлаского отшельника по популярности.

Грусть была какого-то блоковского свойства. Как пишет о Северянине Лев Аннинский:

«Он — наследник тоскующей и стонущей русской музыки, которая от Некрасова уже рухнула к Надсону и теперь ищет, куда выбраться. Очи усталые. Сны туманные. Чары томные. Хижины убогие.

Эти северянинские "хижины", конечно, мало похожи на реальные избы, как и его комфортабельные ландолеты — на реальные экипажи. Все смягчено, стушевано, высветлено, обестенено. Краски приглушены — сильные тона тут немислимы. "Когда твердят, что солнце красно, что море — сине, что весна всегда зеленая, мне ясно, что пошлая звучит струна". Похоже, это отталкивание от блоковской цветовой определенности. У Северянина цветопись пестрая, и цвета неакцентированы, неотделимы от предметов: коралл бузины, янтарь боярышника, лазоревая тальма, сиреневый взор... Иногда какие-нибудь топазы или опалы наводят на мысль о сходстве этого узорочья с клюевским, но Клюев писал заведомо нереальную фактуру — Северянин же описывает реальный мир, но он в этом мире видит не цвета и предметы, а смешенье их, дробленье: блески, искры, арабески, брызги, узор — все пенное, искристое, кружевное, ажурное, пушистое, шелестящее, муаровое. Переливы черного и серебристого вобраны в общую гамму; черное почти не видно, серебро поблескивает в смесях и сплавах: серебро и сапфир, серебро и бриллианты, серебро и жемчуг. Лучистые среброструи...

Чарующий морок этой поэзии овеивает и окутывает тебя прежде, чем ты начинаешь понимать, что именно спрятано в этом перламутровом мареве, но поэт, активно подключенный к интеллектуальным клеммам эпохи, предлагает нам определение. "Моя вселенская душа". Планетарный экстаз — общепринятый код того времени, особо близкий футуристам. <...> Часто эти мотивы добавляются к поэзии от ума, однако внутри стиха все время бьется какая-то жилка, какой-то детский вопрос: зачем мир злой, когда хочется, чтобы он был добрый?»

Лев Аннинский пишет, что «в знаменитой самохарактеристике "Я, гений Игорь-Северянин" все обращают внимание на "гения". А ведь в стихах многих поэтов 1912 года упоминается "гений" в качестве синонима живого духа (как в XVIII веке), а не количественной характеристики. Магия же четверостишия — в третьей и четвертой строках; там — гениальный

лепет вселенского дитяти, осваивающего непонятный мир:

Я повсеградно озкранен!  
Я повсесердно утвержден!  
Все объять, всех примирить, всех полюбить.

Уникальная драма Северянина — драма души, взыскующей всемирного братания и общего рая и одновременно чувствующей, что это несбыточно. Отсюда — ирония, и прежде всего — ирония над собой. Отсюда — лейтмотив двоения и простодушные северянинские оксюмороны: черное, но белое... рыдающий хохот... ненависть, которая любовь, любовь, которая ненависть... правда как ложь и ложь как правда... что прелесть, что мерзость... чистая грязь... греза-проза... в зле добро и в добром злоба... И, наконец, обезоруживающее: "Моя двусмысленная слава и недвусмысленный талант!"

Насчет таланта тоже неслучайно: об этом спорили, но в конце концов согласились: чтобы сделать то, что сделал Северянин: "трагедию жизни претворить в грезофарс", талант нужен незаурядный. Но поток этикеток, всосанных, по выражению современного критика (Б. Евсеева), в душевный вакуум, скрывает трагедию.

Главная мысль: мир, достойный любви, должен быть прост. Прост и ласков. Прост и мил. Как песня. Как душистый горошек. Как сердце поэта. "Истина всегда проста".

Да простота-то бывает разная. Для Пастернака — это неслыханная стадия сложности, ересь сложности, недостижимый венец сложности.

Для Северянина — это отмена сложности. Просто сказать людям: живите мирно и будьте, как птицы небесные. Но не слушают! Ни на олуненных аллеях, ни в убогих хижинах — не хотят жить просто и мирно. Мир, очерченный светлым сознанием божьего дитяти, распадается на безумные армии. Безумны "утонченно-томные дуры", которые "выдумывают новый стиль", то есть "крошат бананы в икру". Безумен и простой народ — "народ, угнетаемый дрянью, безмозглый, бездарный, слепой". Цепочка определений: толпа — орда — масса — холопы — людишек муть — звери — нелюди... Только одного определения нет: Северянин избегает слова "чернь" в социально-определенном смысле. В 1917 году сказано: страна "разгромлена чернью", но тут же уточнено: "чернь" — не "народ". И еще в 1937-м — к столетию гибели Пушкина: "Ведь та же чернь, которая сейчас так чтит национального поэта, его

сживала всячески со света..." То есть "чернь", поднимающаяся "снизу", сливается с "чернью", засевшей "наверху", и так мир закольцован, заведен в тупик, уперт в безвыходность.

Собственно, дело не в том, что нет "выхода", а в том, что выхода нет, потому что не было и "входа". Ни "народ" не входил в круг сознания поэта, ни поэт не входил в круг жизни народа; только издали созерцал его "убогие хижины"..."».

С 1918 года Игорь-Северянин уже грустит в эстонской деревушке Тойла, подальше от всех своих грезерок и королев... Игорь-Северянин находит утешение в своей верной жене. Тойлаский старожил Р.Л. Лейвальт вспоминает:

«...1 августа 1922 года у них родился сын. Северянин впоследствии рассказывал, что при крещении ребенка имя, выбранное родителями в честь античного бога вина и плодородия Вакха, показалось священнику несколько странным и языческим, но отец доказал, что в святцах есть и мученик Вакх...»

Теперь это был совсем другой поэт, певец природы, певец Эстонии, певец России... К былым эпатажным, карнавальным стихам он уже относился как к ненужной забаве.

Сам от себя — в былые дни позера,  
Любившего услад дешевых хмель,  
Я ухожу раз в месяц на озера,  
Туда, туда — «за тридевять земель»...  
А впереди, направо, влево, сзади,  
Куда ни взглянешь, ни шагнешь куда,  
Трав водяных взлохмаченные пряди  
И все вода, вода, вода...

*(«Вода примиряющая»)*

Эстонский язык, как уже говорилось, он так и не освоил, но помогала любимая жена, поставляла подстрочники, и Игорь-Северянин взялся составлять «Антологию эстонской поэзии за сто лет», переводил на русский язык сборники стихов Хенрика Виснапу, Марии Ундер и Алексиса Раннита. Это был его способ заработать хоть немного денег.

Алексис Раннит писал о нем (особенности орфографии и вольное цитирование автора сохраняю): «О, он полюбил свой успех, он изнемогал

от этой любви, он совсем по детски, романтически влюбился в свою славу. Он твердит о своей любви, надоедает этой любовью, хвастается ею.

Я — гений, Игорь-Северянин  
своей любовью упоен.

Но... я хочу Вам теперь рассказать о новом Игоре Северяnine, о котором Вы знаете меньше всего, но который является самым полноценным. Это есть Северянин последних 15 лет. Обладатель неизсякаемой певучей силы (и в этом отношении сравним и с Блоком и с Бальмонтом), носитель духа Веселаго и легкокрылаго, охотно дерзающего и не задумывающегося о своих поражениях, словом, кудрявый русский певец, он, наконец, нашел путь для определения своих верных возможностей, известные нормы, дающие право строгаю таланта. Правда, благодаря этому потерялся прежний образ Игора Северянина, образ перебирателя гитарных струн, но он добился в своих произведениях прочности и красоты, достижимых только при соединении трех условий: глубокаго безсознательнаго порыва, строгаю его осознания и могучей воли при его воплощении.

Это новыя книги Игора Северянина, вышедшие в зарубежье — "Классический розы" (Belgrad, <19>31), "Адриатика" (Narva, <19>32) и "Медальоны" (Belgrad, <19>34), на которыя я хочу обратить внимание... читателя, чтобы он мог корригировать свое прежнее понятие о Игоре Северяnine. В этих книгах — законы и предметы реального мира вдруг становятся на место прежних, насквозь пронизанных мечтою, в исполнение которой он прежде верил. Но сила жизни и любовь в нем так сильна, что он начинает любить свое сиротство, постигает красоту боли и смерти. И о грусти пишутся им теперь такая прекрасныя строки:

необходим душе моей, как слава,  
изгиб ея осеняго плеча.

Людыам, которым суждено дойти до такого превращения, или людыам, обладающим кошачьей памятью, привязывающейся ко всем пройденным этапам духа, новыя книги Игора Северянина покажутся волнующими и дорогими. Северянин, наконец, заговорил своим подлинным и, в то же время, художественно-убедительным языком...»

Вместе с тем с 1925 по 1930 год у Игоря-Северянина не вышло ни одного сборника стихотворений. Заработков не имелось.

Из писем Августе Барановой: «...сiju... часто без хлеба, на одном картофеле — наступают холода, дров нет, нет и кредитов...»; «...побочными способами зарабатывать не могу, ибо болен теперь окончательно»; «...я в полном одиночестве... горчайшую нужду переживаю... болезнь сердца, застарелый аппендицит, сердце изношено, одышка, головные боли частые и жгучие...» (1925).

Не сошелся он и с малочисленной русской эмиграцией. Впрочем, эмигранты отвечали ему тем же. Вот один из них, некто Д.В., жалуется в прессе:

«Шумевший в свое время и давно забытый сейчас в России, Игорь Северянин уже не первый год пожинает лавры в эмиграции. И уже подлинно — каков поп, таков и приход — здесь он нашел истинный дух своей поэзии:

В этой маленькой русской колонии,  
Здесь спасающей от беззакония  
Свои бранные дух и тела,  
Интересы такие мизерные,  
Чувства подленькие и лицемерные,  
Ищут все лишь еды и тепла.

Так характеризует поэт эмигрантскую толпу. И даже дает ей наставления: можно, мол, устраивать "вечера музыкально-поэзовокальные", "и пожалуй, плясать до утра". А что его самого держит в этой среде? В чем собственно "беззаконие", от которого он укрывается. Да помилуйте!»

Беспомощность Северянина в быту была видна всем. Вспомним его сетования поэтессе Ирине Одоевцевой: «Подумать страшно: я живу нахлебником у простого эстонца-мыйзника. Только оттого, что я женился на его дочери. Я для него не знаменитый поэт, а барин, дворянин, сын офицера. За это он меня и кормит. Ему лестно. А я ловлю рыбу. И читаю свои стихи речным камышам и водяным лилиям...»

Под конец жизни, когда он по дурости своей, как мне представляется, ушел от Фелиссы, бедность перешла в настоящую нищету. Северянин, с одним только желанием хоть немного заработать, ходил по дачам и предлагал хозяйкам свой свежий улов — полтора десятка окуньков.

Стучался в гостиничные номера, где остановились соотечественники, — «не купите ли книгу Игоря Северянина с автографом?..».

«Что касается голода, — писал Северянин болгарскому поэту Савве Чукалову, — он часто за эти годы нам был знаком, и сейчас, например, когда я пишу Вам это письмо, мы уже вторую неделю питаемся исключительно картошкой с крупной (кристалликами) солью... Мы просто гибнем от людской суровости и бессердечия!..» Это — в худшие дни. А в лучшие — «питались картошкой с соленой салакой, запивая кипятком».

Знакомые советовали Северянину устроиться куда-нибудь на службу. Он не желал: «Всю жизнь я прожил свободным! И лучше мне в нищете погибнуть, чем своей свободы лишиться».

Согласно одной из легенд, слово «Тойла» происходит от финского слова «Тойве», что означает «Желание», «Надежда». Вот этой надеждой на лучшее и жил Игорь-Северянин в Эстонии. Ушла из его жизни Тойла, ушло и спокойствие, ушли и последние надежды.

Я бы назвал это крушением всей жизни. Его Фелисса даже подружек и поклонниц северянинских принимала у себя дома, но никто из них не покушался на их семейное счастье. И вот появилась молоденькая учительница из Таллина, к тому же замужняя, с дочкой, Вера Борисовна Коренева, переделавшая фамилию под эстонскую — Коренди. Она неплохо знала стихи Северянина, дождалась, когда поэт вернется после длительных успешных гастролей по Балканам, и повела решительное наступление, не обращая внимания на жену. Звонила, закидывала письмами, приезжала в Тойла и как-то сумела заарканить поэта, надеясь на будущие совместные гастролы по всему миру. Но шел уже 1936 год, Европа двигалась к войне, и никаких предложений Игорю-Северянину ниоткуда не поступало. Оба безработные, беспомощные, да еще с дочкой Веры на руках. Игорь-Северянин писал письма в Тойла жене, умоляя простить его. Но на этот раз весь деревенский клан Круутов воспротивился, тем более что Вера Борисовна выдумала легенду, будто и дочку свою родила от Северянина. Возможно, сама Фелисса и готова была простить своего заблудшего мужа, но кто бы их стал содержать?

Осень 1938-го — весну 1939 года поэт в тяжелейших условиях провел в Саркюля, маленькой эстонской деревушке. Осень была холодная, с проливными дождями. Его мучили мысли под стать погоде. Искусство казалось ненужным, дальнейшая жизнь — бессмысленной. Главная же боль, в чем он не мог себе не признаться, терзала оттого, что «одно расстроилось, другое не могло наладиться».

Стала жизнь совсем на смерть похожа:  
Все тщета, все тусклость, все обман.  
Я спускаюсь к лодке, зябко ежась,  
Чтобы кануть вместе с ней в туман.  
И плывя извивами речными, —  
Затуманенными, — наугад,  
Вспоминать, так и не вспомнив, имя,  
Светом чьим когда-то был объят.  
Был зажжен, восторгом осиянный,  
И обманным образом сожжен,  
Чтоб теперь, вот в этот день туманный,  
В лодке плыть, посмертный видя сон.

*(«В туманный день»)*

Из-за непогоды Саркюля часто бывала отрезана от Усть-Нарвы, находящейся на другом берегу. Тогда Северянин и Коренди, потерявшая работу в Таллине, оставались без хлеба, муки и прочего, самого насущного. Лавок в деревне не было, взять что-то займы — не у кого. Запастись же продуктами впрок — не хватало денег. Это заставило их весной 1939 года переехать в Усть-Нарву. Сняли квартиру — две комнаты с кухней — солнечную и удобную. Под окнами Россонь впадала в Нарову. Крестьянин-плотник Петр Иванович сделал по рисункам Северянина необходимую мебель. Взял за работу по-свойски, недорого.

После присоединения Эстонии к Советскому Союзу начались его первые публикации в советской прессе, поэт написал воспоминания о Маяковском, цикл сталинских стихов. Но началась война, немцы заняли Эстонию. Вера Коренди перевезла совсем разболевшегося поэта в Таллин, где он и скончался в декабре 1941 года.

## Иронизирующее дитя

Таким он и был всю жизнь: иронизирующим большим ребенком. И большим поэтом. Поэтом от природы, как Сергей Есенин.

Изначально он не думал ни о принципах, ни о программах. Даже его дерзость: «Я, гений Игорь-Северянин...» — была лишь поэтическим вызовом обществу, не более. К тому же, как сам пояснил позже, он всего лишь — соловей, серая птаха. Вспомним:

Я — соловей: я без тенденций  
И без особой глубины...  
Но будь то старцы иль младенцы, —  
Поймут меня, певца весны.  
Я — соловей, я — сероптичка,  
И песня радужна моя,  
Есть у меня одна привычка:  
Влечь всех в нездешние края...

*(«Интродукция»)*

Это поэт, необходимый всем. Поющий не по приказу, не ради некоей выгоды, а только согласно своей природе.

Не пой толпе! Ни для кого не пой!  
Для песни пой, не размышляя — кстати ль?..  
Пусть песнь твоя — мгновенья звук пустой, —  
Поверь, найдется почитатель.

В этом нет никакой гордыни. Он не певец для избранных, не герой, не агитатор. Но если уж ему свыше дан талант, то найдется и почитатель его песен, считает Игорь-Северянин.

Думаю, обрадовавшись первым успехам у публики, поэт пошел за ее вкусами, стал творцом массовой культуры.

А через десяток с лишним лет, в 1926-м, уже сетовал на ту свою былую славу в сонете «Северянин»:

Он тем хорош, что он совсем не то,  
Что думает о нем толпа пустая,  
Стихов принципиально не читая,  
Раз нет в них ананасов и авто.  
Фокстрот, кинематограф и лото —  
Вот, вот куда людская мчится стая!  
А между тем душа его простая,  
Как день весны! Но это знает кто?  
Благословляя мир, проклятье войнам  
Он шлет в стихе, признания достойном,  
Слегка скорбя, подчас слегка шутя  
Над всею первенствующей планетой...  
Он в каждой песне, им от сердца спетой,

*Иронизирующее дитя.*

Игорь-Северянин при всем своем тончайшем лиризме понял, что без иронии, без отстранения от потребностей толпы не обойтись. Это стало его девизом, его кредо.

Я — соловей, и, кроме песен,  
Нет пользы от меня иной.  
Я так бессмысленно чудесен,  
Что Смысл склонился предо мной!

*(«Интродукция»)*

Он иронизирует и над собой, и над своими стихами, и над своими слушателями. Он призывает всех смеяться, иронизировать вместе. Может, так докопаемся до истины? Где ирония, там и грусть. С грустью иронизируешь и над своей жизнью, над своей славой, над былыми успехами. Он — чудный ветер поэзии, не более, но и не менее.

Я — не игрушка для толпы,  
Не шут офраченных ничтожеств!  
Да, вам пою, — пою! — И что же?  
О, люди! как же вы тупы... —

Я — ветер, что не петь не может!

Начало XX века вообще несло в себе некую карнавальность, маскарад. Думали, маскарад будет веселым и радостным, получилось наоборот. Но и в трагичности XX века видны маски крупнейших представителей культуры. Маска деревенского эстета Николая Клюева, маска уличного хулигана Сергея Есенина, маска громилы Владимира Маяковского... Видна маска и Игоря-Северянина. Царствующий паяц, эстет, иронизирующее дитя...

Выросший в провинциальной глуши Русского Севера, а позже взрослеющий в ориентальном обрамлении Порт-Артура, он пытался стать русским Оскаром Уайльдом, русским Верленом, не задумываясь над тем, что к любой маске должны быть приложены и некие знания. Вот так появился у нас на петербургской сцене всемирный эстет, не знающий ни одного иностранного языка. Северянину был дан редкий актерский дар, он легко убеждал людей. Был случай, когда на его чествовании посол Франции в России без переводчика, на чистом французском стал возносить его заслуги, уверенный, что уж французский поэт знает не хуже русского. Увы, у Северянина и с русским-то бывали нелады. Думаю, от необразованности случались и провалы в пошлость, в безвкусию. Спасал Божий дар, спасал недюжинный ум. Однажды проявив безвкусию, далее он стал осознанно играть в выход за рамки вкуса, забрасывая уже всю Россию своими «Ананасами в шампанском». Блестящий игрок.

Пускай критический каноник  
Меня не тянет в свой закон —  
Ведь я лирический ироник:  
Ирония — вот мой канон.

Он уходил от пошлости, от «офокстрочивания» жизни не только в иронию, но и в грезы, в романтические мечтания, подобно Александру Грину. Он изобрел свой жанр — «грезофарс», куда хотел увести от трагедии жизни и своих читателей.

За струнной изгородью лиры  
Живет неведомый паяц.  
Его палаццо из палацц —

За струнной изгородью лиры...  
Как он смешит пигмеев мира,  
Как сотрясает хохот плац,  
Когда за изгородью лиры  
Рыдает царственный паяц!..

(«За струнной изгородью лиры...»)

Николай Гумилев в «Письмах о русской поэзии», говоря о творчестве Северянина, заметил: «...такие стихи трогают до слез, а что они стоят вне искусства своей дешевой театральностью, это не важно. Для того-то и основан вселенский эгофутуризм, чтобы расширить границы искусства... (выделено мной. — В.Б.). Повторяю, все это очень серьезно. Мы присутствуем при новом вторжении варваров, сильных своею талантливостью и ужасных своею небрежливостью. Только будущее покажет, "германцы" ли это или... гунны, от которых не останется и следа».

Эстонский исследователь творчества поэта Борис Подберезин пишет:

«Северянин чутко угадал исторические перемены, уловил настроение эпохи. И набирающий силу буржуазный бомонд, и простой обыватель жаждали развлечений, хотели, чтобы им "делали красиво". Напрасно критики называли Северянина "продавцом мороженого из сирени" — он предлагал толпе совсем другое — иллюзорную мечту. Мечту об изящной, легкой и красивой жизни:

К черту "вечные вопросы"! —  
Пью фиалковый ликер.

А в какую завораживающую, сказочную обертку заворачивал он свой товар! — тут были и королевы в башнях замка, отдававшие грозиво своим пажам под сонаты Шопена, и грезэрки-сюрпризэрки в гамаке камышовом, и капризный, но бессмертный эксцесс, и элегантные коляски в электрическом биенье, и комфортабельные кареты на эллиптических рессорах, и желтые гостиные из серого клена, с обивкою шелковой, в которые приглашали на томный журфикс... Были и обольстительные мужчины с душистой душой, тщательно скрытой в шелковом шелесте, и упоительные женщины в платье муаровом с лазоревой тальмой, и шофэры, дожидаящиеся их в фешенебельных ландо...»

## «Моя безбожная Россия...»

Редко у какого поэта виден такой четкий разрыв в творчестве, как у Игоря-Северянина. Вот уж верно, революция разорвала и жизнь его, и творчество пополам. Если символом его первого эпатажно-куртизанского периода стал знаменитый сборник «Громокипящий кубок» 1913 года, то символом второго, напоенного таинствами природы, тонкой лирикой, щемящей болью за Россию, стал сборник «Классические розы», вышедший в Белграде в 1931 году. Что происходило в душе поэта, навсегда останется загадкой. Ибо дело не в революции как таковой и не в эмиграции. Ведь ездил же в первые эмигрантские годы Игорь-Северянин на гастроли в Париж, Прагу, Берлин, где было большинство русских беженцев, мог и остаться. Не пожелал. Вместе со своими старыми эпатажными стихами он возненавидел и большие города, даже Таллин казался ему огромным.

Изменились и стихи. Осталась прежняя стилистическая легкость, но стихи как бы пересадили на классическую почву.

Игорь-Северянин, начинавший поэтический путь русским патриотом, воспевавший в Русско-японскую войну 1904—1905 годов императорский флот, пройдя свой эпатажно-футуристический период, возвращается уже в эмиграции в родную русскую гавань. Такого поэта в нынешней России практически не знают. Хотя еще в 1921 году в прибалтийской газете «Виленское слово» критик Дорофей Бохан писал (сохраняю авторскую орфографию):

«И. Северянину не чужды чисто русские мотивы... За границей он научился сильнее прежнего любить свою бедную Родину... Лучшие поэты освящены любовью к Родине. Он воспевает даже "Икру и водку" доброго старого времени... Он ничего не стесняется — и ничего не боится...

Николаевская белка, царская красноголовка  
Наша знатная казенка — что сравниться может с ней?  
С монопольной русской хлебной?!.. выливалась в горло ловко...  
К ней икра была закуской лучше всех и всех вкусней!..

*("Икра и водка")*

Это — не каждый напишет. Но ему можно, ибо он Игорь Северянин.

Только ему возможно простить стихотворение "Ванг и Абианна", стоящее на той границе, за которую следует 10001 статья... Только силою художественного дарования он избежал тона, за который мог быть обвинен в порнографии. Это дивное стихотворение греческая скульптура, не знающая стыда, ибо прекрасное — безстыдно. Новая книга стихов И. Северянина — вклад в русскую поэзию. Талант его развивается. Мы имеем нового, талантливога, до мозга костей русского поэта».

Еще в сентябре 1920 года в стихотворении «С утесов Эстии» Игорь-Северянин писал:

Я говорю себе: исходит срок,  
Когда скажу я Эстии: «Прости, —  
Весенний луч высушивает лужу,  
Пора домой. Сестра моя, расти».

В 1922—1923 годах он получил два письма от Александры Михайловны Коллонтай, своей троюродной сестры (которая позже станет первой в мире женщиной-послом). Прочитав его автобиографическую поэму «Падучая стремнина», она писала: «Мы с Вами, Игорь, очень разные сейчас. Подход к истории — у нас — иной, противоположный, в мировоззрении нет созвучия у нас! Но в восприятии жизни — есть много общего... Я люблю Ваше творчество, но мне бы ужасно хотелось показать Вам еще одну грань жизни — свет и тени неизмеримых высот, того бега в будущее, куда Революция — эта великая мятежница — завлекла человечество».

Северянин ответил стихотворением, которое заканчивалось такими словами:

«Спасибо, дорогая Шура:  
Я рад глубокому письму.  
Изысканна его структура  
И я ль изысков не пойму?  
Все, все, что тонко и глубоко,  
Моею впитано душой, —  
Я вижу жизнь не однобоко.  
Вы правы: я Вам не чужой!»

(«Кухине Шуры», 1923).

В том же 1923 году он писал о своей возможной поездке в Россию осенью, но поездка не состоялась. В середине 1920-х годов Северянин создал целый цикл стихов о России, о Москве, которые впоследствии вошли в сборник «Классические розы» (1931).

Так сложилось, что переродившийся русский поэт, не отличавшийся антисоветскостью, не был интересен ни эмигрантам, ни деятелям советской культуры. Разве что такие же, как он, тоскующие по России мастера верно угадывали суть нового Северянина. К примеру, Марина Цветаева писала ему в уже упоминавшемся неотосланном письме:

«Начну с того, что это сказано Вам в письме только потому, что не может быть сказано всем в статье. А не может — потому, что в эмиграции поэзия на задворках — раз, все места разобраны — два; там-то о стихах пишет Адамович и никто более, там-то — другой "ович" и никто более, и так далее. Только двоим не оказалось места: правде и поэту.

От лица правды и поэзии приветствую Вас, дорогой.

От всего сердца своего и от всего сердца вчерашнего зала — благодарю Вас, дорогой.

Вы вышли. Подымаете лицо — молодое. Опускаете — печать лет. Но — поэту не суждено опущенного! — разве что никем не видимый наклон к тетради! — все: и негодование, и восторг, и слушание дали — далее! — вздымает, заносит голову. В моей памяти — и в памяти вчерашнего зала — Вы останетесь молодым.

Ваш зал... Зал — с Вами вместе двадцатилетних... Себя пришли смотреть: свою молодость: себя — тогда, свою последнюю — как раз еще успели! — молодость, любовь...

В этом зале были те, которых я ни до, ни после никогда ни в одном литературном зале не видала и не увижу. Все пришли. Привидения пришли, притащились. Призраки явились — поглядеть на себя. Послушать — себя.

Вы — Вы же были только той, прорицательницей, Саулу показавшей Самуила...

Это был итог. Двадцатилетия. (Какого!) Ни у кого, может быть, так не билось сердце, как у меня, ибо другие (все) слушали свою молодость, свои двадцать лет (тогда!). Кроме меня. Я ставила ставку на силу поэта. Кто перетянет — он или время! И перетянул он: Вы.

Среди стольких призраков, сплошных привидений — Вы один были — жизнь: двадцать лет спустя.

Ваш словарь: справа и слева шепот: — не он!

Ваше чтение: справа и слева шепот: — не поэт!

Вы выросли, вы стали простым. Вы стали поэтом больших линий и больших вещей, Вы открыли то, что отродясь Вам было приоткрыто — природу, Вы, наконец, разнарядили ее...

И вот, конец первого отделения, в котором лучшие строки:

— И сосны, мачты будущего флота...

— ведь это и о нас с Вами, о поэтах, — эти строки.

Сонеты. Я не критик и нынче — меньше, чем всегда. Прекрасен Ваш Лермонтов — из-под крыла, прекрасен Брюсов... Прекрасен Есенин — "благоговейный хулиган" — может, забываю — прекрасна Ваша любовь: поэта — к поэту (ибо множественного числа — нет, всегда — единственное)... [\[14\]](#)

И то, те... "Соната Шопена", "Нелли", "Каретка куртизанки" — и другие, целая прорвавшаяся плотина... Ваша молодость.

И — последнее. Заброс головы, полузакрытые глаза, дуга усмешки и — напев, тот самый, тот, ради которого... тот напев — нам — как кость — или как цветок... — Хотели? нате! — в уже встающий — уже стоящий — разом вставший — зал.

Призраки песен — призракам зала.

Конец февраля 1931 г.».

Такое письмо от такого мастера, как Марина Цветаева, выше сотен критических разборов. Но массовый читатель помнил лишь «Ананасы в шампанском» и «Громокипящий кубок», а на «Классические розы» внимания почти не обратил. Разве что Петр Пильский, эмигрантский критик из Риги, отметил глубинные перемены в творчестве поэта: «Сейчас Игорь Северянин — поселянин ("Классические розы"). Город им проклят... Отталкивает и вся Европа ("рассудочно-черствая")... Петербургский период Игоря Северянина давно отцвел, увял и умер, и городских обольщений нет. Появилась жажда простоты, свежести, просторов земли».

Впрочем, обратимся к самой книге «Классические розы». Открывается книга, вышедшая в Белграде, посвящением Ее Величеству Королеве Югославии Марии:

Однажды в нашей северной газете  
Я вас увидел с удочкой в руках, —  
И вспыхнуло сочувствие в поэте  
К Жене Монарха в солнечных краях.  
И вот с тех пор, исполнена напева,

Меня чарует все одна мечта.  
Стоит в дворцовом парке Королева,  
Забрасывая удочку с моста.

*(«Королеве Марии»)*

Отдана дань уважения принимающей поэта стране, и далее начинается главная тема и книги, и всей поздней поэзии Северянина — тема России, погибающей, возрождающейся, вечно великой и вечно ожидаемой. Сначала — уже ставшие классикой «Классические розы» (1925):

В те времена, когда роились грезы  
В сердцах людей, прозрачны и ясны,  
Как хороши, как свежи были розы  
Моей любви, и славы, и весны!  
Прошли лета, и всюду льются слезы...  
Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране...  
Как хороши, как свежи были розы  
Воспоминаний о минувшем дне!  
Но дни идут — уже стихают грозы  
Вернуться в дом Россия ищет троп...  
Как хороши, как свежи будут розы  
Моей страной мне брошенные в гроб!

Последние две строки были выгравированы на надгробном памятнике поэта. Там постоянно стоят букеты свежих роз. Надеюсь, и Россия никогда не забудет ни о розах, ни о памяти своего национального поэта. Да и стихи из «Классических роз», надеюсь, будут звучать и по радио, и по телевидению. И наконец, Россия узнает не только певца небывалой изысканности, а своего национального поэта, которым можно гордиться наравне с Пушкиным, Лермонтовым, Тютчевым, Есениным. Каждый школьник должен знать наизусть эти строчки:

О России петь — что стремиться в храм  
По лесным горам, полевым коврам...  
О России петь — что весну встречать,  
Что невесту ждать, что утешить мать...

О России петь — что тоску забыть,  
Что Любовь любить, что бессмертным быть!

*(«Запевка», 1925)*

Кажется, вся история России проходит перед нами. Все ее беды и воскрешения. В этих стихах чувствуется та искренность, которой не бывало в его причудливых грезофарсах. Поэт становится по-настоящему народен и хрестоматией.

На восток, туда, к горам Урала,  
Разбросалась странная страна,  
Что не раз, казалось, умирала, —  
Как любовь, как солнце, как весна.  
И когда народ смолкал сурово  
И, осиротелый, слеп от слез,  
Божьей волей воскресала снова, —  
Как весна, как солнце, как Христос!

*(«Предвоскресье», 1925)*

Да, поэт видит и наше неистребимое «авось» наряду со стойкостью и верой, поэт и сам часто погружен в тот же русский хаос, но он уже свыше знает, что слезами горю не поможешь, что каждому из нас свою Россию нужно заслужить.

Ты потерял свою Россию.  
Противоставил ли стихию  
Добра стихии мрачной зла?  
Нет? Так умолкни: увела  
Тебя судьба не без причины  
В края неласковой чужбины.  
Что толку охать и тужить —  
Россию нужно заслужить!

*(«Что нужно знать»)*

Вот его ответ всем тем, кто оправдывает свою эмиграцию неким посланием [15]. Сам поэт, вроде даже не эмигрант, а дачник поневоле, считает и себя виновным во всех бедах России.

В этом сборнике любое стихотворение — знаковое. Поэт то надеется на скорые перемены и возвращение домой:

И будет вскоре весенний день,  
И мы поедем домой, в Россию...  
Ты шляпу шелковую надень:  
Ты в ней особенно красива...  
И будет праздник... большой-большой,  
Каких и не было, пожалуй,  
С тех пор, как создан весь шар земной,  
Такой смешной и обветшалый...  
И ты прошепчешь: «Мы не во сне?..»  
Тебя со смехом ущипну я  
И зарыдаю, молясь весне  
И землю русскую целую!

*(«И будет вскоре...», 1925)*

То обращается к москвичам с призывом к скорым переменам:

Москва вчера не понимала,  
Но завтра, верь, поймет Москва:  
Родиться Русским — слишком мало,  
Чтоб русские иметь права...  
И, вспомнив душу предков, встанет,  
От слова к делу перейдя,  
И гнев в народных душах грянет,  
Как гром живящего дождя.  
И сломит гнет, как гнет ломала  
Уже не раз повстанцев рать...  
Родиться Русским — слишком мало:  
Им надо быть, им надо стать!

*(«Предгневье», 1925)*

Пожалуй, эти перемены в поэтическом творчестве Северянина чем-то близки переменам в творчестве Владимира Маяковского. Да и политичность сборника «Классические розы» никак не меньше политичности книг Маяковского.

Оставаясь поэтом, Игорь-Северянин превращается в гражданина, в патриота России. Этого никак не могли понять ни его бывшие поклонники и поклонницы, претендовавшие на изысканность вкуса, не могут понять и нынешние ценители «тонкой поэзии», отбрасывающие «Классические розы» за пределы литературы. Для либеральной публики этот сборник чересчур переполнен словом «русский».

Я мечтаю, что Небо от бед  
Избавленье даст русскому краю.  
Оттого, что я — русский поэт,  
Оттого я по-русски мечтаю!

(«Я мечтаю...», 1922)

Игорь-Северянин и в былые времена умел давать отпор, не чурался острого слова, но будучи в эмиграции, и при этом вне эмигрантского круга, он был абсолютно свободен в своих высказываниях. Он беспощаден и в своих выступлениях в Таллине, Риге, Белграде, Варшаве, Париже, любовь его принадлежит северной природе, близким женщинам, а также покинутой России. Для самой эмиграции слов любви у него не находится. Чем превращаться во второстепенного европейца, он предпочитает мечтать о будущей России.

И как близки эти мечты нам, сегодняшним жителям третьего тысячелетия. Будто сегодня стихи написаны.

Вот подождите — Россия воспрянет,  
Снова воспрянет и на ноги встанет.  
Впредь ее Запад уже не обманет  
Цивилизацией дутой своей...  
Встанет Россия, да, встанет Россия,  
Очи раскроет свои голубые,  
Речи начнет говорить огневые, —  
Мир преклонится тогда перед ней!  
Встанет Россия — все споры рассудит...

Встанет Россия — народности сгрудит...  
И уж у Запада больше не будет  
Брать от негодной культуры росток.  
А вдохновенно и религиозно,  
Пламенно веря и мысля серьезно,  
В недрах своих непреложностью грозной  
Станет выращивать новый цветок...  
Время настанет — Россия воспрянет,  
Правда воспрянет, неправда отстанет,  
Мир ей восторженно славу возгрянет, —  
Родина Солнца — Восток!

*(«Колыбель культуры новой», 1923)*

При этом не надо считать поэта неким мечтательным фантазером или «большевизаном», как его обзывали в белогвардейской прессе. Игорь-Северянин и к событиям на родине относился по-разному, что-то принимая, что-то резко отвергая. Его печалило разрушение святых обителей и имперских памятников. Он явно осуждал безбожие новой России, надеясь на народное благоразумие.

Я чувствую, близится судное время:  
Бездушье мы духом своим победим,  
И в сердце России пред странами всеми  
Народом народ будет грозно судим.  
И спросят избранные — русские люди —  
У всех обвиняемых русских людей,  
За что умертвили они в самосуде  
Цвет яркий культуры отчизны своей.  
Зачем православные Бога забыли,  
Зачем шли на брата, рубя и разя...  
И скажут они: «Мы обмануты были,  
Мы верили в то, во что верить нельзя...»  
И судьи умолкнут с печалью любовной,  
Поверив себя в неизбежный черед,  
И спросят: «Но кто же зачинщик виновный?»  
И будет ответ: «Виноват весь народ.  
Он думал о счастье отчизны любимой,

Он шел на жестокость во имя Любви...»  
И судьи воскликнут: «Народ подсудимый!  
Ты нам не подсуден: мы — братья твои!  
Мы часть твоя, плоть твоя, кровь твоя, грешный,  
Наивный, стремящийся вечно вперед,  
Взыскующий Бога в Европе кромешной,  
Счастливый в несчастье, великий народ!»

*(«Народный суд», 1925)*

Не знаю, как читателям, но мне эти строчки поэта кажутся пророческими. И кого судить за все наши великие и малые несчастья и XX века, и века нынешнего? Евреев, чеченцев, эстонцев или все же самих себя? И не судить даже, а преодолевать все напасти и обманы и идти дальше, вечно вперед!

Бывают дни: я ненавижу  
Свою отчизну — мать свою.  
Бывают дни: ее нет ближе,  
Всем существом ее пою.  
Все, все в ней противоречиво,  
Двулико, двоедушно в ней,  
И, дева, верящая в диво  
Надземное, — всего земней...  
Как снег — миндаль. Миндальны зимы.  
Гармошка — и колокола.  
Дни дымчаты. Прозрачны дымы.  
И вороны — и сокола?  
Слом Иверской часовни. Китеж.  
И ругань — мать, и ласка — мать...  
А вы-то тщитесь, вы хотите  
Ширококрайнюю объять!  
Я — русский сам, и что я знаю?  
Я падаю. Я в небо рвусь.  
Я сам себя не понимаю,  
А сам я — вылитая Русь!

(«Бывают дни». Ночь под <19>30-й год)

Даже не принимая многого, что происходило у него на родине, поэт не желал ей зла, как не желали все лучшие люди русской эмиграции, от генерала Деникина до Ивана Бунина, пьющие за победу русского оружия в Великой Отечественной войне.

Даже в первые годы эмиграции, когда в памяти еще были живы все жестокие деяния, Северянин писал в стихотворении «Моя Россия» (1924):

И вязнут спицы расписные  
В расхлябанные колеи...  
Ал. Блок  
Моя безбожная Россия,  
Священная моя страна!  
Ее равнины снеговые,  
Ее цыгане кочевые, —  
Ах, им ли радость не дана?  
Ее порывы огневые,  
Ее мечты передовые,  
Ее писатели живые,  
Постигшие ее до дна!  
Ее разбойники святые,  
Ее полеты голубые  
И наше солнце и луна!  
И эти земли неземные,  
И эти бунты удалые,  
И вся их, вся их глубина!  
И соловьи ее ночные,  
И ночи пламно-ледяные,  
И браги древние хмельные,  
И кубки, полные вина!  
И тройки бешено-степные,  
И эти спицы расписные,  
И эти сбруи золотые,  
И крыльчатые пристяжные,  
Их шей лебязья крутизна!  
И наши бабы избяные,  
И сарафаны их цветные,  
И голоса девиц грудные,

Такие русские, родные  
И молодые, как весна,  
И разливные, как волна,  
И песни, песни разрывные,  
Какими наша грудь полна,  
И вся она, и вся она —  
Моя ползучая Россия,  
Крылатая моя страна!

Пусть простят меня читатели за столь обильное цитирование, но такого Игоря-Северянина пока мало кто знает, такого Северянина не преподают в школах и институтах, такого русского Северянина держат и сейчас где-то на обочине. А мне хотелось бы, чтобы вслух читали эти его стихи, чтобы через них учились любить свою Родину. Тем более что он надеялся на свое возвращение даже в ту безбожную, но все равно столь любимую им Россию:

И, может быть, когда-нибудь  
В твою страну, товарищ Ленин,  
Вернемся мы...

*(«Колокола собора чувств»)*

Есть в этом воистину классическом сборнике Игоря-Северянина еще одна важная общечеловеческая тема — Любовь.

Все они говорят об одном  
С. В. Рахманинову  
Соловьи монастырского сада,  
Как и все на земле соловьи,  
Говорят, что одна есть отрада  
И что эта отрада — в любви...  
И цветы монастырского луга  
С лаской, свойственной только цветам,  
Говорят, что одна есть заслуга:  
Прикоснуться к любимым устам...  
Монастырского леса озера,

Переполненные голубым,  
Говорят, нет лазурнее зора,  
Как у тех, кто влюблен и любим...

1927

Этим стихотворением о Любви я и завершу разговор о моей любимой книге — «Классические розы» — в творчестве моего любимого поэта.

Может быть, Игорь-Северянин и впрямь нашел себя в тихой эстонской деревне? На рыбной ловле? За чтением стихов и книг своих товарищей? К слову, из современников он любил читать столь же классических Ивана Шмелева, Бориса Зайцева, Ивана Бунина.

Я подолгу засиживался в тойласком домике Северянина, обходил пешком все окрестности Тойла, хотел понять, чем жил поэт. С тех пор и в Тойла, и в Усть-Нарве не так уж многое изменилось. Северная эстонская глушь. На реке Россонь так же ловят рыбу. Прожить здесь более двадцати лет мог только поэт, и впрямь отчужденный от шумной жизни. Весь мыслями в России. Вот из его уже завершающих стихов 1939 года:

Мне не в чем каяться, Россия, пред тобой:  
Не предавал тебя ни мыслью, ни душой,  
А если в чуждый край физически ушел,  
Давно уж понял я, как то нехорошо...

(«Наболевшее...»)

И ведь никто Северянина не винил, даже напротив, в Тойла к нему приезжал на машине сам посол Советского Союза Федор Раскольников. После присоединения Эстонии к СССР в 1940 году у советских властей к тойласкому отшельнику тоже никаких претензий не было, к нему приезжали журналисты из «Правды» и «Известий», его начали печатать советские журналы. Может, за это его и ныне так недолюбливают либеральные круги? Ведь их кумиры не хотели понимать того, что опасно творцам уходить от своей почвы в чуждые края. Как признавался Игорь-Северянин: и «без нас» новая Россия успешно строится.

Резко отказавшись от всех маскарадов и изысков молодости, в Тойла он стал самим собой — истинным северянином.

Эстонская глушь была близка ему и северным духом, и водой, морем. Он с детства помнил рассказы близких о дальних морях:

Морские волки  
За картами и за вином  
Рассказывали о своем  
Скитании по свету. Толки  
Об их скитаньях до меня  
Дошли, и жизнь воды, маня  
Собой, навек меня прельстила.  
Моя фантазия гостила  
С тех пор нередко на морях.  
И, может быть, они — предтечи  
Моей любви к воде.

*(«Роса оранжевого часа»)*

Рекам, озерам, морям посвящены десятки его стихотворений. Так, он связывал эстонскую Россонь с череповецкой Судой:

Россонь — река совсем особая,  
Чудотворящая река:  
Лишь воду я ее испробую —  
Любая даль не далека.  
И грезы ломкие и хрусткие  
Влекут к волнующему сну:  
Я снова вижу реки русские —  
Нелазу, Суду и Шексну...  
.....  
И брови хмурые, суровые  
Вдруг проясняются, когда  
Поймешь: Россонь слита с Наровою,  
И всюду — русская вода!..

*(«Стихи о реках», 1940)*

Он и в Эстонии воспевал русские форелевые реки, запомнившиеся ему

с детства. И в Тойла жил, как в своем череповецком лесу. Недаром довольно метко Андрей Вознесенский сравнил его с форелью: «Игорь-Северянин — форель культуры. Эта ироничная, капризно-музыкальная рыба, будто закапанная нотами, привыкла к среде хрустальной и стремительной».

А жесточайшие приступы тоски по родине, связанные и с тотальным одиночеством, и с нищетой, и с чувством своей ненужности, повторялись:

От гордого чувства, чуть странного,  
Бывает так горько подчас:  
Россия построена заново  
Другими, не нами, без нас...  
Уж ладно ли, худо ль построена,  
Однако построена все ж:  
Сильна ты без нашего воина,  
Не наши ты песни поешь.  
И вот мы остались без родины,  
И вид наш и жалок и пуст,  
Как будто бы белой смородины  
Обглодан раскидистый куст.

*(«Без нас», 1936)*

В рукописях поэта остался набросок незавершенного стихотворения:

Во мне все русское соединилось:  
Религиозность, тоска, мятеж,  
Жестокость, пошлость, порок и жалость,  
И безнадежность, и свет надежд.

От «Громокипящего кубка» до «Классических роз» — таков трудный и вместе с тем оптимистический путь в русской поэзии Игоря-Северянина.

## Сталинский грезифарс

Живя в тяжелейших условиях, в неприспособленных для жизни домишках глухих эстонских селений, спасаясь от голода ловлей рыбы, Игорь-Северянин только и мог, что грезить о покинутой России. В 1927 году он писал в своей одинокой глуши:

Десять лет — грустных лет! — как заброшен в приморскую  
глушь я.  
Труп за трупом духовно родных. Да и сам полутруп.  
Десять лет — страшных лет! — удушающего равнодушья  
Белой, красной — и розовой! — русских общественных групп.  
Десять лет — тяжких лет! — обескрыливающих лишений,  
Унижений щемящей и мозг шеломящей нужды.  
Десять лет — грозных лет! — сатирических строф по мишени  
Человеческой бесчеловечной и вечной вражды.

Как уже отмечалось, с белой эмиграцией поэт знаться не хотел. Эстонского языка Игорь-Северянин так до конца жизни и не выучил, первые годы ему все переводила жена Фелисса, а когда он с ней разошелся, стало тяжелее.

Десять лет — странных лет! — отреченья от многих привычек,  
На теперешний взгляд, — мудро-трезвый, — ненужно дурных...  
Но зато столько ж лет рыб, озер, перелесков и птичек  
И встречанья у моря ни с чем не сравнимой весны!  
Но зато столько ж лет, лет невинных, как яблоней белых  
Неземные цветы, вырастающие на земле,  
И стихов из души, как природа свободных и смелых,  
И прощенья в глазах, что в слезах, и — любви на челе!

Он пишет в письме другу: «Издателей на настоящие стихи теперь нет. Нет на них и читателя. Я пишу стихи, не записывая их, и почти всегда забываю». Где-то года с 1936-го он почти полностью перестал писать стихи: незачем, никто не печатал, да и напечатанные никто не покупал.

К 1940 году здоровье Игоря-Северянина резко ухудшилось, но денег не было не только на врача или лечение, но и на жизнь. Без всяких политических причин, без лакейства и трусости он искренне был рад присоединению Эстонии к Советскому Союзу. Он писал Георгию Шенгели: «Я очень рад, что мы с Вами теперь граждане одной страны. Я знал давно, что так будет, я верил в это твердо. И я рад, что это произошло при моей жизни» (подробнее см. Приложение).

Мало что зная о Советском Союзе, он поэтизирует его так же, как раньше поэтизировал своих принцесс из замков. Я бы назвал этот последний в его жизни цикл стихов «Сталинский грезофарс». Вот одно из стихотворений последних лет, «В наш праздник»:

Взвивается красное знамя  
Душою свободных времен.  
Ведь всё, во что верилось нами,  
Свершилось, как сбывшийся сон.  
Мы слышим в восторженном гуле  
Трех новых взволнованных стран:  
Мы к стану рабочих примкнули,  
Примкнули мы к стану крестьян.  
Наш дух навсегда овесенен.  
Мы верим в любви торжество.  
Бессмертный да здравствует Ленин  
И Сталин — преемник его!

Его сразу же напечатала газета «Советская деревня» (Нарва, 13 августа 1940 года). В этой газете были опубликованы две большие подборки стихов Игоря Северянина. Как он пишет в Москву своему другу Георгию Шенгели 9 октября 1940 года. И поэт поверил в возможность новой жизни для себя.

Вторая публикация в нарвской газете, состоявшаяся 6 сентября 1940 года, включала в себя два стихотворения Игоря-Северянина: «Наболевшее...» («Нет, я не беженец, и я не эмигрант...»), написанное за год до того (26 октября 1939 года), и «Привет Союзу!» («Шестнадцатиреспубличный Союз...»), написанное 28 июля 1940 года.

Шестнадцатиреспубличный Союз,  
Опередивший все края вселенной,  
Олимп воистину свободных муз,

Пою тебя душою вдохновенной!  
Нью-Йорк, Берлин, и Лондон, и Париж  
Перед твоим задумались массивом.  
Уж четверть века ты стоишь  
К себе влекущим, грозным и красивым.  
И с каждым днем ты крепнешь и растешь,  
Все новые сердца объединяя.  
О, как ты человечески хорош,  
Союз Любви, страна моя родная!  
И как я горд, и как безбрежно рад,  
Что все твои республики стальные,  
Что все твои пятнадцать остальные  
В конце концов мой создал Ленинград,  
И первую из них была — Россия!

*28 июля 1940 года*

Думаю, вряд ли случайно, не получив задания «сверху», его в Усть-Нарве посетили два спецкора (Лидов и Темин) из «Правды» и «Известий», двух центральных советских газет. Значит, интересовала судьба известного русского поэта и советских идеологов. Незадолго до того поэта посетил в его деревне оказавшийся там вместе с Красной армией писатель Павел Лукницкий.

О стихах советского периода Игоря-Северянина я нашел лишь одну публикацию, Е. Куранды и С. Гаркави «Стихотворения Игоря Северянина 1939—1941 годов: к вопросу текстологии и истории публикации». Литературоведы пишут: «В центральной прессе стихи Игоря Северянина появляются в марте следующего года — в мартовском номере журн. "Красная новь". Это всё тот же "Привет Союзу!", правда, с купюрами четырех строк, и "Стихи о реках" ("Россонь — река совсем особая..."), написанные тогда же, 8 сентября 1940 г.

В мае 1941 года имя Игоря Северянина появляется на страницах журнала "Огонек". Его стихотворение помещено в рамке, в центре страницы, на которой напечатаны три рассказа Вересаева. В той же рамке, под стихотворением Северянина "О том, чье имя вечно ново", опубликовано стихотворение М. Исаковского "Песня" ("На горе белым-бела / Утром вишня расцвела...").

Здесь, на наш взгляд, любопытен и выбор стихотворения Северянина,

и его соседство с Исаковским. Дело в том, что 12 сентября 1940 года, в письме к Г.А. Шенгели, Игорь Северянин посылает ему два стихотворения — "Стихи о реках" и "Сияет даль...", написанные 8 сентября, сопроводив их пожеланием отдать в "Огонек" или какой-либо другой журнал.

Как видим, "Огонек" (а скорее всего, Шенгели, пристраивавший стихи Игоря-Северянина для публикации в центральной советской печати) предпочел в качестве дебюта Северянина в роли советского поэта другое стихотворение, написанное еще в 1933 году, "О том, чье имя вечно ново". Это произведение на беспроигрышную, с точки зрения создания новой репутации поэту, "пушкинскую" тематику. В приобретении такой репутации — советского или, по крайней мере, лояльного советской стране поэта — Игорь Северянин, безусловно, нуждался. Пушкинская же тематика и "пушкиноведение" как часть государственной пропаганды приобрело в середине 1930-х знаковый смысл, обращение к этой теме в общем хоре других участников государственно одобряемых мероприятий практически стало мандатом политической лояльности».

Е. Куранда и С. Гаркави считают, что, если бы не война, Игорь-Северянин был бы принят в Союз писателей и занял бы вполне достойное место в литературной жизни Страны Советов. В 1940-е годы немало вернувшихся из эмиграции литераторов были доброжелательно приняты советской властью, среди них были и Куприн, и Вертинский, почему же Северянину было не занять там законное и почетное место?

Помимо продвижения стихов Игоря-Северянина в центральной печати, Г.А. Шенгели планировал прибегнуть к еще одной, установившейся в 1930-е годы, писательской практике — личного обращения к Сталину. Обсуждению этого сценария посвящено письмо Шенгели Игорю-Северянину от 28 сентября 1940 года: «Стихи, присланные Вами мне, поразительно трогательны и прекрасны, но — я думаю, что не стоит Вам начинать печататься с них. Вот в чем дело. У Вас европейское имя. Однако за долгие годы оторванности от родной страны Вас привыкли считать у нас эмигрантом (хотя я прекрасно знаю, что Вы только экспатриант), и отношение лично к Вам (не к Вашим стихам) у нашей литпублики настороженное. Это понятно. И поэтому, мне кажется, Вам надлежит выступить с большим программным стихотворением, которое прозвучало бы как политическая декларация. Это не должна быть "агитка" — это должно быть поэтическим самооглядом и взглядом вперед человека, прошедшего большую творческую дорогу и воссоединившегося с родиной, и родиной преображенной.

И послать это стихотворение (вместе с поэтической и политической

автобиографией, с формулировкой политического кредо) надо не в "Огонек" и т. п., а просто на имя Иосифа Виссарионовича Сталина. Адресовать просто: "Москва, Кремль, Сталину". Иосиф Виссарионович поистине великий человек, с широчайшим взглядом на вещи, с исключительной простотой и отзывчивостью. И Ваш голос не пройдет незамеченным, — я в этом уверен. И тогда все пойдет иначе...» (Полный текст письма хранится в РГАЛИ.)

Игорь-Северянин последовал совету. По крайней мере, в его письме Шенгели от 31 января 1941 года содержится отчет о промежуточном результате работы (или ее намерениях) над такой манифестацией: «Письмо И.В. Сталину у меня уже написано давно, но я все его исправляю и дополняю существенным. Хочется, чтобы оно было очень хорошим».

Дальнейшая судьба письма Игоря-Северянина Сталину неизвестна, но поэтическая декларация, которая должна была бы стать наглядным подтверждением намерений, провозглашаемых в письме, была написана и выслана Шенгели. Это стихотворение Игоря-Северянина, до сих пор полностью не введенное в научный и читательский оборот, — «Красная страна». Впервые оно упомянуто в письме к Шенгели от 23 мая 1941 года.

Рождался хороший ли, плохой ли, но советский поэт Игорь-Северянин: «В скором времени я напишу Сталину, ибо знаю, что он воистину гениальный человек». И далее делится своими планами: «Я хотел бы следующего — пять-шесть месяцев в году жить у себя на Устье, заготавливая стихи и статьи для советской прессы, дыша дивным воздухом и в свободное от работы время пользуясь лодкой, без которой чувствую себя как рыба без воды, а остальные полгода жить в Москве, общаться с передовыми людьми, выступать с чтением своих произведений и совершать, если надо, поездки по Союзу. Вот чего я страстно хотел бы, Георгий Аркадьевич! То есть быть полезным гражданином своей обновленной, социалистической страны, а не прозябать в Пайде...» (Письмо к Г.А. Шенгели от 9 ноября 1940 года.)

Может быть, в мечтах старому и больному романтику виделось, что его стихи встанут в один ряд со стихами Маяковского.

Стареющий поэт строит грандиозные замыслы, хотя в жизни продолжают все те же бытовые проблемы, прежде всего катастрофическая нищета. Он ждет советские гонорары, посылает стихи в советские журналы.

Прислушивается к словам московским  
Не только наша Красная земля,

Освоенная вечным Маяковским  
В лучах маяковидного Кремля,  
А целый мир, который будет завтра,  
Как мы сегодня — цельным и тугим,  
И улыбнется Сталин, мудрый автор,  
Кто стал неизмеримо дорогим.  
Ведь коммунизм воистину нетленен,  
И просияет красная звезда  
Не только там, где похоронен Ленин,  
А всюду и везде, и навсегда.

Первым в этом «сталинском цикле» было написано стихотворение «Привет Союзу» — 28 июля 1940 года. Затем, в стихотворении «В наш праздник», поэт стал неожиданно для самого себя воплощать свои уже советские грезы в цикле стихов о все еще незнакомой, но родной державе:

Только ты, крестьянская, рабочая,  
Человечекровная, одна лишь,  
Родина, иная, чем все прочие,  
И тебя войною не развалишь.  
Потому что ты жива не случаем,  
А идеей крепкой и великой,  
Твоему я кланяюсь могучему,  
Солнечно сияющему лику.

Думаю, вряд ли один лишь Георгий Шенгели сам или через своих знакомых в редакциях устраивал публикации Северянина в советских центральных журналах. Такого просто не могло быть. Я не знаю, на каком «верху», может, с подачи самого Сталина, но было дано добро на возвращение Северянина в русскую советскую литературу. Достойным завершением «грезофарса» стало стихотворение «Красная страна».

Если бы не начавшаяся война, этот стих, вероятно, стал бы главным в триумфальном возвращении поэта на союзную арену. Увы, не случилось. При первых бомбежках Ленинграда Издательство писателей было уничтожено, а вместе с ним сгорел и альманах со стихами Игоря Северянина. Оригинал стихотворения «Красная страна» и сейчас хранится в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки, в архиве С.А.

Семенова, с редакторской правкой Всеволода Рождественского.

*Красная страна*

Стройной стройкой строена  
Красная страна,  
Глубоко освоена  
Разумом она.  
Ясная, понятная,  
Жаркая, как кровь,  
Душам нашим внятная  
Первая любовь.  
Ты, непокоримая,  
Крепкая, как сталь,  
Родина любимая —  
Глубь и ширь, и даль.  
Радость наша вешняя,  
Гордость наша ты,  
Ты — земная, здешняя,  
Проще простоты.  
Мира гниль подлецкая  
Вся тебе видна,  
Честная советская  
Умная страна.  
Враг глухими тропами  
Не пройдет сюда.  
Светит над Европою  
Красная звезда.  
И в пунцовых лучиках  
Худшее сгниет,  
Остальное ж, лучшее,  
К нам само придет.  
Над землей возносится  
Твой победный свет,  
Ты ведь мироносица,  
Лучше ж мира нет.  
Стойким сердцем воина  
Ты средь всех одна.  
Стройной стройкой строена

Ты, моя страна!

Думаю, это стихотворение злободневно и по сей день. «Сталинский грезофарс» Игоря-Северянина состоялся.

Удивительна судьба этих стихов в наше время: они попали в самый «черный список», по сути, запрещены. Как в советское время запрещали стихи антисоветские, так в перестроечное время стали нежелательны стихи, воспевающие советскую власть. Ни в якобы «Полном собрании сочинений в одном томе», вышедшем в издательстве «Альфа-книга» в Москве в 2014 году, ни в петербургском пятитомнике издательства «Логос» 1995 года стихов из «советского цикла» Игоря-Северянина вы не найдете. Нет их и в других современных изданиях Северянина. Не упоминают их и В. Терехина и Н. Шубникова-Гусева в своей книге о поэте. Не понимаю издателей и исследователей: напишите, что это стихи неудачные или заказные, оправдывающие поэта перед властями, дайте им любую оценку, как это сделал, например, Евгений Евтушенко: «Здесь надежда так перепутана со страхом, что разобраться, где страх, а где надежда, уже невозможно», — но, если вы готовите Полное собрание сочинений поэта, не делайте вид, что этих стихотворений нет в природе или что это не стихотворения вообще, — будьте любезны, опубликуйте весь «Сталинский грезофарс» Игоря-Северянина!

А в реальности грезы были остановлены войной, немцы вошли в Таллин, приближались к Нарве и тем деревушкам, где жил Игорь-Северянин.

## Последнее кочевье

В 1935 году произошел последний и самый, на мой взгляд, трагический перелом в жизни Игоря-Северянина. Он, напомним, ушел от верной жены Фелиссы к своей последней подруге Вере Борисовне Коренди.

Жизнь с Верой Борисовной была кочевая, в основном по дальним деревням Эстонии — Пюхайыги, Саркюля, Пайде, Нарва-Йыэсуу (Усть-Нарва). Иногда они останавливались и в Таллине. Работы никакой, жили почти на подаяние.

За весь 1935 год Северянину удалось провести всего три своих концерта-выступления: в Печорах, Валке и Нарве-Йыэсуу. Сын его Вакх, как помним, рано начал жить самостоятельно, а в 1944 году уехал в Швецию, где прожил до конца дней своих. Внуки и правнуки и сейчас живут в Швеции, русского языка не знают, судьбой деда и прадеда не интересуются. Вакх в завещании запретил публиковать архив отца.

Игорь-Северянин в этот свой полукочевой период вел какой-то почти животный образ жизни, стихи не писал. Писал разве что послания о помощи во все концы мира: в Индию Николаю Рериху, в Польшу поэту Казимиру Вежинскому, в Швецию...

Приведу, к примеру, несколько его жалобных писем.

Польскому поэту Казимиру Вежинскому (26 января 1937 года):

«Светлый Собрат!

Сама святая интуиция диктует мне это письмо. Я искристо помню Вас: Вы ведь из тех отмеченных немногих, общение с которыми обливает сердце неугасимой радостью. Я приветствую Ваше увенчание, ясно смотрю в Ваши глаза, крепко жму руку. Я космополит, но это не мешает мне любить и чувствовать Польшу. Целый ряд моих стихов — тому доказательство. На всю Прибалтику я единственный, в сущности, из поэтов, пишущих по-русски. Но русская Прибалтика не нуждается ни в поэзии, ни в поэтах. Как, впрочем, — к прискорбию, я должен это признать, — и вся русская эмиграция. Теперь она готовится к юбилею мертвого, но бессмертного Пушкина. Это было бы похвально, если это было сознательно. Я заявляю: она гордится им безотчетно, не гордясь отечественной поэзией, ибо если поэзия была бы понятна ей и ценима ею, я, наизаметнейший из русских поэтов современности, не погибал бы медленной голодной смертью.

Русская эмиграция одной рукой воскрешает Пушкина, другую же умерщвляет меня, Игоря-Северянина.

Маленькая Эстония, к гражданам которой я имею честь принадлежать уже 19 лет, ценя мои переводы ее поэтов, оказала мне больше заботливости, чем я имел основания рассчитывать. Но на Земле все в пределах срока, и мне невыносимо трудно. Я больше не могу вынести ослепляющих страданий моей семьи и моих собственных. Я поднимаю сигнал бедствия в надежде, что родственная моему духу Польша окажет помощь мне, запоздалому лирику, утопающему в человеческой бездарной бесчеловечности. Покойный Брюсов сказал Поэту:

Да будет твоя добродетель —  
Готовность взойти на костер!

Я исполнил его благой совет: я уже догораю, долгое время опаляемый его мучительными языками. Спасите! Точнее, затушив костер, дайте отход безболезненный.

Ворящий в Вас и Вашу Родину.

P. S. Предоставляю Вам все полномочия на перевод и помещение в печати польской этого моего письма».

В Швецию своей давней благодетельнице Августе Барановой:

«Не может быть речи и о творчестве: больше года ничего не создал: не для кого, это во-первых, а во-вторых — душа петь перестала, вконец умученная заботами и дрязгами дня. Живу случайными дарами добрых знакомых Белграда и Бухареста. Конечно, все это капля в море, но без этой "капли" и жить нельзя было бы. И всегда хронически ежемесячно не хватает, т. к. самая убогая даже жизнь стоит денег, а их, увы, очень немного присылают. <...> Если бы от<ец> Сергей Положенский и Вы могли бы собрать какую-нибудь сумму среди знакомых для меня, сына и Ф<елиссы> М<ихайловны>, мы были бы так светло Вам признательны, всегда дорогая Августа Дмитриевна! Неужели никто не поможет гибнущему поэту в уже погибшем мире? Есть же люди, хочется верить!»

Зимой, 23 января 1939 года, Игорь Васильевич пишет композитору Сергею Рахманинову, с которым был хорошо знаком:

«...В 1918 г. я уехал с семьей из Петербурга в нашу Эстляндскую губ<ернию>, превратившуюся через год в Эстонию. До 1934 г. я объездил 14 государств, везде читая русским, везде кое-что зарабатывая. Конечно, очень скромно, но все же жить можно было. А с 1934 г. — ничего: ни

заработков, ни надежд на них, ни здоровья. Ехать не на что; ехать некуда: везде ограничения, запреты, одичанье.

Кому теперь до поэзии?! На нее смотрят свысока, пренебрежительно; с иронией и изумлением. И даже с негодованием. <...> Я живу чудом, Сергей Васильевич: случайными даяньями. Их все меньше и меньше. Они прекращаются, ибо люди уходят, а человеки не признают. Я живу в глухой деревне, на берегах обворожительной Россони, в маленькой, бедной избушке с женой и дочерью. Мы все больные, умученные, уходящие. Помогите же нам... <...> "уйти" более или менее безболезненно. Невыносимо, свыше всяких сил обессиленных — умирать без конца! И не странно ли, не поразительно ли? — чем ужаснее жизнь, тем больше жить хочется, тем больше цепляешься за жизнь, все во что-то несбыточное веря и надеясь... без надежд!»

Рахманинов прислал поэту 35 долларов. Северянин ответил письмом (до 4 июня 1939 года): «Светлый Сергей Васильевич!

Я благодарю Вас от всей души за присланные мне \$ 35. Этот Ваш дар явился для меня весьма существенной поддержкой. В моем домике под Россонью висит несколько портретов обожествленных людей, мною боготворимых; среди них Н.А. Римский-Корсаков работы Серова. Сделайте радость мне — пришлите свой с подписью. Вы даровали мне три месяца жизни в природе: это такой большой срок по нашим временам!»

Композитор, высоко ценивший Северянина, прислал ему свой портрет с дарственной надписью.

А вот попытка его выпустить книгу стихов через Николая Рериха окончилась ничем: издательство «Алатас» Гребенщикова дышало на ладан. Правда, Рерих выслал поэту пять фунтов стерлингов, а чтобы поддержать морально — писал (27 июня 1938 года): «...даже в нашей горной глуши нам постоянно приходится слышать прекрасные упоминания Вашего имени и цитаты Вашей поэзии. Еще совсем недавно одна неожиданная русская гостья декламировала Ваши стихи, ведь Вы напитали Вашими образами и созвучиями многие страны».

16 мая 1937 года Игорю-Северянину исполнилось 50 лет. За переводческую деятельность ему назначили скромные субсидии из культурного фонда Эстонской республики в сумме восемь долларов в месяц.

Жили в это время Северянин с Верой Коренди в далекой деревушке Саркюля, до которой и доехать-то было почти невозможно. Сейчас эта деревня входит в состав России, на самой ее границе. Домик северянинский не сохранился, но есть улица его имени — Северянинская, и

памятная плита на месте домика. В непогоду до Саркюля просто невозможно добраться.

Брак Игоря Васильевича с Фелиссой, как я уже говорил, не был расторгнут официально. Журналисты, приезжая в Тойла, не заставляли поэта дома, и Фелисса Михайловна придумывала причину его отсутствия. В газетах появлялись старые фото, на которых они сняты вдвоем. Когда поэт бывал в Таллине или Тарту, друзья, приглашая его в гости, принимать у себя Веру Коренди отказывались.

На какое-то время Вера устроилась учительствовать в Таллине, и Северянину приходилось большую часть года проводить в городе. Его, уже люто возненавидевшего город, это сильно раздражало: ему хотелось в лес, на озера, на рыбалку. Он с ностальгией вспоминал былые годы жизни в Тойла. Не случайно одно из последних стихотворений поэта обращено к его брошенной жене Фелиссе Круут:

Нас двадцать лет связуют — жизни треть,  
И ты мне дорога совсем особо,  
Я при тебе хотел бы умереть:  
Любовь моя воистину до гроба.  
Хотя ты о любви не говоришь,  
Твое молчанье боле чем любовно.  
Белград, Берлин, София и Париж —  
Все это только наше, безусловно.

.....

С улыбкой умягченной, но стальной  
Презрела о поэте пересуды,  
Простив ему заране в остальной —  
Уже недолгой! — жизни все причуды...  
Одна мечта: вернуться бы к тебе,  
О, невознаградимая утрата!  
В богоспасаемой моей судьбе  
Ты героиня Гете, ты — Сперата.

(«Сперата», 1941 <?>)

В Тойла от Северянина остался дом, где сейчас работает музей. Рядом с ним установлен памятный камень, на нем по-эстонски и по-русски выбито: «Здесь жил и работал в 1918—1936 русский поэт Игорь Северянин»

1887—1941».

К столетию со дня смерти А.С. Пушкина «король поэтов» написал стихотворение «Пушкин — мне»:

Сто лет, как умер я, но, право, не жалею,  
Что пребываю век в загробной мгле,  
Что не живу с Наташею своею  
На помешавшейся Земле.

Уж и тогда-то, в дни моей эпохи,  
Не так уж сладко было нам  
Переносить вражду и срам  
И получать за песни крохи.

Ведь та же чернь, которая сейчас  
Так чтит национального поэта,  
Его сживала всячески со света,  
Пока он вынужденно не угас...

*(«Пушкин — мне», 1937)*

С началом войны, летом 1941 года, Игорь-Северянин принялся хлопотать об эвакуации в Ленинград. Передвигаться он уже был не в состоянии и просил прислать за ним машину. Писал Всеволоду Рождественскому, писал и советскому правительству — Михаилу Ивановичу Калинин. В августе лечащему врачу Игоря Васильевича А.И. Круглову позвонил доктор Виктор Хион, в то время народный комиссар здравоохранения Эстонской ССР (руководство Эстонии еще находилось в Нарве). Он расспрашивал о состоянии поэта, может ли тот перенести эвакуацию. Круглов рассказал об этом Северянину, заронив в его душу надежду.

В те дни у Игоря Васильевича жили его давние знакомые — семья Шумаковых, бежавшая из Тарту, уже занятого немцами. Вскоре после звонка наркома Шумаковы по фальшивым эвакуационным документам спешно выехали в Ленинград. Наутро кто-то сказал Северянину, что за ним присылали машину, но ее перехватили другие люди. Игорь Васильевич, Вера Борисовна, их друзья обвинили в этом Шумаковых.

Я склонен думать, что так это и было.

В апреле 1941 года у Игоря Васильевича случилось обострение сердечной недостаточности. 25 мая — тяжелый сердечный приступ. После этого он двигался очень мало, почти все время сидел или лежал. С большим трудом Вера Коренди перевезла его в Таллин, в квартиру своей семьи. 19 декабря 1941 года врач, осмотрев поэта, посоветовал Вере Борисовне ночью не оставлять его одного. Просидев ночь у постели, утром она пошла в аптеку за лекарствами. Когда вернулась, все было кончено — Игорь Васильевич умер в 11 часов утра на руках у ее сестры — Валерии Борисовны Запольской. Игорь-Северянин прожил всего 54 года.

По версии Михаила Петрова, эти печальные события развивались так:

«Вера Борисовна рвалась при первой же возможности перебраться в Таллин, где ее с нетерпением ждали родные. 30 сентября Вера Круглова с плиткой чудом сохранившегося довоенного шоколада идет к Игорю Васильевичу праздновать свои именины: "В комнате стол и железная кровать, на которой лежит Игорь Васильевич. Он уже не поднимается с постели. Это совершенно разбитый нравственно и физически человек. Не помню, что он говорил, да и говорил ли вообще. Это была моя последняя встреча с ним. В первых числах октября Вера Борисовна увезла его в Таллин. Увезла не прощаясь".

Вера Борисовна затеяла рискованный переезд из Усть-Нарвы в Таллин, хотя знала наверняка, что лечащий врач поэта Алексей Иванович Круглов будет против. Она боялась, что и сам Игорь Васильевич не захочет ехать в ненавистный ему Таллин и будет проситься умирать в Тойла. Вера Борисовна никогда потом не упоминала в своих рассказах об Игоре-Северянине и его болезни ни доктора Круглова, ни его жену.

От самой Веры Борисовны я слышал такую версию переезда в Таллин: "Совершенно случайно я познакомилась с одним доктором — немецким офицером. И вот он, единственный человек, который помогал. Он сказал: 'Я тоже поэт и я ненавижу фашистов'. Он не назвал своего имени, но он три раза в день носил нам еду. Потом достал нам разрешение на выезд в Таллин... Достал машину и отправил нас в Таллин. Мы три дня ехали до Таллина. Жив ли он — я не знаю. Очень добрый человек. Сказал, что у Игоря Васильевича тяжелая форма туберкулеза".

В документально-игровом фильме режиссера Юлии Силларт Вера Борисовна рассказывает уже совсем другую историю: "Поездка была очень тяжелая. Много народа. Он хотел лечь. Лечь было невозможно. Тогда он растянулся на полу. Я при первой остановке пошла к начальнику станции, и он мне дал отдельное купе. Матрац дал, одеяло и подушку. Когда мы приехали в Таллин, ни одна машина скорой помощи его не брала — все

мимо. Наконец, одна машина взяла. Ну мы подъехали домой. Наши были, конечно, очень рады. Я приехала ровно в день своего рождения — 29 октября. Мне случайно встретился один немец — доктор. Он сказал, что он тоже поэт, и определил у него тяжелую степень туберкулеза: 'У вашего отца...' Я говорю, это мой муж. Удивился очень. Инфаркт был в Таллине. Последние часы меня, к сожалению, не было дома — я была в аптеке. И вдруг я вижу, мне навстречу бежит моя тетька: 'Иди скорей. Ему очень плохо. Может, уже и кончился'. Я пришла туда. Там была медсестра. Он был еще теплый, но уже без сознания. Ну все, значит. Я всю ночь просидела около него. И вдруг вижу, он поднимается. Я говорю: 'Игорь, что же мне делать?' — 'Уедем вместе'. Но я не уехала с ним на тот свет — он же умерший был уже".

Кто может сегодня отделить в этих рассказах правду от вымысла? Мне рассказывали, что в момент смерти Игоря Васильевича Веры Борисовны не было дома. Поэт умер на руках ее младшей сестры Валерии, которая почему-то превратилась в рассказе Веры Борисовны в безымянную медсестру. Нет никаких оснований полагать, что старуха просто чудила на старости лет. Дело в том, что она всю свою жизнь искала тот единственно верный вариант легенды, при котором "струйка Токая не прольется мимо оскорбляемого водкой хрустала":

"Последние дни без сознания был почти. Он только сказал мне: 'Елочку ребенку'. Чтобы я сделала елку ребенку. А потом я сидела около. Может, я заснула, а может — нет. И вдруг я вижу — он поднимается. Я говорю: 'Игорь, что же теперь будет с нами?' — 'Уедем вместе'. А я не уехала, потому что надо было жить. Умер он в 11 часов утра 21 декабря. Ох, как мы искали место на кладбище! У меня же было место, но туда не позволили".

Когда в 1987 году я услышал эту версию, то очень удивился, что Вера Борисовна ошиблась в дате смерти поэта. Потом я понял, что мелкие детали ее никогда не интересовали. В рассказах Веры Борисовны все было подчинено единственно той мысли, которая занимала ее в ту минуту. В этом ее рассказе главная мысль заключается в том, что поэт умер на руках именно у нее, а не у младшей сестры. При этом Вера Борисовна случайно проговорила о поисках места на кладбище. С точки зрения ее многочисленной родни, Игорь-Северянин был всего лишь сожитель. Родня категорически отказалась приютить тело поэта на своем фамильном участке. Место для могилы поэта было найдено на той же центральной аллее кладбища, всего в 25—30 метрах от участка Запольских, в одной ограде с могилами Марии Николаевны Штерк, умершей в 1903 году, и

Марии Федоровны Пневской, скончавшейся в 1910 году. Когда в 1987 году зашла речь о благоустройстве могилы Игоря-Северянина, Вера Борисовна попыталась выдать М.Н. Штерк и М.Ф. Пневскую за дальних родственниц поэта. По ее словам, Игорь Васильевич сам выбрал место для своего последнего упокоения: "Такова была его воля!" Однако есть все основания предполагать, что могила поэта была устроена на месте другого захоронения, поскольку надгробный памятник Штерк и Пневской занимает в ограде ровно половину участка в дальнем его углу.

Игорь-Северянин умер в субботу 20 декабря 1941 года в Таллине, в доме на улице Рауа. Дом этот не сохранился. Весной следующего, 1942 года в него попала бомба. О смерти поэта объявили по радио. В организации похорон принимал участие писатель Юхан Яйк. Фелисса Михайловна, которая и для немцев была законной вдовой, немедленно получила разрешение приехать в Таллин на похороны мужа. Вместе с ней поехала и ее сестра Линда. Линда Михайловна Круут рассказывала, что в день похорон Вера Борисовна бросилась к Фелиссе со словами: "Будем как две родные сестры. Знаю, Игорь вас очень любил. Он так хотел в Тойла. Давайте будем жить вместе. Я буду работать. Я знаю, что у вас не очень хорошее здоровье. Я буду вам как сестра. Если бы я знала, что Игорь Васильевич умрет так быстро, я бы привезла его в Тойла".

Сама Вера Борисовна рассказывала о похоронах несколько иначе: "На похоронах помогали мать и тетя. Когда мы ехали на кладбище, мимо шли немецкие офицеры и отдавали честь... Круут приехала без единого цветка. Бросилась мне на шею: 'Он ушел к вам по доброй воле. Меня он уже давно не любил'".

Вот так, обыденно пошло закончился для поэта столь ненавистный ему в последние годы жизни фокстрот»...

## Приложение. Письма Игоря-Северянина Георгию Шенгели

Думаю, никакой биограф не сумел бы так передать — в таких эмоциональных и житейских подробностях — драму триумфально избранного «короля поэтов», доживающего свой век изгнанником, как сам поэт в личных письмах другу.

В настоящее время известны 20 писем Игоря-Северянина Георгию Шенгели (1927—1941 годы). Сохранившиеся письма показывают, какое значение имела для Северянина переписка с младшим другом, высоко ценившим его поэтический талант и спустя годы. В ответ на полученный от Северянина сборник последних стихов, подготовленный им к печати, Шенгели писал: «Я не мог не порадоваться, читая Ваши стихи. Прежняя певучесть, сила, прежняя "снайперская" меткость эпитета. Какой Вы прекрасный поэт, Игорь Васильевич».

Письма к Георгию Шенгели впервые опубликованы в изданиях: Коркина Е. Георгий Шенгели об Игоре Северянине // Таллин. 1987. № 3; Северянин Игорь. Стихотворения и поэмы. 1918—1941 / Сост., послесл. и прим. Ю. Шумакова. М.: Современник, 1990.

Письма опубликованы Юрием Шумаковым по рукописям, которые были переданы ему вдовой Шенгели, Ниной Леонтьевной Шенгели, и хранятся в его личном архиве.

Письма печатаются с небольшими сокращениями по указанным выше изданиям.

1

Toila, 12 сент. 1927 г.

Дорогой Георгий Аркадьевич!

Я испытал действительную радость, получив Ваш «Норд» (поэтический сборник Г. Шенгели. — В.Б.): через 11 лет Вы вспомнили меня, — спасибо.

Из книжки Вашей узнал о смерти Юлии Владим<ировны> [\[16\]](#), такой всегда хрупкой, так всегда мучившейся. Нежно жму руку Вашу. Но ведь Вы были давно подготовлены к этому, не правда ли? Я тогда же видел ее обреченность. Бедная маленькая женщина, девочка на вид.

В 1925 г. в Праге мы вспоминали Ю<лию> В<ладимировну> и Вас, гуляя по парку с Евг<ением> Ник<олаевичем> Чириковым.

В каждом году — перемены. Сколько же их в одиннадц<sup>ати</sup> годах, к тому же таких, как эти?

В 1921 г. умерла мама моя. В том же году я расстался, — наконец, — с М<sup>арией</sup> В<sup>асильевной</sup> (Волнянской. — В.Б.). И это было предначертано, как Вам, думается, известно. Теперь она где-то в СССР.

С 28 янв<sup>аря</sup> 1918 г. я живу постоянно на берегу Финского залива. Мой адрес неизменен: Eesti, Toila. Postkontor. Igor Severjanin.

Иногда выезжаю на Запад. За эти годы побывал трижды в Берлине, где жил от месяца до трех, давая вечера.

Встречался там с Кусиковым, Пастернаком, Маяковским, Толстым, Шкловским, Минским, Венгеровой и др.

Ездил в Финляндию, Латвию, Литву, Польшу (13 городов), Чехословакию. Везде вечера, иногда очень шумные и многолюдные. К сожал<sup>ению</sup>, расход больше прихода, поездки обходятся очень дорого, почти ничего не остается. Поэтому вот уже два года на месте. Эстийская природа очаровательна: головокружительный скалистый берег моря, лиственные деревья — Крым в миниатюре. Сосновые леса, 76 озер в них, трудолюбиво и умело возделанные поля. Речки с форелями. Да, здесь прелестно. У меня своя лодка («Ингрид»), я постоянно на воде, ужу рыбу. В 1921 г. женился на эстонке. Ее зовут Фелиссой, ей 25 лет теперь, у нас пятилетний мальчик — Вакх. Она пишет стихи и по-эст<sup>онски</sup> и по-русски, целодневно читает, выискивая полные собрания каждого писателя. Она универсально начитанна, у нее громадный вкус. Мы живем замкнуто, почти никого не видим, да и некого видеть здесь: отбросы эмиграции и рыбаки, далекие от искусства. За эти годы выпустил 13 книг. К сожал<sup>ению</sup>, в наст<sup>оящее</sup> время у меня нет ни одного своб<sup>одного</sup> экз<sup>емпляра</sup>, но я пришлю Вам что-либо в ближайшие недели.

Теперь Вы сообщите мне все, касающееся Вас. Судя по вашей книге, Вы печальны и утомлены, милый. Мы с женою воздаем должное стилистике Вашей книги. Приветствуем Вас. Напишите поскорее. Еще раз благодарю за память. Я часто вспоминал Вас.

Всегда Ваш Игорь

2

Toila, 22.XII.1927 г.

Дорогой Георгий Аркадьевич!

Не особенно давно я вернулся из поездки по Латвии: гастролировал семь дней подряд в Риге, дал вечер в Двинске, по пути в Латвию — в Юрьеве. Успех всюду прежний — залы переполнены. Пробыл в отсутствии двадцать шесть дней. Письмо ваше ожидало меня дома, и мне было

радостно его прочесть. И я рад, что Ю<лия> В<ладимировна> жива, пусть отчуждена она от Вас, пусть не в Вашей жизни оказалась, но ведь жива она, и это как-то бодрит: за эти годы столько смертей знаемых, и каждая из них — отмирание частицы самого себя. М<ожет> б<ыть>, вскоре уже нечему будет отмирать, и это будет смертью собственной: пожалуй, единственная способность, свойственная живущему.

Смерть Ф<едора> К<узъмича> (Сологуба. — В.Б.) — сильный удар для меня. Сбылись предчувствия. Иначе, впрочем, и быть не могло: теория вероятности. Теория, страшная своей непреложностью. Леденящая. Я написал четыре статьи, очень обширных: «Сологуб в Эстляндии», «Эстл<яндские> триолеты Сол<огуба>», «Салон Сол<огуба>», и «Умер в декабре». В последней я цитирую его стих: «В декабре я перестану жить». Это воспринято было им 4.XI.1913 г. кстати: Лесков («Обойденные») говорит: «Замечено, что день 5.XII — день особенных несчастий». Сол<огуб> умер 5.XII. Вы видите? Когда приедете ко мне, я покажу Вам статьи: все вырезки у меня хранятся, конечно. А приедете Вы непременно: мы оба хотим этого, а это повелительно. Знайте путь: ст<анция> Певе (пятая за Нарвой). Известите заранее — пришлю лошадь. Поезд из СССР приезжает в 10.55 веч<ера>.

Мне отрадно, что Ваша спутница «интеллектуальна». Я могу тоже самое сказать о своей. В наши дни, — как это ни странно, — это редкостно. Нам надо ценить милость, нам ниспосланную. Беречь надо подруг.

Да, лирическое не в чести, и мы, вероятно, последние. На вечера ходят, как в кунсткамеру. Так надо думать: тиража книг нет. Аплодируют не содержанию, не совершенной стилистике, — голосу: его пламени, его негодованию, его нежности беспредельной, всему тому, чего сами не имеют, перед чем подсознательно трепещут, чего боятся. Двуногое зверье...

Я жду Вашего отклика: я буду знать, что письмо это Вами прочтено, — в пустоту говорить тяжело. Хотя бы кратко скажите о получении. Тогда вышлю Вам свою поэму «Роса оранжевого часа», тогда напишу Вам подробнее.

Так Вы понимаете «отшельничество» мое? Так Вы ему сочувствуете? Тем ближе Вы мне.

«...И вновь о солнечном томится Крыме  
С ума сводящая меня мечта!»

К счастью, моя Тойла — Крым в миниатюре: море, нависшие отвесные скалы над ним, леса. И в них — 76 озер. А на них — я в своей «Ингрид».

Любящий Вас Игорь.

Toila, 10.III.1928 г.

Дорогой Георгий Аркадьевич!

«Драмы» очищают, углубляют, возносят, проясняют смутное и — я «не боюсь смелости» сказать обожают. Не забудьте, что в «драме» всегда страдание, оно в ней обязательно, на нем основана она, — и что пленительнее него? В каждой драме есть частица счастья: вновь получить или сохранить потеряемое. Сколько «драм» испытал я, но они — этапы в Божественное: я благодарю их. Я жму Вашу руку, ясно и прямо смотрю в глаза Ваши.

Пятого марта я вернулся из Польши — этим объясняется несвоевременный мой ответ на Ваше письмо. Поездка длилась полтора месяца и утомила меня и жену. Я дал три вечера в Варшаве, прочел в Польском Литературном обществе доклад об эстонской поэзии, дал один вечер в Вильно и выехал в Латвию, в Двинск, к одному местному поэту (русскому), человеку обязательнейшему, усиленно меня звавшему к себе (речь идет об Арсении Формакове. — В.Б.). Попутно, погостив у него четыре дня, я выступил на ученическом закрытом вечере, прочитав «детворе» (от 14 до 18 лет) десятка два новейших стихов о лесах и озерах эстийских. В Варшаве мы пробыли ровно три недели, гостя у одного весьма популярного в Польше адвоката (имеется в виду Лео Бальмонт. — В.Б.) — поэта, переводчика «Евгения Онегина» (целиком, конечно). В Вильно оставались девять дней. Заезжали еще на два дня в Ревель, где был объявлен мой очередной вечер, на день в Юрьев к милому поэту Правдину — лектору университета — и на день на курорт под Юрьевом — Эльва — навестить угасающую в чахотке (лилии алой...) очаровательную жену видного эстонского лирика, с которым нас связывают, — вот уже десять лет, — дружеские отношения.

Было радостно вернуться к своим осолнечным в марте снегам под настом, и легкокрылые — такие женственные — метели вот уже несколько дней, сменяя одна другую, слепят наши глаза своими южными прикосновениями, лаская лица мягковьюжными пушистыми руками. Но весна неотвратима, — это так ясно чувствуется, и в миги затишья дали так бирюзовы, воздух так весел и прозрачен. Сиреневый снег сумерек призрачен и предвешне тенист.

Благодарю Вас за стихи Ваши: счастье, может быть, не в горах... Мы здесь теряем представление о «нежности изабеллы» и не видим «ореховых садов». Нежность парного молока, шорохи сосен — вот удел наш. Во всем надо находить очарование, — ибо оно повсюду. Жить же не очаровываясь (хотя бы иллюзиями) поэт не может, человеку не

рекомендуется.

Фелисса Михайловна Вашей жене (Вы не сообщаете ее имени-отчества) и Вам, как и я, шлет свой искренний привет.

Дружески Ваш, Вас любящий Игорьь.

4

2.IX.1940 г.

Дорогой мне Георгий Аркадьевич!

Ваше письмо, сердечное и дружеское, меня искренне обрадовало: спасибо Вам за него. Оба экземпляра я получил. Сообщаю Вам свой адрес с 1 апр<еля> 1939 г. Из Тоila уехал 7.III. 1935 г. (После ссоры с женой переехал к Вере Коренди. — В.Б.)

И я очень рад, что мы с Вами теперь граждане одной страны [\[17\]](#). Я знал давно, что так будет, я верил в это твердо. И я рад, что произошло это при моей жизни: я мог и не дожидаться: ранней весной я перенес воспаление левого легкого в трудной форме. И до сих пор я не совсем здоров: постоянные хрипы в груди, ослабленная сердечная деятельность, усталость после небольшой работы. Капиталистический строй чуть совсем не убил во мне поэта: последние годы я почти ничего не создал, ибо стихов никто не читал. На поэтов здесь (и вообще в Европе) смотрели как на шутов и бездельников, обрекая их на унижение и голод. Давным-давно нужно было вернуться домой, тем более что я никогда врагом народа не был, да и не мог быть, так как я сам бедный поэт, пролетарий, и в моих стихах Вы найдете много строк протеста, возмущения и ненависти к законам и обычаям старой и выжившей из ума Европы.

Я не ответил Вам сразу оттого, что ездил в Таллин по делам, побывал в полпредстве и там справился о возможности поездки в Москву, дабы там получить живую работу и повидать Вас и некоторых других своих друзей. Этот вопрос, однако, пока остается открытым, но мне обещали вскоре меня известить.

Положение мое здесь из рук вон плохо: нет ни работы, ни средств к жизни, ни здоровья. Терзают долги и бессонные ночи. М<ожет> б<ыть>, Вам легче собраться сначала навестить меня и мою верную спутницу? Приезжайте, дорогой: квартирка у нас небольшая, но очень милая, и для Вас местечко найдется.

Простите, что задержал ответ, — причину я объяснил. Вы же ответьте, по возможности, сразу. Примите наши приветы вам обоим.

Крепко жму Вашу руку. Всегда помню и люблю.

Игорь Северянин.

Очень рад буду иметь Ваши новые книги.

5

Усть-Нарова, 12 сент. 1940 г.

Дорогой Георгий Аркадьевич!

3 сент<ября> послал Вам большое письмо, а сегодня лишь несколько строк и два стихотв<орения>: м<ожет> б<ыть>, отдадите их куда-либо, напр<имер> в «Огонек» или др<угой> журн<ал>, — этот гонорар меня весьма поддержал бы.

Мне здесь сообщили, что в «Литературной газете» (от 1 сент<ября>, кажется) были помещены мои стихи, переданные в августе лично одним знакомым, который заходил ко мне. Не сумеете ли Вы достать этот № и мне выслать, кстати, разузнать о гонораре. Буду Вам чрезвычайно обязан. Ежедневно жду ответа Вашего на свое письмо от З.ИХ и обещанных книг. Спешу отправить это письмо. Сердечный привет, добрые пожелания, надежда скоро увидеться. Ответ из Москвы еще не получен.

Всегда Ваш Игорь.

P. S. В Таллине и Нарве Лит<ературная> газ<ета> продается, но в очень ограниченном количестве экземпляров, так что сразу же бывает вся распродана.

Вы себе и представить не можете, мой милый Георгий Аркадьевич, как мне хотелось бы повидаться с Вами. Немудрено: ведь столько лет мы не виделись, не переключались, ничего не знаем друг о друге, между тем как жизни уже заканчиваются и так мало дней впереди...

И все-таки я полон энергии, вдохновения, желания работать на пользу Родины — самой умной, мирной и порядочной из стран мира!

Иг.

Генрих Виснапу (очень известный эст<онский> поэт) просит Вашего разрешения на перевод Ваших стихов.

6

<09.10.40>

Дорогой мне Георгий Аркадьевич!

27 сент<ября> переехали до весны в Пайде (б. Вейсенштейн): Верочка получила в здешней школе место препод<авателя> русского языка. Она окончила университет в Дерпте, ее специальность — русский и французский. Городок расположен в центре страны. Климат сырой: вокруг болота. Для здоровья моего (да и ее тоже) это, конечно, губительно. Но что делать! Отсюда до Усть-Нарвы более 200 кил<ометров>, от Таллина около 100. Мне и Вере было так больно покидать наш милый уголок в прелестной местности у моря и двух рек... К счастью, мы оставили квартирку за собою, и, когда вы через два месяца приедете к нам, я сначала приму Вас у себя в

Усть-Нарве, а потом уже мы поедем сюда к Верочке.

Ваше письмо я получил только сегодня, а книгу еще 2 окт<ября>. Я так и думал, что Вы одновременно написали мне, и поэтому медлил с ответом на книгу. А книга произвела на меня большое и из ряда вон выходящее впечатление: я два часа просидел в туманный день у распахнутой форточки и... не заметил, пока не стал сильно кашлять! Книга глубокая, интересная и предельно легкая. Вы — чудесный мастер и проникновенный большой поэт. Поэт вдохновенный, умный, блистательный. Я горжусь Вами. Верочка очарована «Барханами»! В особенности меня пленили отрывки из «Пиротехника» (все!), а некоторые строфы гениальны: «...Это — Жизнь! Бы-ти-е!», «...А вечер весенний сиренев»... А какая лепка эпохи «Ушедшее в камень»! Непревзойденно. Еще мне нравятся «Пять лет», «Ода унив<ерситету?>», «Александрия», «Бетховен», «Державин» и др. и др. При встрече отмечу еще много. На портрете Вы выглядите великолепно: светлый, возмужалый, свой, милый... Спасибо Вам за книжку, спасибо самое восторженное! Своих Вам прислать сейчас, к сожал<ению>, не смогу: их у меня вообще нет, а переводы с эст<онского> остались дома. Около 20 окт<ября> надеюсь там побывать на денек-другой: тогда вышлю две книжки Раннита (эстонский поэт Алексис Раннит; настоящее имя Алексей Долгошев. — В.Б.) и одну Виснапу. (Кстати, передам ему Ваши слова относительно переводов. М<ожет> б<ыть>, Вы пошлете ему свою книгу? Его адрес: Эст<онская> ССР, Tallinn. Nõmme. Orava, 4—10, Henrik Visnapuu.) Вы меня, дорогой друг, просто тронули своими заботами и вниманием. Я обязательно сделаю так, как Вы советуете: я и сам подумал об этом.

В скором времени я напишу Сталину, ибо знаю, что он воистину гениальный человек. И пошлю ему некоторые новые стихи. Что же касается среднего моего, посылаю Вам стихи, написанные еще в октябре 1939 г. Из них Вы узнаете мои мысли и думы. Кроме того, посылаю Вам два стих<отворения>, написанные этим летом. Все три стих<отворения> были помещены в нарвской газете «Советская деревня» и, кроме того, взяты у меня спецкором «Правды» П.К. Лидовым <sup>[18]</sup> и В.Л. Теминым (фотокорреспондент «Огонька». — В.Б.), когда 11 авг<уста> они посетили меня в Усть-Нарове и долго беседовали со мною, сделав более десяти снимков с меня дома и на реке. Когда я узнал впоследствии от знакомых, что все 3 стих<отворения> были помещены в «Литгазете», я подумал, что их туда передал Лидов. Но вот Вы пишете, что их там не было. Возможно, знакомые спутали с «Сов<етской> дер<евней>». Относительно денег — как я могу принять их от Вас, когда не знаю сроков получек своих? Во

всяком случае, не нахожу слов благодарить Вас, верного своего друга. Посылаю Вам и четвертое стихотворение — «Старый Лондон». Думается, его следовало бы поместить именно теперь, иначе оно устареет. Впрочем, поступайте как найдете нужным, стихи оставьте себе на память и мне не возвращайте.

Я почти три года ничего не писал вовсе, и только это лето, когда бойцы и краснофлотцы освободили нас, реакционных мертвецов, оказалось для меня плодотворным, и я написал целый ряд стихов, ожив и воспрянув духом.

Вера Борисовна и я шлем наши самые сердечные приветы Нине (отчество?..) и Вам (Нина Леонтьевна — жена Г. Шенгели. — В.Б.). Мы благодарим Вас, помним и любим.

Я жду от Вас, Георгий Аркадьевич, скорого ответа на это письмо.

А к Новому году и Вас самого.

Paide, 9.X.1940

Ваш Игорь.

P. S. Пожалуйста, не осудите меня за плохие, водянистые чернила: в этом городе трудно что-либо достать. Поэтому и рукописи получились не в моем стиле. И еще один вопрос: видели ли Вы своими глазами № 46 «Литгазеты» от 1 сент<ября>? Или Вам кто-либо говорил о ней? Люди так настойчиво меня уверяли, что читали именно в «Лит<ературной> газ<ете>» мои стихи. И вдобавок прибавляли, что статья обо мнр была там помещена!..

И. С.

7

<5 декабря 1940 г.>

Дорогой Георгий Аркадьевич, как Ваше здоровье и отчего Вы давно ничего о себе не пишете? Я послал Вам 10 окт<ября> заказное большое письмо и вложил в него 4 новых стих<отворения>, а 12-го переслал зак<азной> банд<еролью> книгу переводов с эстонского, как Вы просили. Около 20 окт<ября> я серьезно заболел: сердечная ангина. Это — следствие весеннего воспаления легких, т. к. температура более месяца была тогда 38—39. Болезнь, чрезвычайно мучительная, продержала меня около месяца в постели. Перемежающиеся боли в левой руке и колики в области сердца, «шумная» одышка, мгновенная утомляемость, невозможность сгибаться. Теперь несколько лучше, но все же глухие боли в сердце. Собственно я не лечусь, только капли принимаю: здесь нет ни подход<ящих> врачей, ни средств на них. Все это очень скучно и отражается на психике, не давая работать. Стремлюсь всей душой быть

полезным родине, и меня все это тяготит. Хотелось бы повидаться с Вами. Дайте отклик. Привет жене и Вам от Веры Борис<овны>.

Ваш Игорь

<На полях открытки приписано:>

Отвечайте на мой адрес (после 20-го буду дома): ЭССР, Narva-Joesuu, Vabaduse, 3.

8

Raide, 20 дек. 1940 г.

Дорогой Георгий Аркадьевич,

7 дек<абря> послал Вам открытку, а на другой день в школе у Веры Борисовны прекратились на 10 дней занятия (грипп), и мы в тот же день уехали, конечно, в Усть-Нарову, где так всегда очаровательно и бодряще. 16 дек<абря>, перед отъездом, я получил пересланные отсюда два томика Байрона (в переводе Г. Шенгели. — В.Б.), а 17 дек<абря> уже здесь и Ваше письмо. Благодарю Вас за все. Здоровье мое, к сожал<ению>, совсем испорчено, и это меня омрачает и тяготит. Для меня легче отвечать и писать по пунктам. Простите.

1) Какую работу может мне предоставить Союз эст<онских> писат<елей>? Думаю — никакой. На единовр<еменную> субсидию надежд нет: у них мало средств, да и нет мотивов. Попробую, однако.

2) Книги все распроданы. Постараюсь найти две-три. Трудно.

3) Из примечаний к «Шильонскому узнику» выяснилось, что Вы побывали в Швейцарии. В котором году это было? Я ехал через Швейцарию (Белград — Загреб — Любляна — Инсбрук — Базель — Париж) в 1931 г. в конце января. Отчего не заехали в Тойлу, как обещали?..

4) 163 разных типа катрена — это восхитительно! Спасибо за работу и за выяснение.

5) Ваши указания дельны и дружественны. Самое интересное — это то, что решительно все задевали давно и меня, но вот не исправил почему-то раньше. Теперь все исправлено. Ознакомлю Вас.

6) Жаль, что в Союз советских писателей послал через Союз эст<онских> писат<елей> в прежней редакции (10 дек<абря>).

7) Очень просим Вас приехать в Усть-Нарву между 1—8 января. Я хотел бы повидаться с Вами, дорогой и верный друг. Здоровье мое побуждает просить Вас. У нас есть один свободный диван в моей рабочей комнате. Чисто, светло, тепло.

8) Мы уезжаем в Усть-Нарву (на новог<одние> каникулы) 30 декабря. Пишите на этот адрес (Narva-Joesuu. Vabaduse, 3. ЭССР).

<Приписка на полях:>

Мне очень хотелось бы иметь какую-либо книгу о М<sup>аяковском</sup>, где, вероятно, есть строки и обо мне: интересно, как пишут обо мне (в каком тоне, и много ли истины?). О Маяковском, я наслышан, имеется целая литература. <...>

Всегда Ваш и с Вами Игорь.

9

<Не позже 17.01.41>

В стих<отворении> «Старый Лондон» после слов «аббатством» следует: «подсобить разветрить флаг, флаг, где серп, и флаг, где молот, флаг, возникший над Невой, флаг, который вечно молод — бодрый, гордый, огневой» и далее, как раньше. После слов «Британский брат» следует новая строка: «Восстановит новый Лондон, победив, пролетариат».

Еще раз: получили ли Вы в свое время «Росу оранжевого часа»? Если нет, я имею один свободный экземпляр и могу Вам его выслать. Но все в Усть-Нарве.

В стих<отворении> «В наш праздник» десятая строка читается: «Мы верим в свое торжество».

Не возьмете ли Вы на себя труд отстукать на машинке те стихи, которые найдете более подходящими, и передать их в Союз сов<етских> писат<елей>. Был бы Вам весьма обязан, т<ак> к<ак> теперь выяснилось, что Союз эст<онских> писат<елей> стихов не выслал 10 дек<абря>, как собирался. Высылаю Вам «Рояль Леандра».

За книгу «Гюго» большое спасибо. Я ее внимательно прочту, совсем мало его зная.

Лилия Брик, говорят, поместила интересную статью «Маяковский и чужие стихи» в № 3 «Знамени» за 1940 г. <sup>[19]</sup> Мои знакомые ни в Таллине, ни в Тарту, ни в Нарве, однако, этого номера, к сож<алению>, не нашли. Не пришлете ли его мне? Пожалуйста, очень прошу.

И не найдется ли книга Бенедикта Лившица «Полутораглазый стрелец»? Что было в «Литер<атурном> обозрении» (окт<ябрь>, или ноябрь, или же сент<ябрь> 1940 г.)?

В Эстонии, увы, ничего купить попросту нельзя. Я читаю только «Правду», «Огонек», иногда «Октябрь», «Вокруг света», «Вожатый», «Наша страна».

Вообще, если Вы иногда пошлете нам какую-либо книгу, мы с Верочкой будем в восторге, ибо, повторяю, здесь ничего не достанешь. М<ожет> б<ыть>, можно наложенным платежом? Иначе стыдно беспокоить.

Прилагаемые стих<отворения> Веры Бор<исовны>, может быть,

дадите в какой-нибудь журнал, если представится случай.

Фото вышло из дома: здесь, к сожал<ению>, нет.

Пишу воспоминания о Маяковском. Около 500 строк уже есть. Больше, пожалуй, и не будет: все запечатлено.

10

Paide, 17.I.41 г.

Дорогой Георгий Аркадьевич, сегодня получил Ваше письмо, а третьего дня мы вернулись сюда из дома. Жизнь наша грустна и тягостна, дорогой друг, ибо мы должны жить в жутких условиях общежития, в комнате ледяной и сырой, оторванные от условий, в которых я мог дышать, творить и мыслить. Климат Paide ужасен: всегда сырость болотная, удушающая и давящая. Даже при 20 гр<адусах> морозов ясно ощущается сырость! Ни одного знакомого человека, ни театра, ни радио, ни книг, ни доктора, которому можно довериться. У В<еры> Б<орисовны> слабые легкие, она вообще хрупче хрупкого, вся из Матэрлинка, а я еще года нет как перенес воспаление левого легкого, а с октября приобрел болезнь сердца. Можете себе представить, как «хорошо» мы себя чувствуем. Школа совершенно убивает моего друга: 4—5 уроков ежедневно, да работа дома, да тетради, да подготовка, да постоянные заседания, так что она в тень на моих глазах (а это очень ведь тяжело!) превратилась. И я ничем-ничем не могу ей помочь, ибо с июля заработал всего, дико вымолвить, 12 р<ублей> 50 к<опеек>!.. Минутами я чувствую, что не вынесу безработицы, что никогда не оправлюсь в этом климате, в этой комнате, вообще — в этих условиях. Душа тянется к живому труду, дающему право на культурный отдых. Последние силы иссякают в неопределенности, в сознании своей ненужности. А я мог бы, мне кажется, еще быть во многом полезен своей обновленной родине! И нельзя жить без музыки, без стихов, без общения с тонкими и проникновенными людьми. А здесь — пустыня, непосильный труд подруги и наше общее угасание. Изо дня в день. Простите за этот вопль, за эти страшные строки: я давно хотел сказать (хоть сказать!) Вам это. Моя нечеловеческая бодрость, выдержка и жизнерадостность всегдашняя порою (и часто-часто) мне стали изменять. Я жду труда, дающего свои деньги, и отдыха заслуженного, а не бессмысленного.

Любящий Вас Игорь.

P. S. Несколько слов по поводу стихов, переданных Вами в редакцию «30 дней». Я был бы крайне заинтересован в их помещении и в оплате, т. к., прямо скажу, весьма тяжело не иметь своего заработка. Вообще, отдавайте стихи, куда только возможным найдете. В<ера> Б<орисовна> напрягает последние силы, но большая часть ее жалования уходит на уплату

давнишних долгов. Еще раз скажу: если бы я поскорее мог получить постоянную работу! Болезнь моя более чем серьезна, но я часто стараюсь ее убавить, чтобы не разорять друга на лекарства, доктор же у меня в Усть-Нарве — давнишний приятель и денег за совет не берет. Но здесь, в Пайде, я к врачам не обращаюсь. Безработица — одна из главных причин моих сердечных припадков.

Роман свой я Вам вышлю только через несколько дней.

«Мазепу» Гюго нахожу гениальным произведением. Еще раз спасибо за книгу.

Если встретите Пастернака и Асеева, передайте им мой искренний привет.

Видитесь ли с А. Н. Толстым, В. Каменским и Бриками? Если видите, пожалуйста, приветствуйте их.

Давно я не видел Толстого (с Берлина!). Постарел ли он? Мы так дружно тогда и весело проводили время с ним и покойным Маяковским.

11

Paide, 22 янв<аря> 1941 г.

Дорогой мой Георгий Аркадьевич, в добавлении к своему письму от 17 янв<аря> я хочу в кратких словах описать Вам Усть-Нарову и ее окрестности, чтобы Вы с исчерпывающей ясностью представили наше душевное состояние и поняли, как нам безумно тяжело было лишиться моря, рек, озера, дивного воздуха и уюта сухой и солнечной квартирki. Усть-Нарова, маленький изящный городок, расположена при впадении широкой и многоводной Наровы в Финский залив. Напротив наших окон впадает в нее Россонь, река тоже достаточно большая, извилистая, с живописными берегами. Вытекает она из реки Луги (редкий случай, не правда ли?). В 2? кил<ометрах> от городка на правом берегу Россони, в лесах хвойных, находится деревушка Саркуль, где в маленькой избушке (кухня и комнатка) мы прожили со 2 апр<еля> 1938 г. по 1 апр<еля> 1939 г. — ровно год. Это было чудесно, и жаль, что из-за лавок и почты пришлось все же переехать оттуда, но опыт показал, что в бурю, метель или осенние дожди мы буквально были отрезаны от хлеба, папирос и прочего. Купить же или занять в деревне было немислимо. В хорошую погоду мы ездили в лавки на лодке, и это было большим удовольствием. Если бы мы, конечно, были богаче, мы могли бы запастись тогда и табаком, и мукой, но в том-то и беда, что при капиталистическом строе мы всегда очень нуждались и доставали деньги по мелочам. Да и В<ера> Б<орисовна> 2? года была лишена службы (из-за плохого здоровья). И вот 1.IV.1939 г. нам пришлось переехать в городок, где удалось подыскать на берегу Наровы прелестную,

крохотную, очень теплую и сухую квартирку, похожую на каюту, по очень дешевой цене (8 р<ублей> 75 к<опеек> в месяц). Мы, люди бедные, ее любовно и по нашим грошовым получкам тогдашним ее омеблировали, причем большинство вещей было сделано по моим рисункам саркульским столяром-любителем, крестьянином Петром Ивановичем. Все это обошлось крайне недорого, но выполнено было изящно и чисто. Красил вещи я сам. Когда наконец был создан элементарный уют, я целиком мог отдаться творчеству. Все эти годы мы мечтали обзавестись радио, но, увы, достичь этого не смогли из-за неимения средств, и это тем печальнее, что мы обожаем серьезную музыку, а В<ера> Б<орисовна> — человек музыкальный и прелестно играет на пианино, которого, кстати сказать, у нас тоже нет... Итак, откинув музыку, перечислю достоинства Усть-Наровы:

1. Прекрасный морской, бодрящий климат.
2. Очаровательные реки, тихое озеро, леса, поля, луга, море.
3. Лавка, почта, аптека, доктор.
4. Уют и тепло помещения.

Всего этого мы абсолютно лишены в нашем болоте (во всех смыслах!) — в Пайде. Как же нам не печалиться, что не удалось Вере Бор<исовне> получить место учительницы в Усть-Нарве или хотя бы в красивой Нарве, куда могла бы ездить ежедневно на службу? Езды ведь всего 25 минут.

Я хотел бы следующего: 5—6 месяцев в году жить у себя на Устьи, заготавливая стихи и статьи для советской прессы, дыша дивным воздухом и в свободное от работы время пользуясь лодкой, без которой чувствую себя как рыба без воды, а остальные полгода жить в Москве, общаться с передовыми людьми, выступать с чтением своих произведений и совершать, если надо, поездки по Союзу.

Вот чего я страстно хотел бы, Георгий Аркадьевич! Т<о> е<сть> быть полезным гражданином своей обновленной, социал<истической> родины, а не прозябать в Пайде.

Мы с Верочкой очень просим Нину Леонт<ьевну> и Вас все же в конце концов собраться к нам, в Усть-Нарву, предварительно нас за недельку известив. Тогда я один (Вера из-за службы сможет приехать на один-два дня только, к сожал<ению>) выеду домой и приму Вас обоих, как родных. Заранее извините за скромность приема, но зато он будет сердечным. С голода Вас не уморю, ибо готовить необходимое умею в совершенстве сам. Моя рабочая комната с двумя диванами, простыми, но чистыми и удобными, в вашем распоряжении.

Мне просто необходимо повидаться с Вами и обо всем переговорить. Я жажду живой и продуктивной работы. Единственное, что меня удручает, —

мое здоровье.

Но не будем об этом говорить, сами все увидите. М<ожет> б<ыть>, получив работу, я оживу еще раз.

По моим шестилетним наблюдениям, глубоким и продуманным, состояние Верочки таково, что ей служить не следовало бы ни в каком случае; с нее совершенно достаточно и забот по хозяйству. Из этого вывод: я должен встать на ноги и продолжать, как и раньше, содержать и себя и ее. Невыносимо видеть, как любимый человек, порядочный и бескорыстный, прямо убивает себя непосильной работой. Так что и служба в Нарве даже, в итоге, конечно, принесла бы ей вред.

Мучает Веру и то, что ее ребенок, девочка девяти лет от первого мужа (дочь П. Коренева и В. Коренди Валерия; даты жизни: 1931—1983. — В.Б.), разлучена обстоятельствами с нею: в Пайде русских школ нет, а дочь учится в русской школе в Таллине и живет у бабушки вот уже вторую зиму. (До осени 1939 г. ребенок был при нас.) На новогодние каникулы девочку В<ера> Б<орисовна>, конечно, брала в Усть-Нарву. Что касается Нины Леонтьевны и Вашего приезда, я полагал бы так: приезжайте сначала на недельку теперь же (в феврале), а потом на более продолжительный срок летом, когда можно будет пользоваться лодкой, когда откроется морское купание и проч<ее>.

Посылаю Вам стих<отворение>, написанное Вашей ритмикой («Барханы»), и еще два, что составит весь цикл пьес, созданных от июля до окт<ября> включительно (т<о> е<сть> 11), а также три строфы из «Рояля Леандра». Верочка и я Нине Л<еонтьевне> и Вам шлем самые дружеские приветы и ждем с гром<адным> удов<ольствием> к себе.

Всегда Ваш Игорь.

12

31 янв<аря> 1941 г.

Дорогой мой Георгий Аркадьевич!

Вчера в 9.15 у<тра> получил Ваше письмо и материалы. Сегодня к 10 ч<асам> у<тра> работа была выполнена. Я потратил на нее сутки, — лучше я выполнить при всем старании не смог бы. Я благодарю Вас так, как только способен художник благодарить художника: вдохновенно! От этого «экзамена» зависит слишком многое, поэтому будьте в оконч<ательном> редактировании беспощадно строги: исправляйте все, что найдете нужным. Я после болезни слишком сдал: рассеянность, м<ожет> б<ыть>, недомыслие, мгновенная усталость. Не судите калеку очень, поймите. «Мое о Маяковском» (запоздалые записи) я систематизирую и Вам недели через две вышлю, сделав копию, а Вам предоставляю опять-таки перечеркивать

лишнее: Вам виднее. И фамилии заменять инициалами, если надо. У меня ведь сырой материал. Книги высылаю. Простите за невольную задержку. Если увидите Вад<има> Габ<риеловича> (Шершеневича. — В.Б.), скажите ему, что я прошу его выслать мне на прочет «Стрельца». Верну, конечно. Письмо И<осифу> В<иссарионовичу> С<талину> у меня уже написано давно, но я все его исправляю и дополняю существенным. Хочется, чтобы оно было очень хорошим. Спешу выслать Вам письмо и перевод. Обнимаю Вас горячо, наш привет Н<ине> Л<еонтьевне> и Вам, дорогой, верный друг. Жду обещанного скорого письма. Мы переехали на днях напротив, наняв на чердаке кухню с отд<ельной> винтовой лестн<ицей> со двора. До потолка от моего темени ровно два вершка... Возможно, здесь теплее и суше, но печка держит тепло только... 1? часа! Да...

Всегда Ваш Игорь.

Нужно ли посылать Вам переводы в прозе?

13

Paide, 6.II.1941 г.

Дорогой Георгий Аркадьевич!

Я решил приналечь на работу и выслать Вам «Мое о Маяковском» поскорее, ибо обстоятельства не терпят... Сделайте из материала, что найдете возможным. Роман вышлю из Усть-Нарвы, а пока высылаю другие книги. Мицкевича послал 31 янв<аря> и трепещу за участь переводов: слишком много с этим связано. В<ера> Б<орисовна> и я совсем расхворались на своем чердаке: у нее бронхит, у меня кашель, насморк, бессонница, и сердце таково, ведра поднять не могу: задыхаюсь буквально. Спешу послать.

Обнимаю Вас крепко.

Наши Вам обоим приветы Сердечные.

Всегда Ваш Игорь.

P. S. Жду обещанной весточки.

14

Усть-Нарва, 24 февраля 1941 г.

Дорогой и милый Георгий Аркадьевич,

не получая от Вас ответа на три заказных письма из Paide, крайне обеспокоен Вашим молчанием и решаюсь еще раз написать Вам, чтобы выяснить некоторые непонятности.

Буду предельно краток. Переводы из Мицкевича я послал Вам сразу же, т<о> е<сть> 31 января. Затем 5 февр<аля> послал материалы о Маяковском (15 страничек). Кроме того, 23 янв<аря> послал письмо с описанием Усть-Нарвы и прилож<ением> трех строф из романа и

стихотворения «К английскому пролетариату».

Как я и предполагал, Верочка жестоко заболела: ровно 14 дней проболела в Paide, а потом врач, видя, что в болоте ей не поправиться, настоял на перемене воздуха и направил ее к морю еще на 10 дней. Завтра истекает срок, и мы обязаны вернуться. Думаю об этом с отчаяньем, т<ак> к<ак> боюсь, что болото сразу же ухудшит ее бронхит. А тут, уже на четвертый день, она почувствовала себя было совсем хорошо. Жалованья она, увы, не получает, а лишь 50 проц<ентов> на болезнь, да и то только тогда, когда совсем поправится, пока же мы задолжали кому только могли, и выпутаться будет крайне трудно. О своем здоровье утешительного ничего сообщить не сумею: колики в сердце, одышка, ночные ежедневные поты, отчаянье от безработицы и невыясненности положения и от ужаса перед необходимостью сидеть в падейском болоте. О, если бы я смог, пока жив, получить наконец более-менее постоянную переводную работу из Москвы! Кстати: что можете Вы сообщить по поводу сданной мною работы? Приемлема она или вообще никуда не годится? Но я так старался, дорогой друг. Дней через 11—12 мы рассчитываем опять сюда вернуться на весенние каникулы (дней на 12). Поэтому убедительно Вас прошу, напишите ответ в Усть-Нарву. И вот еще один вопрос: не писали ли Вы мне на Paide после 25 янв<аря> (Ваше последнее письмо)? То, где были подстрочники. Получили ли Вы письмо со стих<ами> Верочки? Мне так стыдно отнимать у Вас деловое время, но, уверяю Вас, общее мое состояние (и моральное, и матер<иальное>) да послужит мне прощением. Я серьезно болен, Георгий Аркадьевич, и ежеминутно болею думою за свою подругу. Простите, не осудите, напишите. Наши самые искр<енние> приветы Нине Леонтьевне и Вам. Мы уже устали звать Вас обоих к себе.

Обнимаю Вас крепко.

Ваш всегда и всегда с Вами Игорь.

15

Paide, 7.III.41 г.

Дорогой и милый Георгий Аркадьевич!

с большим трудом (в разл<ичных> отнош<ени-ях>) «доставились» мы сюда 2 марта к вечеру. Дорога невообразима: три пересадки, сквозняки, переп<олненные> вагоны, стояние на холодн<ых> площадках. Всего на дорогу уходит более восьми часов! А расстояние пустяковое. 4 дня после этого лежал пластом, ночью приходилось менять по 3—4 рубашки: хоть выжми. Сердце — сплошная рана. Кашель, вызывающий рвоту. Куда я годен? На слом!.. Первое, что здесь выяснилось: на весенние каникулы отпустят лишь 20—22.III. Следов<ательно>, до 20-го пишите сюда. Вы

напрасно, дорогой, пишете в двух экз<емплярах>: письма ведь немедленно пересылаются на другой же день — из Раиде в Усть-Нарву и наоборот. Мы всегда подаем письм<енное> заявление. Спасибо сердечное за письмо: Вы столько хлопчете, столько участия во мне принимаете. Не всякий родной так поступил бы. Вообще я недолюбиваю «родных»: самые чуждые, самые чужие. Убеждался неоднократно. К счастью, я давно избавлен от этого элемента. Но вот Верочка... Кстати: она, бедненькая, призналась мне, что в полном отчаянии, под минутой, написала Вам о наших горестях. Сначала я пожурил ее, а потом понял и оправдал. И Вы оправдайте ее срыв, дорогой друг мой: воистину тяжело ей приходится, — больные невыносимы иногда. Ничего-то скрыть от меня не может: чистая и честная. Ходит опять безропотно в школу, вдыхая болотные испарения. Директор советует сделать последний опыт: до 20.III походить, а если хуже станет, подать в отставку: и ее жалеет, да и больные педагоги только помеха. Посмотрим. Обидно, конечно, перед летом, но ни у кого из нас нет уверенности, что В<ера> Б<орисовна> в состоянии вынести Раиде до 20 мая. Предвешние же месяцы здесь опасны для легочных, — это и сам директор говорит, да и врач обмолвился. У меня же еще появилась невралгия левой щеки, так что две ночи и спать не мог. Да и мигрени часты и жестоки. Как видите, все прелести. Хочу все же, чтобы Ваши две работы увенчались успехом и чтобы Вы и Н<ина> Л<еонтьевна> к нам приехали: сколько вопросов, сколько рассказов! Думаю, все болезни сразу от меня отскочат, лишь Вас, дорогого своего, увижу. Ведь в Вас кусочек моей юности, когда я был в периоде завоевателя, когда я весел был, был здоров и когда мне все удавалось. С нежностью вспоминаю иногда Гатчину, когда Вы сидели в моем вишневом кабинетике, пуская голубые кольца, такой внешне спокойный, уравновешенный, мудрый, кипящий внутренне. Я тогда уже знал, что Вам большой и прямой путь предназначен. А помните зайца моего? А лилию в красной узкой вазе? Стоп. Довольно. Не надо больше. Безнаказанно молодость не вспоминают: колики в сердце, поток слез, рука тянется к папиросе. Удивляетесь: па-пи-ро-са? Конечно же, запрещено, но как я могу без табака и без «крепчайшего» (по А. Белому) чаю? Кстати: читали ли Вы его «Первое свидание»? Местами гениально. Вообще же терпеть его не могу.

Теперь несколько слов деловых. Скучно, но нужно. Пришлите нам, пожал<уйста>, № 3 «Красной нови»: здесь нигде ее нет, и никто про нее не слышал. (Я имею в виду Tallinn и Tartu.) Но я-то давно слышал. Еще лет 8 назад перелистывал у Правдина, лектора униве<рситета>. Тогда была, а теперь, удивительно, нет. Сколько плата за строку? Кто и когда перешлет

зарплату? Материалы о Маяковском, понятно, вряд ли возможно напечатать из-за интимностей. Было бы чудесно продать в музей. Очень прошу. Жду с упоением франц<узских> поэтов. Но теперь буду работать чуть медленнее: прошлый раз повлияло на голову, а мне врачи запретили перегрузку еще в апреле прошлого года. Эст<онского> языка совсем не знаю. (Вообще на языки тупица!) От фольклора, к сожал<ению>, категорически уклоняюсь: не моя это сфера. От санатория (спасибо за Ваше доброе участие!) тоже уклоняюсь: лучшая для нас санатория — Усть-Нарва. Я привык жить совершенно самостоятельно, дорогой друг. Корку хлеба с солью и крепкий чай — да дома у себя. Характер у меня очень трудный и замысловатый. Постоянное общение с людьми меня сразило бы. Что касается остальн<ых> полит<ических> стихов, было бы хорошо разместить их по журналам.

Все-таки можно было бы кое-что подработать. Не прислать ли вам статью «В лодке по Россони»? Там много выпадов против капитал<истических> условий жизни. Написана она в дек<абре> 1939 г.

То, что стихи мои попали в «Кр<асную> новь», меня радует чрезвычайно. Я благодарю Вас особенно за устройство их. Письмо от товарища Маркушевича еще не получено. Неужели же задержат перевод зарплаты? Это весьма грустно было бы. Значит, «30 дней» меня «не любит». Что делать? А что «Октябрь», «Молодая гвардия»? Верочка иногда покупала отдельн<ые> номера этих журн<алов>. А «Знамя»? Лидов прислал письмо — просит свед<ений> для «Правды». Ему заказана статья. Осенние свед<ения>, по его словам, устарели. Но ведь нового ничего нет. Позвоните ему, м<ожет> б<ыть>, по телефону в газету? Он и Темин и фото осенью несколько сделали у нас в кварт<ире> и в лодке в Нарове. Специально просили к воде спускаться. Писать же о болезни своей скучно, да и читателю безразлично. Мне очень хотелось бы после весен<них> каникул остаться уже в Усть-Нарове с Верушкой и ждать там вас обоих. Не знаю, удастся ли это. Поверьте, что поезда меня убивают, и эти постоянные метания из одного пункта в другой меня совсем затормошили. Шлем Нине Леонтьевне и Вам наши самые искренние приветы. Ждем к себе. Обнимаю Вас крепко и целую. Вы так и не ответили на мою просьбу прислать стихи Н<ины> Л<еонтьевны>, — разве у нее нет сборника? Или распродан?

Всегда Ваш Игорь.

P. S. Для Вас на Устье забандеролены две книжки. Вышлю около 24—25.III. Жду Верхарна. И вообще — книг. Не оставляйте без дух<овной> пищи. Прошу очень. И ответьте на это письмо, пожал<уйста>, 12 марта. Ну, милый, хорошо?.. 16-го ответ получу. Не откладывайте. Хотя бы несколько слов. Так томительно ожидание.

Что же касается «помощи» от Союза эст<онских> пис<ателей>, могу сказать одно: до сих пор никто не дал и даже не написал мне. Вряд ли и дадут, т. к., в массе, терпеть меня не могут: я не усвоил языка и т. д. Вообще, за все 23 года я был в стороне от них, а они от меня. Исключение: Виснапу, Адамс, Раннит, отчасти Алле. Вот Йоганнес Барбарус (Вальмар Адамс, Аугуст Алле, Йоханнес Варес-Барбарус — эстонские поэты. — В.Б.) — очень милый, культурный и чудесный человек. Он мне всегда и книги с надписью присылал, и вообще хорошо относился. Если буду в Таллине, повидаюсь с ними и переговорю. Жена его и жена Виснапу — подруги с детства и встречаются до сих пор очень часто. Раннит с осени переехал в Каунас, где получил место возле своего друга Людаса Тиры (литовский поэт. — В.Б.), женился на примадонне оперы. Пишет мне оттуда. Кстати, он — русский по национальности (Долгошев). Адамс (магистр филологии) читает в Tartu лекции и редактирует «Молот». Виснапу переводит Пушкина и Кудышева (?). Послали ли Вы ему свою книжку? Впрочем, он переменял адрес.

...Мне вдруг захотелось послать Вам два стих<отворения> из двух кишиневских циклов. Что Вы о них скажете?..

Беру из «Очароват<ельных> разочарований». (Рукопись.)

Отправку этого письма пришлось из-за денег задержать на сутки, а сегодня утром получил наконец письмо от тов<арища> Маркушевича. Он сообщает, что гонорар они сумеют выслать на днях. Меня только смутила сумма: 399 вместо 640. Что это, как Вы думаете, значит? М<ожет> б<ыть>, частями будут платить? Было бы так обидно. Если так много убавлено: я так рассчитывал на полную сумму, у меня столько обязат<ельств> и долгов. Тов<арищ> Марк<ушевич> (служащий советского издательства. — В.Б.) пишет, что в Москве сейчас нахо<дится> пред<седатель> Союза эст<онских> пис<ателей> тов<арищ> Якобсон (мы не знакомы), и советует мне впоследствии связаться с ним. Что же, можно испробовать, только вряд ли что выйдет. Итак, дорогой мой, теперь Ваш ответ жду уже, увы, только 17-го. Не мог ли бы <Аугуст> Якобсон (эстонский прозаик и драматург. — В.Б.) привезти гонорар из «Кр<асной> н<ови>»? И перевести мне из Tartu?

16

Paide, 20.III.41 г.

Дорогой и милый Георгий Аркадьевич!

Получив 16-го Ваше письмо, я попросил на другой же день В<еру> Б<орисовну> справиться в банке

о телегр<афном> переводе, и действительно, перевод уже, оказывается, давно лежал: извещенья здесь не приняты. Итак, я получил

17-го зарплату! Спасибо Вам еще и еще раз за все Ваши хлопоты. Теперь нам сразу полегчало в денежн<ом> отнош<ении>. Спасибо и за Верхарна, переведенного почти целиком Вами единолично, ибо Гатов, Брюсов и Волошин — это «капля в море» (простите за стереотип!). Читаю систематически. Хватит недели на полторы.

Сегодня получил письмо от тов<арища> Маркушевича. Он пишет, что мне платили по 3 р<убля> 50 коп<еек> за строку. (114 строк из 128, т. к. 14 из них (сонет) забраковано.) Все же, если Вам удастся 50 коп<еек> впоследствии отвоевать, мне придется дополучить, следов<ательно>, 57 рублей, а это для нас не шутка! У меня, напр<имер>, единственный пиджак (с 1.И.1936 г.), в котором без пальто даже на улицу не выйдешь: глянец повсюду, пятна, обшарпанный воротник и рукава. «По людям» хожу, но в театр нельзя. Люди-то знакомые поймут. А выйдешь на солнышко на улицу — и чужие узрят и, м<ожет> б<ыть>, не поймут. Из этого случая Вы видите, какво жилось нам при капиталистическом строе: оборванцами ходили. Франтить я никогда не любил, но некая опрятность в одежде, мне мыслится, обязательна, как вода в бритье, не правда ли? И вот ее-то и нет, увы.

Верочка благодарит Вас за сердечное и чуткое письмо. Вы — хороший, глубокий, чудный. Что касается «Светляков», если изъять три строки фона, ничего от них не останется. Пусть лежат у Вас в столе: когда-нибудь потолкуем. А пока посылаю Вам другие. Их у меня не очень-то много найдется: везде испорчено мистикой и проч. Но все же сборничек страниц на 100—150 получится подходящий. При старом режиме писатель часто терял чувство внутренней дисциплины, похабно разволивал себя и впадал нередко в непереносимую пошлость и темы, и трактовки ее, и даже стиля. У советского же писателя есть целомудрие, благородство и отрадная скупость в словах и выражениях. Я надеюсь, что со временем освою все это в совершенстве: я ведь, в сущности, не «балаболка», и в сущности моей много глубинного.

21-го я уезжаю в 2.40 дня в Усть-Нарву, а Вера Борисовна с тем же поездом (до Тапса) в Таллин за дочерью. Они приедут ко мне 23-го. Пробудем дома до первого апреля. Спасибо за обещание выслать «Красную новь». Жду с большим нетерпением. Маркушевич сообщает, что мне дадут оттуда 250 рублей (и вышлют их). Это очень мило. Передайте Асееву мои искренние поздравления с премированием его романа (точнее, повесть в стихах «Маяковский начинается». — В.Б.), который у меня имеется. (Там я и про себя нашел!) Что говорит музей? (Спасибо Вам за перепечатку материалов: это же большая работа получилась!)

22.III.41

(в продолжение письма  
от 20.III.41. — В.Б.)

<...> ...Лидов дал адрес «Правды». Я читал его статью осенью о Латвии, помещенную в «Сов<етской> Эстонии» (Таллин). Фото Темина (мост через Эмбах) видел в журнале. На вид оба симпатичные.

Сегодня Правдин, лектор унив<ерситета> в Тарту, пишет мне, что Л<идов> (они знакомы) уехал в Минск, и сообщает ему, что мои стихи идут в «К<расную> н<овь>»: очевидно, в курсе дел все-таки.

...Против юга я ничего не имею, но дорога меня прикончит. А раньше мы всегда зимами жили на юге: в Бессарабии, в Далмации и проч.

...А все-таки меня чрезвычайно интересуют мотивы браковки «К одиночеству»: нельзя ли увидеть текст с подчеркиваниями и пр. М<ожет> б<ыть>, я смог бы исправить? Или эта пиеса передана другому лицу, так сказать — «на отделку»? Вы сами видели сонет после профессорского «обзора»? И где он вообще, этот сонет?

Крепко Вас обнимаю, шлем искренние

Нине Леонтьевне и Вам приветы.

Всегда с Вами. Игорь

27.III

Умышленно позадержал отправку этого письма, ежедневно ожидая франц<узских> коммунаров, чтобы заодно известить Вас о получении материала. Однако присыл задерживается, — видимо, отбор еще не сделан, поэтому сегодня уже отправлю.

И. С.

17

Нарва-Иезу, 2 мая 1941 г.

Дорогой и милый Георгий Аркадьевич,

после Вашей телеграммы от 17 апреля (я благодарю искренне Вас за нее) все эти недели ждал от Вас обещанного письма, но, увы, оно так и не пришло, поэтому пишу Вам сам, крайне обеспокоенный Вашим молчанием. О болезни своей я писать не стану, т. к. повторяться скучно, а мне еще и тяжело лишний раз говорить об этом. Достаточно сказать, что я вот уже вскоре месяц прикован к кровати, встаю только изредка на час-другой, после двух дня поднимается ежедневно температура (до 39,7), ночью (каждую ночь!) изнуряют поты, у меня найдено врачом расширение сердца (? с.), пью йод, и ничего, в общем, не помогает!

...Итак, 18-го апр<еля> мы переехали сюда. У Веры Борис<овны>, как показал рентген, легкие никуда не годятся, доктора прямо-таки погнали ее,

как и меня, прочь из болота, и вот мы очутились здесь. Большое и сердечное спасибо Вам за ускоренную пересылку зарплаты из «Красной нови», также благодарю и за журнал, полученный 30 апр<еля>. Какие стихи идут в «Огоньке», т. е. на какую приблиз<ительно> сумму можно рассчитывать? Получили ли Вы мои книжки, посланные 20 апр<еля>? Не писали ли Вы мне письма после 17 апр<еля>, т. е. не потерялось ли оно? Кто выпустил строфу в стих<отворении> «Привет Союзу!» и слово «вскоре» в последующей — Вы лично или редколлегия? Предпочел бы, чтобы Вы. Вот я уже и устал, простите меня, придется письмо закончить, а столько хотелось бы сказать! Но Вы, дорогой, меня отлично поймете и не осудите. Пока благодаря гонорару из «К<расной> н<ови>» мы еще живы, а что будет дальше — посмотрим. Одно только знаю: чрезвычайно Вам трудно наладить переводную для меня работу, и мне крайне больно (именно больно!), что Вы так хлопочете. Не стесняйтесь, прошу Вас написать обо всем откровенно: всякая правда легче недомолвок. Я ведь все смогу понять. <...>

Крепко обнимаю Вас, крепко целую, шлем Нине Леонтьевне и Вам наши лучшие пожелания.

Надеюсь, теперь Вы сразу напишете, не станете терзать меня молчанием.

Всегда Ваш, всегда с Вами Игорь.

Narva-Iosuu, Vabaduse, 3

ENSV Нарва-Иезу, Вабадузе, 3

Эстонская ССР.

P. S. Не думаете ли Вы, что правильнее писать «Нарва-Иезу» вместо «Усть-Нарвы», которой теперь фактически не существует? «Ериван»... «Тбилисси»... «Таллин»... Кажется, я прав.

18

Написано между 21.05.41 г. и 23.05.41 г.

Дорогой Георгий Аркадьевич,

заставил себя сесть к столу и одним махом переписать десять стихотворений. Теперь у Вас, по крайней мере, будет выбор: что можно, возьмите для печати, остальное оставьте себе на память. Мне очень ценно было бы иметь Ваше мнение о каждом в отдельности (о всех пятнадцати). По два — по три слова хотя бы. Надеюсь, здоровье Ваше лучше и Вы уже встали. Напишите, если уже все прошло. Из «Огонька» до сих пор нет.

Я никуда не выхожу: температура, начиная с 4—5 дня, 38—39.

По утрам только и могу работать. А по ночам изнурительные поты.

Я спрашивал адрес Асеева. Но, м<ожет> б<ыть>, он меня не любит?

Тогда не надо. Куда поехал Маркушевич? Когда его можно ожидать? Было бы хорошо познакомиться, поговорили бы о Вас. Нине Леонтьевне Верочка и я, как и Вам, шлем приветы. Верочке очень понравились стихи Н<ины> Л<еонтьевны>, в особенности ее любовь к детям.

Обнимаю Вас, целую, Ваш Игорь

Светлая Нина Леонтьевна, спасибо Вам за стихи — грустные и трогательные, изысканные и хрупкие. Отчего Вы бросили писать? Такие стихи нужны для небольшого круга ценителей. Это тем ценнее.

Берегите моего и своего друга!

Всего хорошего от Верочки и меня.

Игорь.

19

Усть-Нарва, 23 мая 1941 г.

Дорогой и милый Георгий Аркадьевич,

из Вашей вчерашней открытки рад был узнать, что Вы поправляетесь. О себе, увы, сказать этого не могу...

Я просмотрел все книги, изданные за 23 года отсутствия. Просмотрел наистрожайше. Среди бесчисленного мусора и всякой гнили я отобрал около 80 стихотворений безусловных. И вот я решил постепенно их переслать Вам: пусть лежат у Вас, — так надежнее. Кое-что отдадите в журналы, по крайней мере выбор будет. Лучшие стихи оказались в сборнике «Классич<еские> розы». А из других по 2—7. Выходит, что я написал за эти годы очень и очень мало. При моей теперешней строгости мне мало что может нравиться. Но то, что я посылаю Вам, я люблю, и стилистически эти вещицы, возможно, совершенны. Из них со временем составитя неплохой избранник (исборник).

Что касается слова «предажа», Вы, конечно же, пошутили, что не понимаете!.. (продать — продажа, предать — предажа...)

Только, пожалуйста, не подумайте, мой дорогой, что я послал стихотв<орение> о Н.Н. Гончаровой Вам как-нибудь в пику [\[20\]](#) (Вы на нее ведь по-иному смотрите). Нет, уверяю Вас, я даже забыл о Вашем взгляде и только потом вспомнил. Откровенно говоря, никто из нас не знает ничего. Смотря кого читает, каким источникам вверяется. Очень возможно, что она была идеальной женщиной. Не спорю и не могу спорить. Но когда я это писал, мне казалось так (1924 г.). А теперь мне ничего не кажется. Если «предажа» противно звучит, можно всю эту строфу исключить: потеря не из больших. Итак, жду от Вас (когда будет время, конечно) мнения Вашего о каждом в отдельности. Теперь у Вас уже 20 лирических и 10 «портретов». А из тех десяти (политических) два напеч<атаны> в «К<расной> н<ови>»,

некоторые отпадают, т. к. я усвоил их никчемность («К англ<ийскому> пролет<ариату>», «Старый Лондон»), А что «Красная страна»? Разве ее никто не берет? На мой взгляд, она неплохо сработана. Не послать ли ее мне Дунаевскому? Посоветуйте вообще, что ему послать. А Белосельскому дайте, пожалуйста, возможность скопировать, что ему пригодится.

Обнимаю, целую, люблю. Будьте здоровы. Приезжайте летом: не так уж дорого обойдется, если купить только билеты.

Всегда Ваш Игорь.

<Приписка на полях:>

Остальные 40 пиес я пришлю Вам значительно позже, т. к. переписка для меня крайне тяжела и кладет меня «в лоск».

20

Усть-Нарова, 15 июня 1941 г.

Дорогой Георгий Аркадьевич,

ждал, ждал от Вас дополнит<ельного> письма, да так и не дождался! Или Вы очень снова заняты, или опять прихворнули. Лишь бы не второе, т. к. на опыте знаю, что это значит...

25 мая в 4 ч<аса> утра со мною произошел сердечный припадок. Верочке пришлось вызвать врача — актера Тригорина-Круглова, заним<ающего> здесь место земского. Уже много лет. Кое-как, с грехом пополам, оживил меня... К счастью, дня через два приехал докт<ор> Ривес из Tartu (Юрьева), окончивший Базельск<ий> унив<ерситет>. Он взялся за меня энергично, прописав ряд заграничн<ых> дорогих лекарств: за одну неделю на 42 р<убля>. Велел лежать 12 дней, экономя движения. Мне чуточку лучше. Это все... Докт<ор> заходит по средам. Он назначен директ<ором> водолечебницы в Усть-Нарве. Человек соврем<енный>, молодой, ироник и весельчак. И все-таки Вера хочет позвать на днях европ<ейское> светило — проф<ессора> Пуссепа, приехавшего на свою дачу. Вещи, правда, продаем полным ходом, но хватит ли их на светил — не знаю... Кстати, «Огонек» давно уже перевел 200 р<ублей>. Зарплата знатная: по червонцу строка! Жаль, что редко.

Переводы с туркм<енского> мне запрещены, как и вообще чтение и письмо. Но я не слушаюсь, иначе с голода помрем: продавать вскоре нечего будет. Работа, конечно, очень трудная и нудная, но она может дать деньги, и я энергично (понемногу!) работаю. Теперь взялся за «Серго». Вы, со своей стороны, будьте строги и решительны: исправляйте все, что надо.

Изд<ательство> «Сов<етский> писатель» обратилось ко мне с письмом, прося матер<иал> для № 2 «Ленингр<адского> аль<манаха>». Я послал 4 сонета, из которых принято 3, «Чайковск<ого>» браковали по

понятным причинам: нитье. Кроме того, взяли с мал<енькими> выпусками «Красную стрелу» (не отдайте ее в какой-нибудь журнал!..).

С сегодняшним присылом стихов у Вас уже накопится 62. О, если бы хоть что-нибудь взяли куда-нибудь: невыразимо трудно болеть в безденежье!..

Лето у нас кошмарное: холода, ветры, бури, дожди. Солнце пропало. Топим печь через день, готовит В<ера> Б<орисовна> на «Грэтц».

Нине Леонтьевне и Вам Верочка и я шлем сердечн<ые> пожелания. Пишите, очень прошу Вас: переписка с Вами большое для меня удовольствие. Мне кажется, что, получая столько стихов, Вы уже утомились от них. А они все идут... как дождь!..

Обнимаю, люблю. Всегда с Вами, Игорь.

## Основные даты жизни и творчества Игоря-Северянина

— Игорь Лотарев (будущий поэт Игорь-Северянин) родился в Петербурге в семье отставного штабс-капитана Василия Петровича Лотарева и его жены Натальи Степановны (урожденной Шеншиной), дочери предводителя дворянства Щигровского уезда Курской губернии. Первые девять лет провел в Петербурге.

1896—1903 — жизнь в Череповце и имениях Лотаревых Владимировка и Сойвола.

1903 — окончив четыре класса Череповецкого реального училища, весной совершил с отцом поездку в Порт-Дальний (Далянь, Китай) и Порт-Артур, где прожил полгода.

31 декабря — возвращается в Петербург и живет с матерью в Гатчине.

1904, 28 мая — в Ялте умирает отец поэта (в возрасте 44 лет).

1905 — опубликовано стихотворение «Гибель Рюрика» в февральском номере солдатского журнала «Досуг и дело». С 1905 по 1912 год Северянин выпустил 35 малостраничных поэтических сборников-брошюр за свой счет (при финансовой помощи брата его отца).

1907 — знакомится с поэтом К. Фофановым, горячо одоббившим его стихи.

Декабрь — появление псевдонима Игорь-Северянин на визитной карточке поэта.

1911 — Северянин объявляет о создании «Эго-Вселенского футуризма».

1913 — выходит в свет сборник «Громокипящий кубок» с предисловием Ф. Сологуба в московском издательстве «Гриф». В этом же году начал выступать с поэзоконцертами.

Март — 12 апреля — первое концертное турне вместе с Ф. Сологубом и А. Чеботаревской по городам России: Минск, Вильно, Харьков, Екатеринослав, Одесса, Симферополь, Ростов-на-Дону, Баку, Тифлис, Кутаиси и другие города.

2 ноября — выступление в Петербургском женском медицинском институте вместе с В. Маяковским, В. Хлебниковым, Н. Бурдюком и В. Гнедовым.

29 ноября — выступление в зале «Соляного городка» в Петербурге

вместе с В. Маяковским, Н. Кульбиным, А. Крученых.

*14 декабря* — первый сольный Поэзоконцерт в зале Тенишевского училища в Петербурге.

*1914, 18 февраля* — в издательстве «Гриф» выходит четвертое издание сборника «Громокипящий кубок».

*4 марта* — выходит в свет вторая книга стихов Игоря-Северянина «Златолира» (издательство «Гриф»).

*9 ноября* — присутствует на Первом вечере русской музыки в петербургском артистическом кабаре «Бродячая собака». Певец А. Егоров исполнил северянинскую «Поэзу о Бельгии», положенную на музыку композитором Н. Цыбульским (ноты были изданы в обложке, оформленной С. Судейкиным).

*1915* — выходит сборник «Ананасы в шампанском». Вечера поэта проходят с огромным успехом. Б. Пастернак вспоминал: «На эстраде до революции соперником Маяковского был Игорь Северянин...»

*1917, октябрь—ноябрь* — в Петрограде в зале Петровского училища (Фонтанка, 62) проходят пять поэзовечеров Игоря-Северянина, где он читает стихи из сборников «Громокипящий кубок», «Златолира», «Ананасы в шампанском» и др.

*1918, январь* — переезжает из Петрограда в эстонский поселок Тойла (однако бывает с выступлениями в Москве, Петрограде и других городах).

*27 февраля* — в Москве в зале Политехнического музея состоялся вечер «Избрание короля поэтов»; в конкурсе приняли участие К. Бальмонт, В. Маяковский, Игорь-Северянин и другие поэты. «Королем поэтов» провозглашен Северянин. С этого года постоянно живет в Эстонии.

*1919—1920* — выходят сборники стихов «Creme des Violettes», «Puhaajogi», «Вервена» в издательстве «Одамес» (Юрьев/Тарту).

*1921, 21 декабря* — женится на эстонке Фелиссе Круут; венчание проходит в Успенском православном соборе города Тарту. Выходит сборник «Менестрель. Новейшие Поэзы» в берлинском издательстве «Москва».

— родился сын Вакх.

*7 ноября* — выступает в Берлине вместе с В. Маяковским и А. Толстым.

*1924, 14 июня* — на Пушкинском вечере в здании Немецкого театра в Таллине читает поэмы, посвященные А.С. Пушкину.

*Апрель* — в издательстве Вадима Бергмана (Юрьев/Тарту) выходит книга «Колокола собора чувств. Автобиографический роман в 3 частях» (часть тиража в суперобложке с надписью: «XX. Игорь-Северянин. Последние рукописи, вышедшие ко дню 20-летия литературной

деятельности поэта»).

1928 — издает Антологию эстонской лирики за 100 лет.

16 февраля — вечер Игоря-Северянина в Русском Доме, устроенный Союзом русских писателей и журналистов в Польше. Газета «За свободу!» сообщала: «Стихи, посвященные русским писателям и России, были встречены шумными и долго не утихавшими аплодисментами почти исключительно русской публики, собравшейся послушать родного поэта».

1930, 20 и 29 декабря — выступает с лекциями о К. Фофанове и «Эстляндские триолеты Сологуба» в Русском научном институте при Палате Академии наук в Белграде (Югославия).

1931, 27 февраля — выступление Игоря-Северянина в парижском зале Шопена с программой: 1. «Классические розы» (Новая лирика). 2. «Медальоны» (12 характеристик). 3. «Громокипящий кубок» (Лирика довоенная). На концерте присутствует М. Цветаева; из ее письма С. Андрониковой-Гальперн (3 марта 1931 года): «...Он больше чем остался поэтом, он — стал им. На эстраде стояло двадцатилетие. Стар до обмирания сердца: морщин как у трехсотлетнего, но — занесет голову — все ушло — соловей!»

1935 — опубликован «роман в строфах» под названием «Рояль Леандра».

1937 — свое пятидесятилетие Игорь-Северянин отпраздновал в деревушке Саркюля, где жил вместе с последней спутницей жизни Верой Коренди.

1940, январь — широкое празднование 35-летия творческой деятельности поэта, интервью и статьи в прибалтийских газетах.

14 марта — вечер в Таллине в зале Клуба Черноголовых.

Август — присоединение Эстонии к Советскому Союзу. В преддверии присоединения поэт пишет стихотворение «Привет Союзу»; в течение года написан так называемый «сталинский цикл» стихотворений, посвященных вновь обретенной родине.

1941, 31 января — написаны «Заметки о Маяковском» (последний из известных нам текстов поэта). Готовит книгу стихов для ленинградского издательства.

Весна — отправляет в Ленинград сонеты о русских композиторах. В журналах «Красная новь» (№ 3) и «Огонек» (№ 13) публикуются стихи поэта.

20 декабря — Игорь-Северянин (Игорь Васильевич Лотарев) умер в оккупированном нацистами Таллине. Похоронен на православном Александро-Невском кладбище Таллина.

# Библиография

## Источники

Стихотворения. Л.: Советский писатель (серия «Малая библиотека поэта»), 1975.

*Игорь Северянин*. Стихотворения. Таллинн: Ээсти Раамат, 1987.

Стихотворения. М.: Советская Россия, 1988.

*Игорь Северянин*. Стихотворения. Поэмы. Архангельск: Русский Север, 1988.

Сочинения. Таллинн: Ээсти Раамат, 1990.

*Игорь Северянин*. Ананасы в шампанском. М.: Объединение «Глобус», 1990.

*Игорь Северянин*. Стихотворения и поэмы. 1918—1941. М.: Современник, 1990.

*Игорь Северянин*. Соловей. Поэзы. М.: ТОМО, 1990.

*Игорь Северянин*. Классические розы. Медальоны. М.: Художественная литература, 1990.

*Игорь Северянин*. Падучая стремнина: Роман в стихах. В 2 ч. Таллинн: Агама, 1991.

*Игорь Северянин*. Сочинения. В 5 т. СПб.: LOGOS, 1996.

*Игорь Северянин*. Тост безответный. М.: Республика, 1999.

*Игорь Северянин*. Я избран королем поэтов. М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.

*Игорь Северянин*. Стихотворения. М.: Эллис Лак, 2000; 2003.

*Игорь Северянин*. «Громокипящий кубок» и др. М.: Наука, 2004 (серия «Литературные памятники»).

*Игорь-Северянин*. Посмертные стихи одной прекрасной даме. Таллинн; М.: Изд-во Михаила Петрова, 2005.

*Игорь Северянин*. Царственный паяц: автобиографические материалы, письма, критика. Санкт-Петербург: Росток, 2005.

Избранное. В 2 т. М.: Аделант, 2011.

*Игорь Северянин*. Полное собрание сочинений в одном томе. М.: Альфа-Книга, 2014.

*Игорь Северянин*. Ироническая лира. М.: Книговек, 2015.

*Игорь Северянин*. Уснувшие весны. Критика. Мемуары. Скитания. М.: Ломоносов, 2014.

*Игорь Северянин*: Письма к Августе Барановой. 1916—1938. Stockholm, 1988.

Письма к С.И. Карузо // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского

Дома на 1992 год. СПб.: Академический проект, 1993.

## **Литература об Игоре-Северянине Книги**

*Аннинский Л.* Серебро и чернь. М.: Книжный сад, 1997.

*Бавин С.П., Семибратова И.В.* Судьбы поэтов «серебряного века». М.: Книжная палата, 1993.

Венок поэту: Игорь Северянин / Сост. *М. Корсунских Ю. Шумаков.* Таллинн: Ээсти раамат, 1987.

*Гумилев Н.С.* Письма о русской поэзии. М.: Современник, 1990.

*Гиппиус З.Н.* Арифметика любви. Т. 3. СПб.: Росток, 2003.

*Иванов Г.В.* Стихотворения. Третий Рим. Петербургские зимы. Китайские тени. М.: Книга, 1989.

Игорь Северянин глазами современников / Сост., вступ. ст. и коммент. *В.Н. Терехиной, Н.И. Шубниковой-Гусевой.* СПб.: ООО «Полиграф», 2009.

*Казак В.* Лексикон русской литературы XX века. М.: РИК «Культура», 1996.

*Коренди В.Б.* Воспоминания об Игоре Северянине. Усть-Нарва: Изд-во М. Петрова, 2006.

*Круглова В.М.* Воспоминания об Игоре Северянине. Усть-Нарва: Изд-во М. Петрова, 2006.

*Круглова В.* Тепло прошедших дней. Нарва: б.и., 1998.

*Минин В.* Усадьба «Сойвола». Поэтическая колыбель Игоря Северянина. Череповец: б.и., 2002.

*Никульцева В.В.* Словарь неологизмов Игоря-Северянина. М.: Издательский центр «Азбуковник», 2008.

О Игоре Северянине. Тезисы докладов научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Игоря Северянина. Череповец. Апрель. 1987 г. Череповец: б.и., 1987.

*Одоевцева И.* На берегах Сены. М.: Художественная литература, 1989.

*Паустовский К.* Повесть о жизни. М.: АСТ, 2007.

*Петров М.* Бокал прощенья. Материалы к биографии Игоря Северянина. Нарва: Изд-во М. Петрова, 2004.

*Петров М.* Дон-Жуанский список Игоря-Северянина. Нарва: Изд-во М. Петрова, 2009.

*Подберезин Б.* Мой Северянин. Рига: Литературное братство, 2013.

Словарь литературного окружения Игоря-Северянина (1905—1941). Библиографическое издание. В 2 т. Псков: Гименей, 2007.

*Секриеру А.Е.* Игорь Северянин: Грани стиля. Монография. М.;

Ярославль: ИПК Литера, 2011.

*Соколов А.Г.* Судьбы русской литературной эмиграции 1920-х годов. М.: МГУ, 1991.

*Спасский С.* Маяковский и его спутники. Л.: Советский писатель, 1940.

*Терехина В.Н., Шубникова-Гусева Н.И.* «За струнной изгородью лиры». Научная биография Игоря Северянина. М.: ИМЛИ РАН, 2015.

*Фофанов К., Олимпов К.* Поэты Игорю-Северянину. Специальное издание к 100-летию со дня начала литературной деятельности поэта. Изд-во М. Петрова. European Union, 2005.

*Ходасевич В.Ф.* Колеблемый треножник. М.: Советский писатель, 1991.

*Цветаева М.И.* Об искусстве. М.: Искусство, 1991.

*Шапозалов М.* Король поэтов Игорь Северянин. Страницы жизни и творчества (1887—1941). М.: Глобус, 1997.

*Шульгин В.* Воспоминания об Игоре-Северянине. Таллинн: Изд-во М. Петрова, 2006.

*Шумаков Ю.* Колокола мне шлют привет. Таллинн: Знание, 1991.

*Шумаков Ю.* Пристать бы мне к родному берегу... Таллинн: Союз славянских просветительных и благотворительных обществ в Эстонии, 1992.

## Статьи

Адамс В. Игорь-Северянин в Эстонии // Русско-европейские литературные связи. М.-Л.: Наука, 1966.

Бабичева Ю.В. Еще не умрет... Игорь Северянин [Предисловие] // Северянин И. Классические розы. Медальоны. М.: Художественная литература, 1991.

Богомолов Н.А., Петросов К.Г. Северянин Игорь // Русские писатели: 1800—1917. Биографический словарь. Т. 5. М.: Большая российская энциклопедия, 2007.

Бохан Д. «Двенадцатая книга» (О поэзии Игоря Северянина) // Виленское слово. 1921. 30 июня.

Виноградова В.Н. Игорь Северянин // Очерки истории языка русской поэзии XX века: Опыт описания идиостилей. М.: Наследие, 1995.

Исаков С.Г. Игорь Северянин и Эстония [Предисловие] // Игорь Северянин. Сочинения. Таллин: Ээсти Раамат, 1990.

Исаков С.Г. Игорь Северянин: 1918—1921 гг. Жизнь. Мировосприятие. Литературная позиция. Изменения в творческой манере // Русские в Эстонии: 1918—1921 гг. Историко-культурные очерки. Тарту, 1996.

Исаков С. Игорь Северянин в русской эмигрантской критике 1920-х — начала 1930-х гг. // Русская эмиграция: Литература. История. Кинолетопись. М.: Мосты культуры, 2004.

Кедров К. «Грезифарс» Игоря Северянина: К 100-летию со дня рождения // В мире книг. 1987. № 5.

Кипко Ю.В., Михайличенко Е.В. Бессмертный огонь дарованья // Игорь Северянин. К 100-летию со дня рождения. Луганск: Свитлица, 1997.

Кошелев В.А., Сапогов В.А. «Музей моей весны...» [Предисловие] // Северянин И. Стихотворения. Поэмы. Архангельск: Русский Север, 1988.

Кошелев В.А. Гумилев и «северянинщина». Две «маски» // Русская литература. 1993. № 1.

Кошелев В.А., Сапогов В.А. Король поэтов Игорь Северянин // Северянин И. Сочинения. В 5 т. Т. 1. СПб.: Logos, 1995.

Пинаев С.М. «Иронизирующее дитя»: Игорь Северянин (Личность и творчество) // Личность в межкультурном пространстве. Материалы VI Международной научно-практической конференции. М.: РУДН, 2011.

Сапогов В.А. Игорь Северянин в истории русской культуры начала века // Культура Русского Севера. Традиции и современность. Материалы к

конференции. Череповец: Изд-во педагогического института, 1990.

*Сапогов В.А.* Игорь Северянин // Поэты русской эмиграции / Сост., автор предисл., вступ. ст. В.А. Са-потов. Псков: Изд-во Псковского областного института усовершенствования учителей, 1993. Вып. 1.

*Терехина В.Н., Шубникова-Гусева Н.И.* «Согреет всех мое бессмертье...»: О жизни и творчестве Игоря Северянина // Северянин И. Громокипящий кубок. Ананасы в шампанском. Соловей. Классические розы. М.: Наука, 2004.

*Урбан А.* Добрый ироник: К 100-летию со дня рождения Игоря Северянина // Звезда. 1987. № 5.

*Харджиев Н.И.* Маяковский и Игорь Северянин // Харджиев Н.И. От Маяковского до Крученых. Избранные работы о русском футуризме. М.: Гилея, 2006.

<http://www.poet-severyanin.ru/library/severyanin-vash-nezhniy-vash-edinstvenniy.html>

## Иллюстрации



*Георгъ - Бернанди*



*Маленький Игорь Лотарев*



*Литературный музей Игоря-Северянина во Владимирова, под Череповцом*



*До революции Северянин постоянно жил в Гатчине. Дом поэта не*

*сохранился*



*Константин Фофанов*



*Мирра Лохвицкая*



*Игорь-Северянин. В петличке знак «Его». Санкт-Петербург, 1911 (?)*

2.



*Евгения Гуцан — Злата. 1900-е гг.*



*Александр Блок*



*Игорь-Северянин. Санкт-Петербург, 1913 г.*



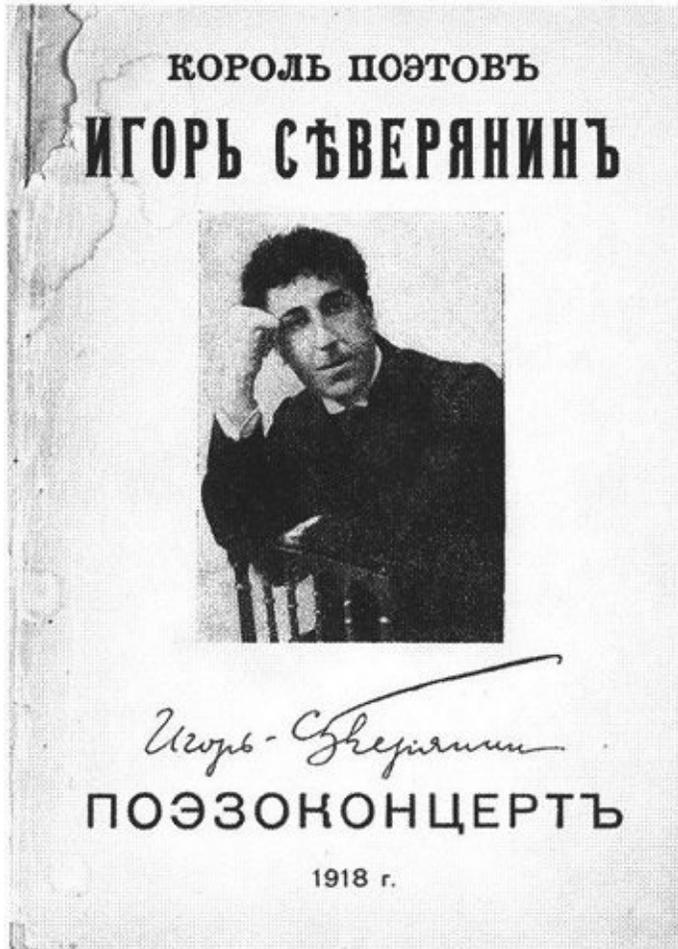
*Фото для «Громокипящего кубка» в издании В.В. Пашуканиса. Санкт-Петербург, 1914 г.*



*На руках дочь поэта Валерия Семенова. Санкт-Петербург, 1914 г.*



*АРЕОПАГ  
ЭГОФУТУРИСТОВ. Сидит — Иван Игнатъев. Стоят: Дмитрий Крючков,  
Василиск Гнедов и Павел Широков*



*Игорь-Северянин «Поэзоконцерт». Москва, 1918 г.*



*Владимир Маяковский*



*Дом в Тойла (Эстония), в котором жил Игорь-Северянин*



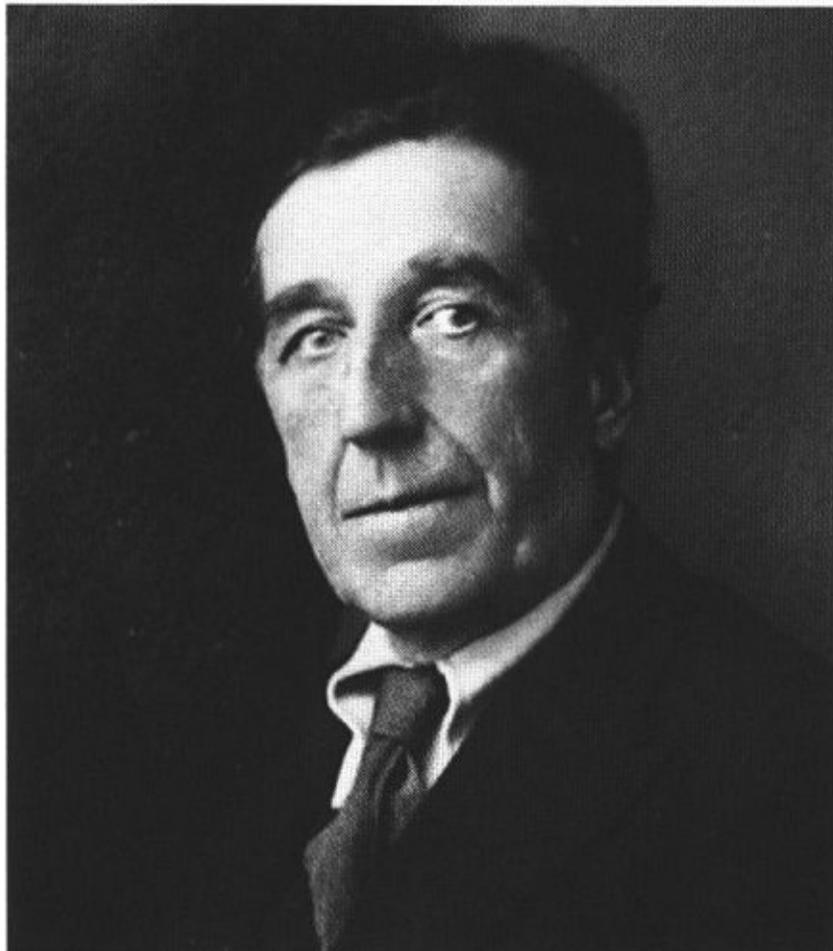
*На рыбалке. Тойла-Ору (Эстония), до 1935 г.*



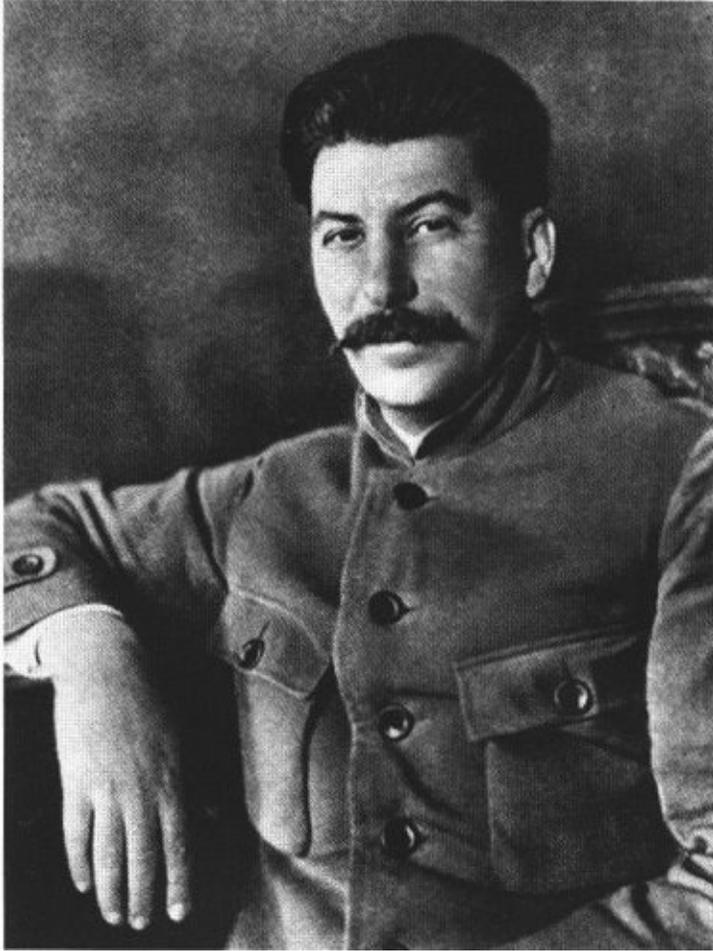
*Игорь и Фелисса Лотаревы. Тойла, до марша 1935 г.*



*Пюхтицкий Успенский монастырь*



*Игорь-Северянин. Позднее фото*



*Иосиф Сталин*



*Вера Борисовна Коренди*



*Фелисса Крут-Лотарева*



*Камень на месте дома поэта в Тойла*



*У могилы Игоря-Северянина. Таллин, 2016 г.*

---

**notes**

## **Примечания**

**1**

О трансформациях поэтического псевдонима Игоря Васильевича Лотарева речь пойдет в отдельной главе.

Приорат (от лат. *prioratus* «монастырь, управляемый приором») — Приоратский замок (дворец), построенный в 1799 году по решению Павла I в Гатчине — его загородной резиденции; замок связан с созданием в России «Великого Приорства» Мальтийского ордена. — Прим. ред

Ф.Ф. Раскольников (Ильин) в 1930—1938 годах — полпред СССР в Эстонии, Дании, Болгарии; в 1938-м отказался вернуться, став невозвращенцем. — Прим. ред.

В декабре 1905-го — январе 1906 года юный поэт попробовал выступить в роли издателя коллективных сборников, о чем свидетельствует сохранившаяся визитка: «Игорь Васильевич Лотарев, редактор-издатель ежемесячных литературных сборников "Мимоза"». И в первом, и во втором выпусках «Мимозы» (каждый объемом в восемь страниц) опубликованы стихи самого издателя под разными псевдонимами, а также «произведения собственных сотрудников». — Прим. ред.

Речь идет о Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД), построенной в 1897—1903 годах; проходила по территории Маньчжурии и соединяла Читу с Владивостоком и Порт-Артуром. — Прим. ред.

Необходимо сказать, что к 1913 году И.А. Бунин (1870—1953) уже был избран — в 1909-м — почетным членом Российской академии наук (академиком, как любили его называть собратья по перу и он сам); причем признание получила прежде всего его поэзия. — Прим. ред.

Стихотворение Зинаиды Гиппиус «Тише», написанное в августе 1914 года. — Прим. ред.

Надо сказать, «ответил» Брюсов Северянину в примечании к новому изданию цитированной выше статьи. Прим. ред.

«Мы означаем книги Игоря Северянина римскими цифрами: I, II, III, IV; страницы в них — арабскими цифрами». — Прим. В. Брюсова.

**10**

Учитель, мастер (фр.).

Николай Гумилев в начале мировой войны поступил добровольцем («охотником») в действующую армию: начинал фронтовую службу «вольноопределяющимся рядового звания» в лейб-гвардии Уланском полку 1-й Армии, был награжден — «...Святой Георгий тронул дважды / Пулею нетронутую грудь...»; в начале июля 1917 года прапорщик Гумилев был прикомандирован в распоряжение представителя русских войск во Франции генерал-майора Михаила Занкевича; после заключения Брестского мира, ознаменовавшего поражение и выход Советской России из войны, Гумилев в апреле 1918-го вернулся на родину (хотя, заметим, соотечественники, оставшиеся за рубежом, отговаривали его от этого шага). — Прим. ред.

Рыхлые драчены (картофельники, картофельные лепешки) — из стихотворения С. Есенина «В хате»: «Пахнет рыхлыми драчеными; / У порога в дежке квас...»; опубликовано в еженедельнике «Голос жизни» 22 апреля 1915 года. — Прим. ред.

На раннем этапе эмиграции Игорь-Северянин достаточно жестко критиковал большевиков, в частности, в стихотворении «Их культурность...» (1919). Вместе с тем поэт был далек и от Белого движения. Противоборствующие силы Гражданской войны казались ему «людишками гнусными и озверелыми», «бесцветными по существу» («Крашенные», 1919). — Прим. ред.

Речь идет о сонетах Игоря-Северянина, которые впоследствии он включил в книгу «Медальоны» (Белград, 1934).

«Мы не в изгнании, мы — в послании», строка из «Лирической поэмы» Нины Берберовой. Изречение приписывают также Дмитрию Мережковскому (впрочем, это источник общий) и Зинаиде Гиппиус. Свою миссию белая эмиграция видела в сохранении многовекового исторического наследия России и в продолжении русской культурной традиции. — Прим. ред.

Как пишет Ю. Шумаков в комментарии к письму: «Юлия Владимировна — первая жена Г.А. Шенгели. С нею он развелся летом 1924 г. Северянин ошибочно истолковал стих. Шенгели из сборника "Норд": "О как ты мучилась, как ревновала ты! // И тихо умерла второго ночью мая... О молодость моя! Тебя со мною нет!", где автор имел в виду свою молодость».

Напомним: в июле 1940 года в Эстонию были введены советские войска, установлена советская власть и образована Эстонская советская социалистическая республика, вошедшая в СССР. — Прим. ред.

Правильно, П.А. Лидов. — Прим. ред.

Лиля Брик в очерке «Маяковский и... чужие стихи» (глава в будущей книге ее воспоминаний) писала: «Ему доставляло удовольствие произносить северянинские стихи. <...> Он всегда пел их на северянинский мотив (чуть перевернутый). <...> Читал и отрывки.

Когда не бывало денег:

Сегодня я плакал: хотелось сирэйни, —  
В природе теперь благодать!  
Но в поезде надо, — и не было дэйнег —  
И нечего было продать...

*("Carte-postale")*

<...> На улице, при встрече с очень уж "изысканной" девушкой:

Вся в черном, вся — стерлядь, вся — стрелка...

*("Южная безделка") <...>*

».

См.: Лиля Брик. Пристрастные рассказы. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2011. С. 138—140. — Прим. ред.

Речь идет о стихотворении Игоря-Северянина «Любовь! Россия! Солнце! Пушкин!..» (1924), которое завершается такими строфами:

При звуках тех теряет даже  
Свой смертоносный смысл, в дали  
Веков дрожащая в предаже  
Посредственная Nathalie...

При них, как перед вешним лесом,  
Оправдываешь, не кляня,  
И богохульный флерт с д'Антесом —  
Змей Олегова коня...

Стихотворение включено поэтом в сборник «Классические розы» (Белград [Югославия]: Русская библиотека, 1931). — Прим. Ред.